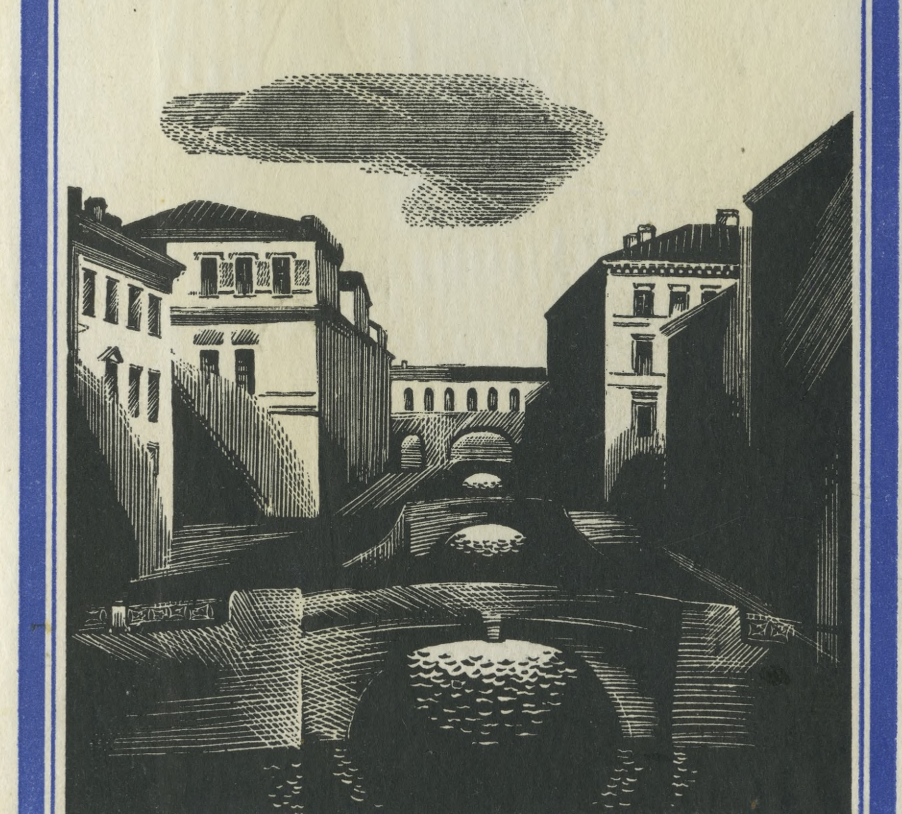
МОЛОДОЙ * ЛЕНИНГРАД 83

Литературно-художественный альманах молодых писателей



МОЛОДОЙ * ЛЕНИНГРАД 83



МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД * 83

Литературно-художественный альманах молодых писателей



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Ленинградское отделение
1983

Альманах «Молодой Ленинград» знакомит читателей с творчеством ленинградской литературной молодежи. Первые повести, рассказы, очерки, циклы стихов посвящены разнообразным современным темам. Молодые прозаики и поэты пишут о своих сверстниках, воссоздают образ рабочего человека, жизнь производственного коллектива, решают психологические проблемы, возникающие в ходе научно-технического прогресса.

Поэтический раздел, открывающий альманах, познакомит читателей с переводами стихов молодых поэтов братских советских союзных республик.

Главный редактор

Евгений Кутузов

Редакционная коллегия:

Владимир Арро
Сергей Давыдов
Владимир Ивченко
Николай Крыщук
Владимир Ляленков
Нелли Милосердова (составитель)
Юрий Помпеев

Художник Виктор Коломейцев

М $\frac{4702010200-013}{083(02)-83}$ 52—82

Братство

В этой рубрике представлена поэзия Советской ***Прибалтики*** *— Литвы, Латвии, Эстонии. Переводы выполнены молодыми* ***ленинградскими*** *авторами.*

Йонас Стрелкунас

* * *

Отчизна, ты — волны,
Влекущие вдаль.
Окно в светлый полдень
Для нас ты всегда.

Гора, поседевшая
В горе и мгле,
И башня надежды
На древней горе.

Ты — колокол: гимны
Рожденью поешь.
На наших могилах
Ты вечно цветешь.

Вчера и сегодня
Средь строек и книг —
Наш праздник свободный,
Волшебный язык.

Перевод Осипа Спасова

Миколас Карчяукас

Отчий край

Клены твои
Расцвели для птиц.
Птицы твои
В кленах поют.

Твоих озер
Объятья нежны.
Реки твои
К озерам спешат.

Твои холмы
К солнцу влечет.
Солнце твое
Восходит для них.

Голос мой —
Из твоих криниц.
Песни мои —
Из твоей земли.

Моя любовь —
Приволье твое.
Воля моя —
В твоей любви.

Перевод Осипа Спасова

На Вишневой улице

Эугениюсу Матузявичюсу

На Вишневой улице, где вишни
Не росли, но было ощущенье
Вишенное, жил я — так уж вышло, —
Как в саду, пришедшем в запустенье.

Жил я под застрехой. Рядом выли
Щели перед ливнем, и скрипели

Половицы — это домовые
В старом доме ночью хрипло пели.

Там одно окно во двор глядело,
Скалилось другое на березы,
Третье, треснутое, то и дело
Дрязгало, когда чихали козы.

Там летучие носились мыши.
Было страшно, было горько очень
Мне, мальчишке, оттого, что вишен
Я не мог спасти от черной ночи.

Таяли стволы, и листья вяли,
Сна не знали злоба и досада.
В мире этом вишни ночевали
Так необходимого мне сада.

В дряхлый дом на улице Вишневой,
Хоть и не цвели там сроду вишни,
Мне б вернуться, чтобы встретить снова
Таинства вещей и звуков бывших.

Перевод Осипа Спасова

Альгимантас Микута

Время строек

Наш трудный век — эпоха строек.
Фантазия в умах творцов
из пылких чувств и мыслей строгих
рисует абрисы дворцов,

которым не возникнуть, впрочем,
из мудрых планов и мечты
без мускулистых рук рабочих,
натруженных до черноты.

Все отживет: кирка и сложный
подъемный кран, как дед и внук,

Но вряд ли что-то есть надежней
рабочих мускулистых рук.

Строители почти плакатны —
так выразительны без слов
их курток охровые пятна
в чеканных клеточках лесов.

Куда ни глянь: все строят, лепят, —
кто из камней, кто из песка.
Все яростней, все выше лезут,
любая высь — не высока!

С окраин города просторных
видны другие города,
где тот же штурма ритм на стройках, —
траншеи, мирная страда.

Перевод Осипа Спасова

Отстал

Отстал я, загляделся на луга —
на белену и желтую сурепку.
А братья улетели кто куда,
свою фортуну ухвативши крепко.

Как тихо здесь. Озоном легких трав
дышу. . . живу, названий их не зная. . .
И не успел, полвека пробежав,
отдать поклон лугам родного края.

Ах, братья! Ведь хотели наказать,
оставив одного среди фиалок.
Оглядываюсь — не́кому сказать
спасибо за нечаянный подарок.

Так стану, отрешившись от забот,
с кустами барбариса по соседству
пить воздух и смотреть, как зацветет
зеленый друг нахлынувшего детства.

Перевод Осипа Спасова

Дональдас Кайокас

Вернусь

Шагал по земле я немало,
врезались и в зренье и в слух:
коза в мастерской у Шагала,
поляна, где пасся пастух.

Домой принесу на ладони
я стон, что белее, чем снег, —
ступай — и в намокшем пионе
меня ты увидишь во сне!

Вернуться, вернуться, вернуться —
с рассудка, с болота, с трезубца,
с цветка, что от ливня белес, —

услышать, как ты обнимаешь
под ливнем и как выбираешь
губами хвою из волос.

Перевод Осипа Спасова

* * *

Сближаемся, и в зеркале воды
скользят легко две лодки; нас встречают
взлохмаченные ветром крики чаек,
и белым крыльям тихо машешь ты;

я весь во власти ветра рук твоих,
уже дыханье чувствую, волнуясь,
но две пустые лодки разминулись,
ведь мы всего лишь отражались в них.

Перевод Осипа Спасова

Инара Роя

Благодарность

За то уходящему дню свой поклон приношу я,
Что ноги в пыли у меня от нелегких дорог,
Что руки устали нести свою ношу дневную,
Что счастье сквозь труд принесла я на отчий порог.

За то, что мне вновь созидания муки под силу,
За то, что я веяла в поле свой вымолот ржи
И, наземь упав от усталости, благословила
Высокие звезды, взошедшие в синей тиши.

А где-то шаги без конца впереди шелестели,
И в такт им дрожали столбы, проводами звеня.
Так много прохожих спешило к невидимой цели!
И каждый как будто бы звал за собою меня.

О день уходящий, спасибо за песенность лета,
За звуки ноктюрна, которыми дышит покой,
За то, что рукам своим отдых даю до рассвета,
По лунной серебряной тропке вернувшись домой.

Перевод Сергея Вольского

* * *

В роще филины хрипнут ночами от крика,
И качаются ведьмы на елях густых.
В эти темные ночи осенние, Рига,
Разреши мне стеречь шпили башен твоих!

Слишком быстро мы шли — провожали, встречали
Зим и весен восходы, жару и мороз;
Вновь осколки минут и секунд за плечами
Истлевают останками смеха и слез.

К новым далям стремились мы сквозь перевалы —
В нас была эта жажда чрезмерно остра.
Но в последний момент нам любви недостало,
Чтоб в ночном выпасать лошадей у костра.

...Окна новых домов новым полнятся светом,
Вырастают антенны взамен флюгеров.
Почему ж мне дано в старом городе этом
С рук на сказочных башнях кормить петухов?

Что же мается сердце какой-то кручиной?
Одиночество ль башен болит в нем опять?
Иль к предутренней песне простой петушиной
Ищет чудо-слова и не может сыскать?

Перевод Сергея Вольского

Разговор птиц

*Черный скворец может повторить
песню любой птицы.*

— Эй, альбатрос, а много ль платит море
За песни, прославляющие шторм?
Иль твои песни — благодарность морю
За найденный во время бури корм?
Неужто ты рожден лишь для того,
Чтоб воспевать стихии торжество,
Когда Нептун выходит из себя,
Птиц перелетных в бездне волн губя!

— Оставь-ка мне, скворец, мои заботы!
Я вестник бурь, я для того пою,
Чтоб разделялись в пору перелета
Все птицы, песню услыхав мою,
На тех, кто станет бурю петь отныне,
Чтоб равнодушья не было в помине,
И на других, которым лишь одно —
Петь с голоса чужого суждено!

Перевод Сергея Вольского

Вита Виксна

Памятник

Давным-давно жил каменщик,
который
о смерти никогда не помышлял,
о памятнике никогда не думал, —
не было времени.
Работал он:
брал сильными руками
замшелые бесформенные глыбы,
обтесывал
и складывал их там,
где каждая из них была нужна.
Он камни пригонял так плотно
один к другому,
что они срастались,
образовав и своды погребов,
и прочие фундаменты, и стены...
Давным-давно последнюю работу
закончил каменщик,
и вымерло когда-то
все поколение его.
А я, космической эпохи дочь,
привыкшая ко многим чудесам,
с восторгом каждый раз гляжу
на дело рук его — на те постройки,
что на земле столетьями стоят.
Давным-давно жил каменщик,
который
о смерти никогда не помышлял,
о памятнике никогда не думал...

Перевод Сергея Вольского

Работа

О, как подчас работа тяжела,
Когда она — любимая работа,
Когда она одна — твои крыла
Для самого высокого полета!

Ты отдаешь ей жар души своей,
В ней все твои удачи и потери,
Когда любовью ты прикован к ней,
Как раб цепями к веслам на галере.

Как трудно жить, неистово любя,
Но сердце бьется до седьмого пота,
Коль точкою опоры для тебя
Сумела стать любимая работа.

Ты выдохся, упал —
Но снова встал,
Уверенный, что нет пути другого:
Работа — твой гранитный пьедестал,
И тяжкий крест, и горькая голгофа.

А если жизнь тобою прожита,
То перед мраком вечного покоя
Она — твои небесные врата,
Путь в вечность, заработанный тобою.

Перевод Сергея Вольского

Рейн Рауд

* * *

Мимо слова и звука, мимо крепости с башней
с пашней слиться стремится дух твой жажды желанья,
вне названья растущий сквозь грядущий, вчерашний
день, — сквозь время ползущий хрупкий корень
познанья.

Ключ от крепости с башней, ключ от света и взлета,
умудренное чувство, буйство слуха и зренья.
Чтобы прийти к чему-то, нужно начать с чего-то, —
вот ты и начинаешь первой своей ступенью,

первой своей ступенькой, лестничной, деревянной,
чтобы затем подняться каменным маршем лестниц...
Только не бойся ветра, мглы не страшись туманной:
сердце сквозь мрак пробьется, как через тучи —
месяц.

Перевод Михаила Яснова

Рыбаки пустыни

Нам в море не уйти — нигде на свете
наш якорь не познает тяжесть ила.
Песком набила буря наши сети,
а солнце наши спины иссушило.

Мы тихо примирились. Мы и сами
здесь — как песок, безмолвный и незрячий...
И лишь мираж плывет под парусами,
и лишь надежда — как миндаль горячий.

Перевод Михаила Яснова

Дорис Карева

* * *

...И тысячи небес,
высоких и сплошных,
меж нами полегли,
и все же —
мы вдвоем.

Одно лицо
во сне
бывает на двоих —
у тех, кто говорит
на языке одном.

Перевод Михаила Яснова

Марио Кивистик

Полдень

Свой путь земной пройдя до половины,
остановись, мгновенье, задержись! . .
На острие танцует балерина:
жизнь на пуантах — лишь тогда и жизнь.

Но рубят ствол. И ветви хлещут колко.
Летят опилки. Вырубка. Распил...
Не выплатить пожизненного долга
судьбе — за то, что слишком молод был.

Перевод Михаила Яснова

Михаил Кононов

Рекорд невесомости

В электричку я вскочил на ходу. Моряку-курсанту спасибо: придержал обе двери. Он меня издали заметил, когда я на платформу взбегал, он как раз окурок выбрасывал.

Поблагодарил я его, он меня по плечу хлопнул, и мы вошли в вагон, где сидели только две девчонки с одинаковыми желтыми волосами. Они сидели спиной к нам, рядышком, одна у окна, а другая на плечо ей голову положила и как будто дремала. Может, и подружка ее дремала, не знаю, она не обернулась, когда мы вошли.

Меня-то, по правде сказать, порадовало, что не видят они моего лица. Потому что от этих желтых волос мне опять, как на карьере пару часов назад, муторно стало — жуть. Но теперь уже по-другому: совестно. Да ладно, чего уж теперь. И не один я был виноват в той заварухе на карьере, все хороши. А что дед тогда говорил, что, мол, невозможно того простить, кто женщину обидит, — так ведь я себе и не прощаю. Знаю, что виноват, и больше такого не повторится.

Моряк сел напротив девчонок и подмигнул мне: давай, мол, на пару. Но я только улыбнулся ему, уселся в угол справа, сложил руки на груди и закрыл глаза. Все нормально, думаю, будет, все путем. И нечего вспоминать плохое, зря расстраиваться. Все нормально — и точка.

Очень приятно было, что моряк на меня как на сверстника рассчитывал и позвал к девчонкам пересесть. Накинул, значит, к моим пятнадцати годика два-три. Хорошо все-таки, что я высокий. Не длинный, как Колька, а именно высокий.

Вагон раскачивался, вздрагивая на стыках, и мягкий гул стал убаюкивать меня. Я слышал, как басил моряк, смеялись девчонки. Вытянув ноги и прислонившись виском к переплету окна, я вдруг понял, что мне как-то странно спокойно. Будто я знаю заранее, что

разговор с отцом отлично получится и потом все будет как надо. Завтра я быстренько с утра в техникуме разберусь, а потом мы с батей обратно в Рощу поедем, к матери, и все хорошо будет. По дороге продуктов накупим, молока для Ленки, матери лимонаду, груш бабушкиных любимых. А деду газеты свежие привезем, он без газет жить не может. И еще арбуз — обязательно арбуз. Пусть даже он и не очень удачным окажется, как обычно в начале августа, но стол обеденный от него сразу праздничным станет...

Я открыл глаза. Желтые головы девчонок касались друг друга висками: обе уснули. Моряк, сидя все так же напротив них, глядел в окно и зевал. И я повернулся к окну.

В темноте пролетали назад огни, силуэты домов и деревьев. Вон подъемный кран возле недостроенного здания. Свет прожектора на кирпичной стене, красный транспарант с белыми буквами и двумя восклицательными знаками. И снова темнота. Сплошная стена черного леса вдоль железной дороги, только редкие огни где-то очень далеко. Ночной поезд идет без остановок.

Тут я заметил, что улыбаюсь отражению в черном окне — реденьким своим, зеленоватым, ни разу еще не бритым усам, и тонкой шее, и лбу под спутанными прядями давно не стриженных волос. Оказывается, и сам я себе нравлюсь сегодня, в эту ночь. Ну да, конечно же нравлюсь, потому и получается все так ловко и удачно: и на поезд успел, и в вагоне вон как уютно, тепло, даже без куртки не холодно, и попутчики замечательные. А впереди вообще одни удачи и полный тип-топ, уж теперь это точно. Потому что я во всех отношениях нормальный парень. Не самый сильный, не самый умный на свете и, конечно, не самый красивый. Ничего особенного. Но и не хуже кого-то, например Стасика Горина, которому я так долго завидовал, или там еще какого-нибудь юного чемпиона. Да мне теперь и не хочется сравнивать себя с каждым. Чего сравнивать, когда все разные! У каждого все свое — и физические данные, и голова, и вся жизнь. Просто за себя постоять надо уметь, в первую очередь ты за себя в ответе...

Но почему же именно сейчас мне так это вдруг ясно стало, что я сижу вот и отражению своему улыбаюсь, и мелькают сквозь мое лицо ночные огоньки, а мне так хорошо, что и спать расхотелось? Ведь столько всего плохого за эти последние дни со мной было, что еще пару часов назад я себя в полной невесомости чувствовал, как пыльным мешком стукнутый. А теперь...

Нет, анализировать нужно по порядку, с самого начала.

1

Легко сказать — анализировать. Не знаю, как это у Стасика Горина выходит, голова у него иначе, наверное, устроена, недаром по математике сплошные пятерки. Еще зимой он мне объяснял.

«Если, — говорит, — добиться чего-то хочешь, — в спорте, например, или вообще в жизни, — обязательно себя анализируй. Вот вечером спать ляжешь — и вспоминай понемножку весь свой день, как можно подробнее. Сразу станет понятно, в чем ты молодец, а где ошибку допустил. Ну и не делай больше ошибок. Просто, верно?»

Ему, может, и просто. А я уже сто раз пробовал — дохлый номер. Только начну анализировать — засыпаю. Или еще хуже, запутываюсь. Потому что никак не получается по порядку восстанавливать: утро — день — вечер... Вот и в четверг улегся в постель, вспомнил свою короткую, слишком короткую утреннюю зарядку (не годится такой маленькой нагрузкой ограничиваться, мышцы вянут, — вот и ошибка, ага!), но потом вдруг почему-то представилось, как мы с Тамарой с горы смотрели на поселок. Сразу о ней, о Тамаре, думать стал снова. И, конечно, о матери. Куда же от ее взгляда деться, от этих ежедневных допросов. Каждый вечер одно и то же:

— Почему не привести девочку в дом? Не понимаю. Неужели ты не чувствуешь, Александр, как это низкопробно все? Эти прогулочки вдвоем... Так и до свадьбы недалеко, честное слово!

— Не надо, мама, — говорю. — Не вмешивайся, пожалуйста. Мне уже паспорт через полгода дадут, а ты все как с маленьким...

— Ну и что же, что паспорт! Если ты ничего не соображаешь! Куда ты кладешь ползунки недоглаженные? Сколько раз я говорила, что гладить нужно с изнанки тоже.

Я выворачивал ползунки Ленкины наизнанку и снова водил утюгом, делая вид, что очень стараюсь. Чтобы она отстала.

Мать отложила учебник (который уж год она в аспирантуру готовится), поднялась с дивана и достала из холодильника банку со сметаной. Подошла к зеркалу, стала мазать сметаной лицо. Каждый вечер она так мажется — для красоты. Отец, бывало, только головой покачает и в газету уткнется: привык.

А я не могу. Ведь красивая она и так, очень даже красивая. Мне девчонки в классе не раз говорили, кто ее видел, да и Тамара тоже: «Мать у тебя — прямо королева, гордись, Саня». Я и горжусь. Но в глаза матери смотреть мне почему-то тяжело. Взгляд у нее такой. Как и сказать — не знаю. Не то сердитый, не то испуганный. Будто она все время ждет какого-то подвоха. Только тогда и успокоится, как намажется, прикроет себя белой маской. Или, может, она и не знает, какая она без этой маски красивая, — когда улыбается Ленке, или конспект спокойно читает, или просто в окошко глядит задумчиво и грустно. Мне тогда знаете чего хочется? Подойти и обнять ее. И чтобы она меня по голове погладила, как маленького. Но если ее с таким незакрытым лицом застанешь — губы сразу в ниточку подожмет, брови сдвинет — не подступиться.

Тут и мне, конечно, стыдно станет, будто я запретное что-то подглядел. А чего же тут тайного — человеческое лицо, красивое, лицо моей мамы...

— Ты весь материал повторил?

Я пожал плечами. Ну и вопросики! Как это можно весь материал повторить? Тем более экзамены-то не школьные, а настоящие, техникум серьезный, электромеханический.

— Что ты плечами пожимаешь? Нужно было не с Тамарой шляться, а за учебниками сидеть. Учти, дружок, я тебя предупреждала...

Всегда она так: «Я тебя предупреждала, пеняй потом на себя». На кого же еще-то? Я и пеняю. А толку-то?

Кстати, ушел я совсем недавно, в девять. Как раз позывные программы «Время» слышал. А вернулся — одиннадцати не было. Мать читала весь день, а я утром с Ленкой, потом в магазин за молоком. Обратно шел — с Колькой, задержался. А вернулся — и снова с Ленкой. После обеда пошел наверх заниматься, да и уснул за столом, потому что ночью тригонометрию зубрил. Проснулся в седьмом часу вечера, когда мать крикнула снизу, что я ей поступление в аспирантуру срываю, потому что Ленка не кормлена и с ней гулять пора. В общем, одна ночь мне осталась, как и перед диктантом. Но в тот раз можно было на голову надеяться. А теперь другое совсем дело — устная математика. Да ладно, где наша не пропадала, авось и тут повезет, как на письменной. Тогда я в дамках. В техникуме, говорят, недобор. А у меня если за письменную тоже четверка (конечно четверка, вчера сам видел: ни в одном списке двоечников моей фамилии нет), значит, завтра можно особо не мандражировать, хватит и трешки...

— Иди занимайся, я сама доглажу, — сказала мать, забирая у меня утюг. — Там молоко в холодильнике, а в хлебнице ватрушка осталась.

Стараясь не смотреть на ее измазанное сметаной лицо, я стоя выпил молока, прожевал ломтик ватрушки и, пожелав матери спокойной ночи, поднялся к себе, наверх. Зажег керосиновую лампу, уселся за неудобный круглый стол и раскрыл учебник наугад.

Рядом с названием теоремы было написано большими печатными буквами: ТАМАРА. Сам вчера написал. Прочитав это удивительное слово несколько раз, я взял четырехцветную ручку, обвел строй букв красной рамкой. Закрыл учебник и дунул на фитиль лампы.

На миг стало совершенно темно. Но через секунду проступили свеченьем широкие решетчатые окна веранды. И вот я вижу соседний дом, его шиферную крышу, а дальше — высокие березы. Еще дальше — гора, километрах в двух отсюда, длинная, зеленая и ровная.

Вчера мы с Тамарой смотрели оттуда, с горы, с того бугорка под большой березой, на поселок в долине. Я показывал ей наш дом, дом моей бабушки, где я с детства живу почти каждое лето. А Тамара искала крышу своего домика, но не могла найти и все головой качала и на саму себя обижалась, а все равно было нам очень хорошо.

Не думал я никогда, что так хорошо может быть с девчонкой. В классе у нас девицы какие-то чокнутые были. Кроме отличницы Вальки Антоненковой, все как одна под Аллу Пугачеву причесывались. Космы распустят, рукава закатят, духами несет — вырви глаз.

Да и те куклы, с которыми меня мать познакомить поближе пыталась, тоже не лучше.

— Александр, я взяла билеты в ТЮЗ на двадцать второе. Сходи с Маечкой Горчаковой. С девочками совершенно не общаешься. Маечка тебе, между прочим, привет передавала.

Никакого привета Маечка мне передавать не могла. Сама, небось, позвонила мать этой своей бывшей однокласснице Галине, у которой муж — шишка на ровном месте, и попросила, чтобы ихняя Маечка толстая в театр меня, лоботряса, сводила, а то я, видите ли, дикий совсем, а надо быть джентльменом. Сам я знаю, кем мне быть!

— Не пойду я с ней! — говорю. — Опять она все три действия мороженое жрать будет, а мне каждый антракт в очереди стоять.

— Фу, Саша, какой ты неотесанный! Что плохого, если девочка любит сладкое?

— Ну зачем я с ней пойду? Зачем? Мне и поговорить с ней не о чем. «Ах, Коля Иванов сегодня в ударе! Ах, Корогодский — гений!» А я-то здесь при чем?

— А ты с ней по-английски поболтай, потренируйся. Лэйзи бой! — лентяй, значит. — Его в приличную семью ввести хотят, а он упирается! Пользовался бы связями, пока мать жива.

Вот здесь уже у меня эти связи мамашины. То своих одноклассников бывших на день рождения позовет, а мне целый день у плиты торчать, пельмени лепить: «Ой, Сашенька, сынок, аккуратнее, бога ради, Петя Вавилов прямо с корабля на бал, из Америки только вернулся, летал на симпозиум. . .» То на Гражданку в воскресенье к Горчаковым тащиться и весь вечер язык ломать по-английски, чтобы мамаша не скрипела потом, что я родителей на весь город опозорил — страдательный залог неправильного глагола образовать не смог. С английским этим мне уже не до смеху. Не дай бог, у кого мать учительница, тем более — англичанка. А если она еще и в аспирантуру готовится, тут уж вообще хоть из дому беги. Потому, видно, и пропадает отец неделями в дальних рейсах.

Мне иногда кажется, что для матери настоящие люди только Горчаковы да Петя Вавилов.

Наверное, из-за этих английских вечеров и культпоходов с Маечкой меня и не тянуло никогда к девчонкам. Только на тренировке посмотришь иногда в тот угол зала, где старшие девочки на бревне работают, — и так прохладно станет под ложечкой от их чистых движений и светящихся сильных тел — страшновато даже. Но сам-то понимаешь, что ни Алла Пугачева с улыбкой, ни Маечка с вечным своим мороженым тут ни при чем, а нужно быть сильным и ловким, и чтобы лицо стало как у Стасика Горина, когда он крест на кольцах держит и все на него смотрят, и старшие девочки тоже.

А с Тамарой я познакомился в Роще, в магазине. И познакомился смешно. Взял молоко, бидон на багажнике устраиваю. Тут из магазина она выходит. В одной руке сетка с огурцами и луком, в другой бидон эмалированный и еще сумка. Бидон наклонился, из него молоко прерывистой струйкой — кап-кап-кап...

— Льется у вас, — говорю, — молоко-то.

Посмотрела она так грустно на свой бидон.

— Льется, — говорит.

И вздохнула.

И оба мы засмеялись.

Будто вспыхнуло у нее лицо: и глаза смеются, и зубы, и шея даже. Сразу понял я, что никакая она не кулема, как могло показаться сначала, а просто задумалась — вот и пролила молоко. Есть, значит, человеку о чем подумать. Зато уж и смеялась она так, что видно: не дает она себе спуску, за всякий промах обсмеет себя первая. А это ведь не всякий умеет.

Все это я за какой-то миг почувствовал, пока в лицо ей смотрел. А потом глаза опустил: не выдержал. Что случилось со мной — не знаю. Но покраснел я, будто нечаянно лишнее сболтнул. Смотрел я на босоножки ее белые и не понимал, что в ней такого особенного есть. Лицо круглое, простое, серые глаза большие. Футболка белая в обтяжку — как у всех девчонок теперь. И джинсы обыкновенные, отечественные. Стройная такая девочка. Ну и что? Много стройных. Но вот смотрела она на меня как-то так... Ну, будто мы давно уже знакомы, все знаем друг о друге. Во всяком случае, уж она-то обо мне — точно. Вот я и растерялся. Видали олуха?

Быстро взял себя в руки, откашлялся, закурил. Забрал у нее бидон, сетку с картошкой, на руль велосипеда повесил.

— Где живешь? — спрашиваю.

— Не знаю, — говорит. — Где-то там, — и в сторону озера показывает.

— Ну, ты даешь! — говорю. — Тебя сюда что — с завязанными глазами привезли? Чтобы не сбежала?

— Нет, — улыбается она, — с развязанными. Я улицу забыла. То ли Озерная, то ли Речная. Что-то мокрое, в общем.

— Заречная! — догадался я. А сам смеюсь. Заречных-то у нас в поселке — целых шесть. Мы, например, на Третьей живем. — Лад-

но, — говорю, — поехали. Эх ты, русалка, — и тронул за ней потихонечку.

Так и не понял, обрадовалась она или обиделась, что я ее русалкой назвал. Но волосы у нее и вправду такие... Нормальные, в общем, волосы. Сразу потрогать хочется — такие пышные и живые. Она идет, а они вздрагивают, каждый завиток в отдельности и все вместе — волной. И кажется, что только у хорошего человека такая походка веселая может быть.

Мать моя раньше тоже волосы длинные носила. Джинсы отцовские наденет, футболочку белую, подмигнет нам с отцом: «Ну, парни, айда в кино!» Очень любил я с ней ходить и гордился, когда на нее прохожие оглядывались. Я тогда оборачивался и показывал им язык — молодой был, зеленый. А потом она парик носить стала — от Галины своей научилась. Теперь вообще обстриглась, такой же «сессун» себе заделала, как у той, чтобы уши торчали. Странный народ эти женщины!

Иду я, радуюсь на волосы Тамарины, вдруг — брамс — плюх — плесь! Бидон ее бешеный с руля соскользнул на землю — и набок!

— Сенкью вери мач тебе, добрый молодец, — говорит Тамара и кланяется. — Сослужил ты мне службу знатную!

К обочине отошла, сорвала травинку, стоит, покусывает, за мной наблюдает с улыбочкой, как будто и не выстояла за молоком с утра.

— Олимпийское спокойствие! — говорю я и ладонью помахиваю, как перед зрителями. Будто сложный этот элемент заранее был запрограммирован — чтобы смешнее выступить. Поднимаю ее бидон, со своего крышку свинчиваю и молоко ей переливаю.

Она головой покачала, нахмурилась.

— Эх ты, — говорит, — джентльмен! Чебурашка ты этакий. Тебе который годок-то пошел?

— Шестой миновал, — отвечаю, — тетенька!

А сам покраснел и под ноги смотрю, чтобы она не заметила. Сразу видно, конечно, что она меня годика на два постарше. А узнает — уважать не будет. Значит, нужно пользоваться тем, что парнишка я амбалистый, метр восемьдесят один все-таки, и фигура спортивная, вполне можно за семнадцатилетнего сойти.

Повернулась она и молча пошла в обратную сторону, к магазину.

Пока в очереди снова полтора часа стояли, пока дом Тамарин на Пятой Заречной нашли, мы все разговаривали, разговаривали. Я и не заметил, как проговорился, что еще только восьмилетку окончил. Никогда с девчонками не знал, о чем говорить, а тут как прорвало. И про школу свою разболтался, и на успехи спортивные намекнул этак скромненько, и, так сказать, семейное положение осветил. Она как узнала, что у меня сестренка полуторагодовалая есть, снова расцвела вся.

— Давай, — говорит, — завтра погуляем с ней вместе. А то я тут одна совсем. Ты не бойся, Саня, меня дети сразу всегда признают.

А я и не боялся. Я с ней как-то вмиг обо всем плохом позабыл начисто. Я вел велосипед осторожно, чтобы не расплескать молоко снова, а Тамара шла рядом и рассказывала о ПТУ своем замечательном, где ее кроить и шить научили, о малышах из подшефного детсада, о матери, которая дачу в Роще сняла, а жить ей теперь приходится в Смоленске, за братом старшим ухаживать: инфаркт у него. И мне сразу стало жаль ее дядю. Я любил уже и детсадовских малышей, которые ее любят, и чудесное училище, где хороших людей такому нужному делу учат — шить всякие нарядные платья и модные брюки. И самому мне уже в это ее ПТУ хотелось, а не в техникум, — я ведь о нем и понятия почти не имею, а поступаю только потому, что мать решила и отец одобрил.

А еще мне понравилось, что ей уже шестнадцать с половиной лет. К этому возрасту девчонки соображать кое-что начинают, многие даже краситься перестают и юбки укорачивать. Я и раньше внимание обращал только на старших девчонок. В позапрошлом году в одну такую я вроде бы... В общем, нормальная была девочка, Жанной ее звали. Летом тут же, в Роще, я с ней и познакомился.

Тогда я еще совсем зеленый был, а у нее уже и фигура, и все на месте, как у взрослой. И волосы такие коричневые, каштановыми их называют почему-то. Но тогда у меня еще все по-другому было, ничего серьезного, одна любовь в голове. И все равно, хотя и не получилось у нас настоящей дружбы, обидно мне стало, когда она с одним там амбалом вроде как изменила мне. Нет, ничего такого ужасного не случилось, но я считаю, что изменила. Потому что она мне свидание назначила на пруду, чтобы вместе тритонов ловить, а пришла не одна, вместе с тем дураком. Я приехал, а они уже там обнимаются на полянке и ржут, как лошади. Тут, главное, что обидно? Я-то к ней по-хорошему, а он — на спор. С Авдеевым Сашкой поспорил, что сделает с ней что захочет. Вот гад, а? И хотя не вышло, как он хотел, потому что я помешал им, — все равно, даже еще хуже. Главное — ее-то он сумел вроде как обмануть, понравиться сумел. И неизвестно, чем бы у них кончилось, если бы я не заорал тогда: «Дураки!» Заорал и убежал: стыдно стало. Зеленый я был. Если бы сейчас такое, я бы его вот так взял за руку и — рраз! Он бы и с катушек долой. Уже два года я спортом занимаюсь очень серьезно и силенок за это время поднакопил будьте-нате. А тогда... Ладно, проехали.

В общем, с того раза я решил, что больше с девчонками ни-ни. Если уж дружить, то дружить по-честному, чтобы вдвоем интересно было и весело. А про любовь я и начитался достаточно, и на собственной шкуре, как видите, испытал уже. Так что тут я с литера-

турой вполне согласен: выдумка это все или даже еще хуже — подлость. Классика нас чему учит? Где любовь — там обман. Ольга обманывает Ленского, Онегин Татьяне мозги пудрит. Печорин из княжны Мери просто веревки вьет, мало ему, что Бэла померла (то есть, простите, до Бэлы он после Мери уже добрался), а Софья Фамусова так Чацкого ненавидит за его любовь несчастную, что клевету про него пускает: сумасшедший, мол, уберите его от меня к чертовой бабушке. Тут и ежику понятно, что ничем хорошим эти вздохи да поцелуйчики кончаться не могут. Вот и режет Хозе свою Кармен любимую, а Отелло жену — прямо руками... Ладно, проехали. У меня с этим давно завязано, и с Тамарой у нас совсем не так все, как мать думает.

Хотя и не во всем Тамара со мной одних взглядов придерживается. Вот и насчет любви этой самой никак не хочет понять.

— Ты не имеешь права! — кричит. — Это, может, самое лучшее, что в нас есть. Да если бы не любовь, тебя бы и на свете-то не было!..

Во дает!

— Да успокойся ты, — говорю. — Зачем же все в одну кучу валить? Дети рождаются где? В семье. А мы сейчас про любовь говорим, а не про семью. Без семьи-то, конечно, ни детей, никакой жизни вообще не будет. Но семья — это значит, люди родные. А любовь твоя только вредит всем, — объясняю я Тамаре спокойно.

— Но сначала-то эти люди родными не были! — Тамара волнуется. — Да родился-то ты почему? — спрашивает.

— Ты что — не знаешь, почему дети рождаются? — Я даже покраснел. — Поженились мои родители, захотели, чтобы я родился, вот и родился я. А как же иначе?

— А до свадьбы они кем были, твои родители?

— Людьми они были! — злюсь я уже. — Нормальными людьми!

— А поженились они зачем? — Тамара спрашивает ехидно.

— Ну, чтоб семья была. Чтобы я был и Ленка. Чтобы жить вместе.

— А любовь как же? — Тамара даже глаза на меня вытаращила. — Ведь если женятся — значит, любят. Разве не так?

— Не знаю, — говорю, — меня тогда еще не было. Может, и целовались они на свадьбе. Все на свадьбе целуются. Но безобразия никакого не было, это я гарантирую. Никаких этих измен или убийств. И потом жили мы нормально. Я и не видел никогда, чтобы они целовались. Чего это муж и жена целоваться будут? С какой стати?..

Тамара взяла и ни с того ни с сего насыпала мне за шиворот горсть целую колкой хвои. Долго я потом извивался, а она смеялась надо мной, и спор наш мы позабыли, как всегда. Да, ни разу за этот месяц, за целый месяц, не поссорились мы с Тамарой. Так что смело могу сказать: дружба наша проверена временем.

Но матери моей — разве что-нибудь докажешь?

Сначала, когда я стал с Ленкой по вечерам уходить и мы гуляли втроем, мать радовалась, что ребенок перед сном воздухом дышит. Но как-то Тамара проводила нас до калитки, на прощанье Ленку поцеловала, а мать из окна это видела. Вхожу в дом радостный, Ленку с размаху на горшок сажаю, а мать и наскакивает:

— Что это за женщина, Александр?

— Это не женщина, — говорю, — это Тамара. Мы дружим уже четыре дня.

— Как это — дружим? — отбросив конспект и уперев руки в бока, мать сделала снова этот свой взгляд, и я покраснел, подумав, что проскочило у меня какое-то глупое словцо, а я не заметил и вот опять дураком перед ней выгляжу.

— Ну, дружим, — повторил я. — Ну и что? Уже четыре дня...

— Но почему же мать, родная мать узнает об этом в последнюю очередь? К чему эти тайны, Александр? Ты что — целуешься с ней? Она старше тебя, кажется? Кто она? Кто ее родители? Что ты молчишь?

Когда она сто вопросов в минуту задает, я немного теряюсь. Мне тогда начинает казаться, что она знает все и врать бесполезно. Хотя и врать-то вроде бы незачем, потому что скрывать нечего. Но под этим ее взглядом начинаешь краснеть. Ведь каждый знает, что в чем-то не прав, чего-то не сделал, что должен был. Каждому есть за что покраснеть, я уверен. И вот стоишь и краснеешь, потому что Ленка целых полчаса в мокрых колготках, хотя уже вечер, почти холодно. А днем в магазине на сдачу пачку «Шипки» себе взял, а курить спортсмену нельзя. И еще потому краснеешь, что никогда не хватает сил сказать матери, какая она некрасивая бывает, когда вот так смотрит — насквозь как будто и словно внутри у меня гадость какую-то видит.

В общем, добралась мать до Тамары. И прическа-то у нее, оказывается, вульгарная, и походка вызывающая. И это, мол, хуже всего, что мне не те девочки нравятся, которые на меня повлиять могут в хорошую сторону, как, например, Маечка Горчакова, а эта вульгарная Тамара. «А где, кстати, Тамара учится? Что? В пэтэу? Пэтэушницы мне в доме не хватало! Завтра же в город тебя отправлю, в гроб вы меня вгоните с папочкой твоим дальнобойным», — это она его рейсы междугородные имеет в виду.

И при этом, заметьте, сама она в ПТУ работает, хотя и говорит Горчаковым, что в техникуме. А с Тамарой, между прочим, ни разу она не разговаривала, и видела-то ее только один раз, да и то издали.

Стали мы с Тамарой встречаться позже, и так даже лучше. То по лесу я ее на велосипеде катаю, то на гору поднимаемся, на бугорке под березой сидим, и я ей обо всем рассказываю, как хорошо было, пока со стариками не разъехались и я спал в комнате у деда

с бабушкой и вообще жил с ними, и как потом стало по-другому. Тамара слушает, кивает, иногда усмехнется или вздохнет и скажет:

— Брось расстраиваться, Саня. В каждой семье что-нибудь да не так, уж это точно. У меня так вообще отца нет, на Украине он где-то затерялся. Слава богу, меньше двух лет осталось алименты его несчастные получать. Да я теперь уже за практику вон сколько заработала — не унести было...

Когда она рассказывает такое, я понимаю, что все мои неурядицы семейные и вправду не стоят переживаний. «Перемелется — мука будет», — Тамара говорит. Конечно мука! Но иногда, знаете, хочется все-таки и дома человеком себя почувствовать, а не только в спортивном зале или с друзьями во дворе. А дома я фактически нянька. Ленку-то я люблю, и уж она-то тут ни при чем. Ее не было, так еще чаще отец с матерью ссорились, друг на друга кричали. А Ленка родилась — и в первый год отец от радости пить бросил. Пеленки стирает — улыбается, суп варит — под нос себе напевает. Мне тогда вполовину меньше дел стало — иногда только в магазин сбегаешь или разогреешь ужин к отцовскому приходу, а так все он. Мать либо с Ленкой, либо науки свои зубрит. Про меня как будто и позабыла. Ладно, мне так даже лучше. Забежишь после школы пообедать — и на тренировку. Нагрузочку нам Михал-Василич давал — будь здоров. Но мне нравилось, у меня все нормально шло, особенно кольца и брусья. На кольцах я уже Стасику Горину на пятки, можно сказать, наступал. Но вот Ленке год исполнился, отдали ее в ясли, мать пошла на работу, и опять я по хозяйству закрутился, потому что отец снова стал выпивать и с матерью у них опять ерунда какая-то началась. Особенно после истории с фотографией. Мать нашла случайно у отца фотографию его двоюродной сестры, которая в Одессе живет. И устроила ему из-за этой фотографии целый скандал. Ну, любит человек сестру свою, носит ее фотографию. У него там в бумажнике и матери фотография была, только поменьше форматом, и Ленки. Из-за чего ругаться-то? Тем более сестру его тоже Леной зовут, тезка она нашей Ленки, но матери именно вот это почему-то особенно не понравилось. А сестра у отца очень даже ничего, по-моему. Симпатичная такая блондинка. Все блондинки симпатичные, я давно заметил, вот женщины и красятся в белый цвет и в желтый, чтобы симпатичнее быть. Смешной народ!

В общем, они все отношения выясняли, а я с тренировки должен был убегать пораньше. Брал Ленку из яслей, кормил ее, а когда возвращалась мать, несся на молочную кухню, потом грел отцу ужин. Потому-то я и обрадовался, когда мать вдруг объявила, что после восьмого класса я в техникум поступать должен. Подумать только: через три с половиной года — диплом в кармане, свободный человек! Техникум хороший, электромеханический. И хотя я в этом

деле ни уха ни рыла, все равно, электромонтеров и тех удивительных людей, кто телевизор починить может, я всегда уважал. А сам до сих пор не пойму, почему одно гнездо называется «плюс», а другое — «минус», когда оба одинаково током бьют.

Откровенно говоря, я сначала тогда расстроился немного, потому что вовсе и не в техникум собирался, а в радиотехническое ПТУ, оно недалеко от школы, мы туда на экскурсию ходили, и многим ребятам понравилось, и мне тоже. Современное оборудование, все блестит, щелкает, крутится, лампочки подмигивают: не боись, мол, парнишка, к нам попадешь — человеком станешь с опережением графика! А что? Я бы с удовольствием. И зарплата у них по окончании нормальная. Но матери при слове «пэтэу» сразу плохо делается:

— Оставьте эти разговоры! — и глаза закатит. — Знаю я ваши пэтэу, ничему там не учат как следует...

Не знает она, что я видел у нее в старом паспорте штамп работы: ПТУ — черным по белому.

— Правда, — говорит, — в некоторых училищах иностранный язык хорошо поставлен. Но ты, Александр, и так, слава богу, коекак английским владеешь. Да и то не тебе спасибо, все моей кровью...

Да, с пяти лет она мне нервы мотала этим своим английским. А много ли толку? Вон с Тамарой никто дополнительно не занимался, только в школе, да в училище у них лингафонный класс оборудован, а она и говорит свободнее, чем я, и любую песню перевести может синхронно.

Я как-то вечером взял с собой мамашин магнитофон портативный, пленками любимыми похвастать хотел. Есть у нас и «Би Джиз», и группа «Раст», и Дина Паркер — целый альбом ее переписан, называется «Нехорошие мальчики». Горчаковы из Польши пласт-гигант привезли, и папаша как-то переписал под хорошее настроение.

— Что у тебя там? — Тамара спрашивает.

А я ей — с понтом:

— Возьми уши в руки, — говорю. — Но учти: детям до шестнадцати... Не покраснеешь?

Она магнитофон включила и сразу заулыбалась.

— Не понимаю, — говорит, — как эти ребята золотую пластинку получить ухитрились. Ты слышишь, о чем они там воркуют? Ты же в английском вроде бы волокешь?

Стал я по словечку из куплета переводить. Привираю, конечно, додумываю. А она послушала меня, поулыбалась, а потом вдруг как пошла — слово в слово — у меня и челюсть отвисла. Сначала думал, сама сочиняет. Но потом там какая-то фигня пошла, нормальному человеку такое и в голову не придет. Что-то вроде того, что ах, как мне одиноко жилось, но вот я встретил девушку, у нее

сильные спортивные ноги, и сильные руки, и сама она такая сильная, что меня поднять может и понести, как ребенка, и теперь я, мол, счастлив, будто это моя старая добрая матушка явилась мне в качестве молодой девушки — эз э янг гёл. Ерунда, в общем, как не стыдно-то мужику бородатому такое плести. Тут об одном мечтаешь, скорее бы хоть усы выросли, чтобы бриться каждый день, как Стасик Горин, да получить паспорт, профессию какую-нибудь нормальную освоить и махнуть куда-нибудь на комсомольскую стройку, где никто тебя за ручку водить не собирается, не то что баюкать, как ребенка больного. А этому амбалу заморскому на ручки, видите ли, захотелось. Тьфу!

— Усек? — Тамара смеется. — Измельчали вы, мужички, измельчали. Где они, принцы-рыцари? Охо-хо! Потребительский бум, как говорится. Каждому хочется соску пососать.

— Да, — говорю, — размазня он, певец этот. И голос у него женский какой-то. Но не все же такие, верно? У нас знаешь какие ребята есть в секции? Стасик Горин, например. Нормальный парень. В прошлом году с колец сорвался, прямо с креста. Встал — и хоть бы что. В воздухе сгруппироваться успел, в кувырок ушел.

— Что же тут геройского? — не понимает Тамара. — Вот если бы он мог... Вот как в песенке этой — поднять и понести. Нести долго-долго. И чтобы на руках у него спокойно было, как в детстве...

— Кого понести? — спрашиваю. — Не очень тяжелого человека он может вполне куда хочешь донести. Он и двух снесет, если на спор.

Засмеялась Тамара:

— Эх ты, чебурашка! Маленький ты еще у меня!..

Она рукой провела по моим волосам, а я покраснел, потому что снова понял: что-то я в ней не так вижу. То она нормальный человек, все в порядке. А то вдруг замолчит на целый час, или что-нибудь скажет — и я вдруг чувствую, что на самом деле она где-то далеко от меня, как на другой планете живет, и мне до той звезды не дотянуться даже с самой высокой горы.

Но такое бывает редко. В основном Тамара отличный товарищ, мы с ней как старые друзья, даже лучше, гораздо лучше.

2

Вот сказал я про друзей и подумал: а кто у меня самый-то главный друг?

Когда после вечера выпускного мы по Неве гуляли, я все на ребят глядел, в лица всматривался. И одно понимал: не сегодня мы расстаемся, а давно уже врозь живем, каждый в свою сторону. Поэтому и считали учителя наш класс самым тяжелым в школе. Что общего, например, у Гриши Голикова, комсорга нашего, с Се-

регой Рыбиным, от которого сегодня так винищем несет, что стоять рядом с ним неприятно, не знаю, как девчонки-то терпят. Я когда Серегу вижу, всякий раз почему-то тот крик вспоминаю прошлогодний, когда во дворе у нас женщина на помощь звала. После того дня — осенью это было, перед праздниками, часов в одиннадцать вечера — мне двор наш и весь дом новый особенно неприятен. Угловатый какой-то и будто темный изнутри, хотя и составлен из белых плит. Ведь в тот раз никто так и не вылез из квартиры. А когда я со своего десятого этажа спустился бегом (лифт опять не работал, как назло), она уже на земле лежала и стоял тут же милиционер, писал что-то. Я тогда не выдержал, в парадную к себе убежал, в подвале спрятался и... В общем, нервы. Говорили потом, что жива она осталась, только покалечил ее муж-алкоголик. Но ведь никто не вышел, понимаете? Ни один человек!

Нам когда сочинение задали «Об отзывчивости советских людей», я про это как раз и написал. Что, мол, где-то, может, и проживают отзывчивые люди, только не в нашем доме. А все почему? Получают квартиры отдельные и расползаются вечером, как тараканы по щелям. Когда в больших «коммуналках» люди вместе жили, большими семьями, иначе было. По себе знаю, по своей семье. Да и бабушка рассказывала, как до войны было, как в блокаду — одной семьей. Как жильцы «зажигалки» тушили на крыше. А после войны уступила наша семья одну комнату людям, которые без жилья остались в сорок втором году. А теперь что? Под окнами человека убивают, а они...

Сдал сочинение и думаю: что теперь будет? Плевать! А при разборе сочинений наш Борода тетрадь мою на закуску оставил.

— Есть еще одна работа, — говорит. — Особого разговора требует.

И прочитал мою писанину вслух от начала до конца.

— А теперь, — говорит, — давайте подумаем, кто это написал. Клеветник злобный или просто нормальный человек, отзывчивый, как говорится. У кого какие соображения?

Тут мне Валька и выдала. Что я, мол, одни теневые стороны вижу, как Достоевский. И что из комсомола меня за такую антиобщественную позицию давно пора...

— Ты, Антоненкова, с Достоевским пока не горячись, — Борода говорит. — Мы его еще, как говорится, не проходили. Так что ты сядь и не поминай имя Федора Михайловича всуе. Сейчас о другом речь. О Сане мы заговорили. И лично я думаю, что если он такое сочинение написал, то вряд ли пройдет мимо, когда трое одного бить будут или на женщину руку поднимут. Кто согласен — пожалуйста, голосуем! — улыбнулся и тетрадью моей над головой взмахнул.

Тут все заулыбались и руки подняли. А я так покраснел — провалиться бы! Это ж получается, что я себя выпячиваю, пятерку

прошу сочинением своим, да не за литературу — за жизнь. Зло меня тут взяло, хотел я что-то сказать, но только кулаком по парте шарахнул, а тут и звонок прозвенел.

Да, разозлился я тогда на Бороду и на ребят, а сейчас вот вспомнить приятно. И, наверное, погорячился я тут, что все мы в разные стороны живем. Были все-таки, были такие моменты, когда чувствуешь себя вместе. А это особое что-то. Это только тогда, когда ты что-то хорошее сделал или просто прав и все тебя понимают и поддерживают. А по заказу такое не получается, это как праздник.

А здесь, в поселке, мы дружим втроем. Скачков Колька на Лесной живет, а через два дома от него — Витюля Рыбалкин. С ними я на карьере познакомился.

Колька старше меня на два года. Он в институт поступает, в Политех. «Сейчас, — говорит, — научно-техническая революция в самом разгаре, так что надо торопиться, пока она не закончилась, а то опять прозеваем, несчастное наше поколение». И снова пальцем черным в клавиши своей портативной машинки тычет, чтобы она ему посчитала с точностью до четвертого знака, сколько дней до экзаменов осталось. Палец у него черный от мотоцикла, который все время ломается. Старенькая уже «Ява», отец ему подарил, когда у них на «Жигули» очередь подошла.

А Витюля у нас маленький. Только в седьмой класс перешел. И росту он маленького: мне по плечо, а Кольке вообще до подмышки. Но парнишка он шустрый, кое в чем очень даже разбирается.

— Я, — говорит, — все-таки не считаю Флобера таким уж великим писателем. Я бы Ремарком заниматься хотел. Или — в крайнем случае — Хемингуэем. Но по Хемингуэю защищаться, говорят, сложно, очередь лет на пять, мне один доцент неостепененный жаловался. А тебе Коро нравится?

Это он меня спрашивает, причем на полном серьезе. Прямо с ходу он стал ко мне с этими фамилиями великими приставать. Знал бы — я бы к нему и не подошел, не стал бы позориться. Сидит на корточках, шибзик такой, от горшка два вершка, головастиков ловит у берега носком своим безразмерным и обратно в воду вытряхивает. Гуманист. А сам, оказывается, уже и диссертацию защищать примерился. Ну, молодежь пошла!

Из-за этой своей гениальности Витюля меня и не одобрял с моим решением в техникум поступать.

И в этом смысле я Кольке очень завидовал. Ему-то на Витюлину эрудицию наплевать было с высокой колокольни — такой уж он человек.

— Тургенева читал? — спрашивал он Витюлю и, не давая ответить, перебивал его: — Тургенев черным по белому написал: Рафаэль твой гроша ломаного не стоит. Понял? Это сам Базаров говорит. А он у Тургенева кругом положительный, его все боятся и стреляет

он не хуже Онегина, прямо в ляжку засадил турку тому с ногтями полированными, фамилии не помню.

— Да ты же все перепутал, голубь ты сизый! — Витюля кричит. — Базаров-то не Тургенев, Базаров заблуждался, это же доказано. Ну?

— Мало ли кто заблуждался, — отмахивается Колька. — Все они заблуждались до революции. Время такое было — эксплуатация, голод. Но ты-то понимать должен! Теперь техника все решает, прогресс. Самого же тебя от мотоцикла за уши не оттащишь, а туда же с флоберами своими. Завести тебе тачку-то? Прокатись, остынь.

Тут Витюля, конечно, улыбается так застенчиво и больше спорить не хочет. Колька снимает «Яву» с подножки, заводит ее с одного рывка, пускает Витюлю проехаться по Лесной.

Уезжает Витюля — и Колька переключается на меня.

— Во сколько у тебя сегодня с Джульеттой твоей стыковка? Опять, небось, не докричаться будет тебя вечером. Мы с Витькой хотим на зорьке блесну побросать. Август уже, щука должна хорошо брать.

— Да экзамен у меня завтра, — говорю. — Учебник полистать нужно.

— Знаю я экзамены твои, — усмехается Колька. — Что ты в ней нашел — не понимаю. Девчонка как девчонка. Не очень даже красивая. Волосы вот только ничего, а так...

Молчу. Не хочу ссориться. И объяснять не хочу, что у нас с Тамарой не любовь какая-нибудь там дурацкая, а настоящая дружба. Может, и сам Колька об этом догадывается, потому и злится, что есть у меня что-то, чего ему отверткой не поковырять.

— Не бывает, — говорит он, — никакой дружбы между парнем и девушкой. Элементарное влечение. Половое. И в книжках об этом написано. Ты почитай «Новое о супружестве» — нормальная книжка. Только картинок мало. А баба — она и в Африке баба. Ты, может, и хотел бы дружить, да не получится. Все равно она по-своему повернет. Они без этого не могут. «Не надо», — скажет, а сама задышит, задышит и прижмется. Тут уж хочешь не хочешь действовать нужно. Ты, главное, не бойся, она сама тебя научит всему. Они такое знают — тебе и во сне не приснится...

Встал я, встряхнулся. Хотел объяснить Кольке, что Тамара не такая, да только рукой махнул. Не поверит.

— Ну пока, — говорю.

И поехал домой, молоко повез, пока не скисло.

Отдал матери молоко, пошел с Ленкой гулять. А Тамара все перед глазами стоит, другая какая-то теперь. И стыдно мне, что так я про нее думаю — как про голую...

Но это быстро прошло. Я строил для Ленки куличики из песка, а она их ладошкой рушила и мне улыбалась, хохотала даже. И, как всегда с Ленкой, мне стало спокойно, уютно как-то. Вот ведь чело-

век! И не скажет ни слова, кроме «дай», «на», «Саня» да «кака». Это она коляску «какой» называет. А хорошо с ней — даже в песке возиться приятно. Как будто молодость вспоминаешь — где мои четыре года! И вот еще что хорошо — не хнычет никогда моя Ленка по пустякам. Побежит, споткнется, бахнется на дорогу — земля гудит. Ну, думаю, заорет сейчас на весь поселок. А она только и скажет: «Лена — бах!» Покряхтит, сил наберется от матушки-земли, на четвереньки подымется и встанет. Ладошки отряхнет об чистые белые колготки, улыбается, довольная.

Сорвал я ромашку, дал Ленке. Сразу она заулыбалась опять. Сама другую ромашку дернула за головку и мне протягивает.

— Что же ты, — говорю, — цветок мнешь, чебурашка ты этакая! Он же для красоты! Смотри, какой мы сейчас веночек сплетем...

Стал я один цветок вокруг другого крутить, а венка не получается. Рассыпается все. Попробовал вспомнить, как вчера на горе Тамара венок сделала. Кстати, ведь «чебурашка»-то — это ее слово, Тамарино, от нее взял и постоянно теперь Ленку так называю. И венок сплести мне захотелось потому, наверное, что у Тамары вчера очень ловко это получилось.

Интересно вот, откуда берется ловкость? У нас в гимнастике чаще говорят — грация. «Грации бы тебе немного, — говорил мне Михал-Василич. — Ты присмотрись, как у Стасика Горина этот элемент отработан чистенько!.. «Чистенько» — значит, без лишних движений, без дрожи в коленках. Не из последних сил, а так, будто ты привычное приятное дело делаешь и знаешь при этом, как красиво со стороны смотришься.

Но секрет здесь, по-моему, не только в тренировке, а больше даже в том настроении, с каким к снаряду выходишь. Перед столиком судейским стойку-струнку сделаешь, пол-оборота налево — и... И тут уж одно из двух. Либо — как у Стасика — полет, грация, красота, душа радуется смотреть. Либо... В общем, нужно, чтобы в тот миг, когда ты перед судьями прогибаешься, эмблему спортшколы на груди гордо так под прожекторами показываешь, — чтобы в это мгновенье внутри у тебя все на взводе было и в то же время совершенно спокойно. Посмотрите, мол, товарищи судьи, на будущего чемпиона, приготовьте ваши десятки, рты разевать приготовьтесь! Но для этого необходима уверенность. Уверенность — это, наверное, когда знаешь, что тебя поймут и оценят, потому что любят, да не за то, что ты уж такой самый замечательный, необыкновенный, а что можешь таким стать — они в это верят. Они — не только судьи. Чем их больше, таких людей, тем лучше. Но уж это кому как повезет. Для начала неплохо бы, чтобы хотя бы единственный судья, который все шестерки или, в лучшем случае, семерки тебе лепит, чтобы он один понял наконец, что ты стоишь чего-то большего, чем взгляд презрительный, как на щенка чужого,

который посреди комнаты на блестящем паркете лужу большую распустил...

Часто я думаю: может, я ей все-таки не родной сын?

Глупые, конечно, мысли. Тем более — сам справку читал. Но ведь с Ленкой-то она совсем иначе, я же вижу. А я ей последнее время как будто мешаю. И потому что бы я ни сделал, все она как-то с подковыкой видит. «Добился своего!» — говорит. А уж если в конце четверти мать в школу собирается на родительское собрание, тут вообще хоть из дому беги. И чего она обо мне в школе учителям наговорит, я и подумать боюсь. Классная наша после этих ее приходов на меня потом целый месяц исподлобья глядит и на уроках старается не тревожить — психику травмировать боится. Смешно даже. Противно и смешно. Тем более знаю, что сын я у матери самый натуральный. Рылся как-то у ней в тумбочке — просто из любопытства — и прочитал эту бумажку: «Справка. Дана Лазовской Валентине Михайловне в том, что она находилась в больнице с 20-го февраля по 18-е марта 1965 года. Диагноз: роды 21-го февраля. Подпись врача».

Так и написано: диагноз — роды. И мой день рождения. Будто я с рождения для матери наподобие болезни хронической, вроде как гланды или аппендицит. Напишут же — смех! Тем более, если серьезно говорить, не сразу это у нее ко мне началось, а только в последнее время. Да и сейчас, бывает, она со мной совсем вроде как по-нормальному. И в эти дни мать очень боится за меня, чтобы я экзамены не завалил.

— Ты скажи мне честно, сынок. Ты понимаешь, что в эти дни судьба твоя решается навсегда? Понимаешь?

Киваю. Будто и правда чувствую серьезность момента. А какая же тут судьба? Просто экзамены. Сдать их, конечно, надо, раз уж взялся. Но судьба — это, по-моему, что-то совсем другое. Вот если бы я в училище Суворовское поступал или в мореходку — тут бы и вправду судьба...

— Нет, тебе, может, не хочется в техникум поступать — ты скажи! — и снова она уже тем своим взглядом смотрит. — Скажи, не бойся. Тебе, может, болтаться хочется всю жизнь? Как отец, например. Чем плохо — никакой ответственности...

Хотел я сказать, что отец-то все ради семьи, всю жизнь. Да чего зря заводиться! Ладно, потерплю, не в первый раз она меня воспитывать пришла, да и не в последний.

— А ведь об этом человек должен в первую очередь думать, — говорит мать. — Чтобы близких своих счастливыми сделать. Чтобы был у детей отец, чтобы жена была спокойна за завтрашний день...

Ну, думаю, все, заплачет сейчас. Нет, сдержалась.

— Человек должен быть счастлив! — она посмотрела на свои руки с наманикюренными по случаю воскресенья ногтями, вздохнула, поправила бусы на груди. — Жизнь дается один раз, Алек-

сандр. И ты сам обязан устроить ее по-человечески, понимаешь? Чтобы не на кого потом было жаловаться...

По-человечески... А как спросишь, с чего начать-то, чтобы взрослая жизнь началась на самом деле, — она только губы подожмет, головой покачает: думай, думай, дружок, я ж тебе свою-то голову на плечи не приставлю... И тут я догадываюсь, что и сама она, наверное, ничего толком не знает. Во всяком случае, не больше моего. А может, и меньше.

Я когда это узнал про нее, очень расстроился. И тогда мне все-таки нужно было сказать ей: нет, это неправда. Но в тот вечер праздничный так и не получилось, а потом уже стало неловко такое вспоминать.

А было это совсем недавно, в марте. Отмечали мы деда нашего юбилей — восемьдесят лет. Чувствуете? Восемь десятилетий! На рубеже веков, как говорится, родился человек, в самое времечко золотое. Сами, небось, мечтали вы родиться в те годы. Он и комиссаром был, и полком командовал, и в Отечественную — все, в общем, успел. Счастливое их поколение!

А народу на юбилей собралось — полгорода. Мы на Космонавтов праздновали: у стариков-то на Московском все бы не поместились. Ну, и праздника такого я еще не видал.

Сначала было вроде как торжественное собрание. Никто не ест, не пьет, речи слушают. Выступали с работы дедовой сослуживцы, просили его на пенсию окончательно не уходить, поработать еще. Мы, мол, без вас как без рук, дорогой Михаил Петрович. Грамоту ему вручили, адрес на память. Дед все кивал и кланялся — бледный такой сидит, расстроенный, орден свой новый на груди трогает осторожно: как раз перед юбилеем наградили его орденом «Красной Звезды» — в связи с восьмидесятилетием и за многолетнюю отличную работу. Работа у него с хлебом связана, с хранением — чтобы не портилось зерно в элеваторах и хлеб у нас был какой следует. Как уволился дед из армии после войны — так все по командировкам ездил, за хлебом присматривал. А какой у нас хлеб в Ленинграде замечательный, сами вы знаете отлично, вся страна знает. Так что, я думаю, деду моему есть чем гордиться.

И я гордился. Сидел и гордился, что я его внук. И мне тоже хотелось сказать что-нибудь про деда, я все старался в глаза ему заглянуть. Но он сидел на другом конце стола и не видел меня, только раз кивнул, но не знаю — мне или матери. Она тоже на него тогда смотрела. Грустно так смотрела и улыбалась. А дед все вертел головой, видно было, как жмет ему воротник новой нейлоновой рубашки, как неловко деду сидеть в этом золоченом юбилейном кресле, специально одолженном матерью у соседей, — будто давили на него поздравительные речи, как перегрузки космические.

Кончились все главные выступления — и с работы, и от райкома, и отец мой от семьи нашей что-то говорил — оправдывался как

будто, а мать в это время морщилась и вилкой по тарелке стучала, — выпили, стали есть. И дед вроде успокоился. Лимонаду себе налил, вытер платком лоб и за подлокотники держаться перестал — отпустило его, видно, полегче немного стало. Тогда-то он мне и кивнул. Или матери — не понял я.

Тут она и засмеялась. Задумчиво так, отрывисто, внезапно — как перед слезами. И тихо себе сказала — страшным поющим голосом: «А жизнь-то моя-а-а... Лоп-ну-ла-а-а...»

Как ударило меня изнутри — так она засмеялась, с закрытыми глазами и закушенной нижней губой. Вскочил я из-за стола, к ней тянусь, а меня сзади кто-то в этой тесноте за ремень дергает и бока мне щекочет, чтобы я сел, не мешал людям праздновать. И никто этих ее слов не слышал, ни один человек. Справа от матери тетка Таня студень себе накладывала, а она глухая почти. А слева сидел отец, уже пьяный. Он голову опустил и уши закрыл ладонями — о чем-то своем задумался.

Посмотрел я вокруг: все едят, пьют, смеются, радуются. Один дед сидит грустный — с темным лицом, с новым орденом на груди, очень старый. А мать — дочка его — прямо как мертвая. Нет, не бледная, а с таким страшным румянцем, как мертвецов красят, — раз в жизни на похоронах я был, а век не забуду.

Но вдруг заметила меня мать — взгляд мой встретила. Я в упор на нее смотрел и мучился — так хотелось мне крикнуть, что неправда это, не лопнула ее жизнь, все еще будет хорошо, замечательно будет. Вот скоро стану я наконец взрослым и смогу ей по-настоящему помочь, а не только магазины-пеленки, это-то всякому дураку под силу. Заметила мать этот мой взгляд — и поперхнулась вином. Она как раз отцовский бокал взяла и уже отпила немного. Но теперь вздрогнула и бокал на место поставила. Лицо у нее стало строгое, даже недовольное, а руки она сложила на груди и откинулась на спинку дивана, оглядывая с удивлением и свысока едящих гостей: что это, мол, вы так неприлично себя ведете, брали бы с меня пример.

Я не сводил с нее глаз, и все-таки заметил один ее взгляд в мою сторону — испуганный взгляд и злой — даже страшно стало. Да я ведь ничего плохого, честное слово...

А когда расходиться гости стали, она уже была как все, даже гораздо веселей и живее многих, бойко заказывала по телефону такси, а меня как будто не замечала. Хотя обычно это моя работа — такси вызывать, пальто подавать старшим и улыбаться на прощание, «как в лучших домах Лондона».

И вот так всю жизнь. Только приоткроется тебе что-то важное, только ты вроде главное в жизни понимать начинаешь и можешь уже взрослое что-то сделать, все изменить, — а она снова в этой своей маске: оставьте меня, умоляю, не трогайте, все равно не поможете ничем...

А может, и права Тамара: в любой семье что-нибудь да не так?

Но я, наверное, потому и не понимаю родительской жизни, что у меня другая семья с детства была на глазах — дед и бабушка. У них все по-другому.

Вот придет дед с работы вечером, сядет за стол. Только газету развернет — а бабушка уже принесла ужин:

— Давай-ка сюда газету, успеешь. Давай, Миша, стынет. Ты где сегодня обедал?

— В диетической. С Журавским пошли, дураки. Это он меня потащил, бродяга: «Миса, Миса, посли в диетицескую...»

— Так и мучается с зубами? Ты же его на прошлой неделе к Эльвире Арнольдовне посылал.

— Да не пошел он. В командировку поехал. Там, понимаешь, в Гатчине у нас прямо беда, директором поставили молодого...

— Ешь, Миша, стынет...

Дед ест и рассказывает. А бабушке так интересно — сидит напротив и смотрит на него. Удивляется, возмущается, руками всплескивает. И видно, что вся его жизнь перед ней как на ладони, все она понимает и думают они одинаково.

Это, наверное, потому, что не расстаются они никогда, всегда вместе. Она и в гражданскую на тачанке с ним ездила. И ребенка первого прямо на тачанке родила. А жили они в казарме, с солдатами, в углу за занавеской. Нет, я не считаю, конечно, что все должны на тачанках рожать и без дома жить в молодости. Но что ни говори, повезло моим старичкам, на всю жизнь повезло. И не зря мой дед говорит, что вот в армию меня возьмут — наберусь ума. Он, по-моему, все на свете понимает, потому и спокойный такой всегда. И бабушка тоже. Я еще в детстве, если в чем виноват или, наоборот, обидят меня, к бабушке сразу бежал. И она понимала. Виноват — шлепнет, но зла не держит, сразу я это чувствовал. Или, может, бабушки все такие добрые — просто от природы? Многие ведь ребята бабушек больше любят, чем родителей. Бабушка за тебя и порадуется всегда от души, если пятерку получил в школе или еще какой подвиг совершил. И когда я в секцию гимнастики записался, кто меня одобрил? Отец да бабушка. И сказала-то всего: «Молодец, правильно, современный мужчина обязательно должен быть спортсменом». А мне от этих слов и от улыбки бабушкиной такое кажется — будто я давно уже самый первый чемпион. А мать тогда только губы поджала и хмыкнула.

— Ничего у тебя не получится, — говорит. — Не тот у тебя характер, не спортивный.

— Как у всех, — говорю, — ничего особенного.

— У спортсмена характер бойцовский должен быть, а ты хлюпик. Да не ты один такой. Настоящего мужчину теперь днем с огнем не найдешь.

— А отец? — возмутился я. — Он же боксом занимался, даже чемпионом города был в юности, самого Шесталова нокаутировал!

— Я тебя умоляю! — мать говорит. — Занимайтесь вы чем хотите, хоть культуризмом, хоть водку хлещите на пару, только оставьте меня в покое, к чертовой матери, ну!

А никто ее и не трогал. Отца уже тогда дома практически не было, он как раз дальние рейсы осваивать начинал. Возвращался измотанный, посмотришь — старик. Руки трясутся, глаза слезятся. Это ведь не хухры-мухры — между городами на атомной скорости носиться — и на юг, и в Прибалтику, чуть не по всей стране. Да если еще успеет, не заходя домой, с друзьями «поддать» после поездки — вообще кисель-киселем. Мать закричит: «Не нужна мне эта твоя работа проклятая, мне муж нужен, мужчина в доме!» А он все одно: «Тише, Валечка, ребенка разбудишь». Как будто я сплю. На следующий день пойдет с матерью в универмаг, купит ей платье или новую вазочку — и несколько дней в доме тихо. Мать от этих его подарков успокаивалась всегда. А я не понимаю: вроде как для семьи он мучается, деньги все зарабатывает, а семьи-то, считай, и нет. Или это я уж слишком хватил? Да ладно, проехали...

А про спорт мне отец так сказал: «Я, — говорит, — до сих пор тренеру моему благодарен — Акимову Владимиру Михалычу. Ни разу в жизни даже в нокдаун не попадал...» До сих пор отец мой в любой момент может угол сделать хоть на полу и держать, пока ты считать не устанешь, — такой у него пресс мощный. Вот и мне такой иметь хочется. И тренер мой, Михал-Василич, мне сразу очень понравился. Как-то на тренировке я сорвался с колец, а высота была приличная — враз шею свернешь. Но Михал-Василич меня успел подстраховать, на руки, можно сказать, поймал. А я, орясина, ногой его по лицу задел, рассек ему верхнюю губу. Михал-Василич тогда неделю на тренировки не ходил, а я не знал, куда деваться от стыда. Но, вернувшись, он ничего мне не сказал — ни слова. Обнял за плечи, потрогал свою губу, пластырем залепленную, улыбнулся и подмигнул мне. А самому больно улыбаться, я-то вижу. Чуть я не разревелся тогда. Дернулся убежать, но Михал-Василич меня поймал, головой покачал и показал кивком: давай-ка, мол, на кольца. И у меня тогда в первый раз получилось все как надо — и подъем махом назад, и выкрут — со злости, наверное, и от стыда.

Вот и с техникумом этим так же.

— Не поступить тебе будет, — сказала мать. — Не боец ты, не умеешь цели добиваться во что бы то ни стало. Весь в папочку...

Хотел я напомнить ей, что наш батя институт автодорожный в прошлом году с отличием окончил заочно, а если на должность не перешел и за баранкой остался, так только чтобы в зарплате не терять, он мне объяснял. Но тут же покраснел я и подумал, что отец тут ни при чем, за себя самому отвечать нужно. И хотя

не больно мне в техникум электромеханический хотелось, тем более недавно дома лампочку вкручивал и так меня током дернуло, что я со стула свалился, но стал я сразу после школьных экзаменов математику зубрить, как самая последняя отличница с белым бантиком и в итальянских очках.

Я когда Тамаре про мать рассказываю, она одно твердит: «Брось, не расстраивайся, просто ты мнительный очень, все тебе кажется, а на самом деле она за тебя волнуется, каким ты станешь, вот и нервничает все время...»

А вчера мне Тамара вопрос задала — неожиданный:

— Саня, ты меня извини, что я про такое спрашиваю. Не хочешь — не отвечай. Я про маму твою хочу узнать. Ты никогда не видел, чтобы она плакала?

Растерялся я, покраснел, отвернулся. Но как-то уж так у нас с Тамарой выходит, что я ей по-честному отвечать привык. И тут не выдержал, хотя и стыдно мне стало перед матерью, будто тайну семейную выдаю. Ведь действительно, когда отца дома нет, она плачет, частенько плачет. Не раз видел. Как будто над книжками сидит в своей комнате, за письменным столом, у кровати Ленкиной, а у самой прямо на конспект — кап — слезинка. «Ты что, — спрашиваю, — мамочка? Голова болит?» — «Ничего, — говорит, — Санечка, иди, сынок, занимайся». Я еще удивился тогда, что она меня Санечкой назвала. Но на следующий день, хотя отец и не ночевал дома снова, машину ремонтировать в гараже остался, она уже спокойная была, как всегда, и снова я был у нее «кретином» и «дебилом»...

— Понятно, — говорит Тамара. Задумчиво так говорит. — Санечка, ты посмотри, как туман по долине ползет — волокнами. Тут проплывет, там к речке перетечет, холмик обойдет, а вон снова чистое место. Ты не переживай, Санечка. Вот поступишь в техникум, самостоятельным станешь — и все образуется. Ты, главное, мать пойми, тяжело ведь ей...

— Поймешь ее! — говорю. — Каждый день что-нибудь новенькое. Сама не знает, чего хочет. Как больная.

— Вот это и понимай, — кивает Тамара. — Этого тебе достаточно пока. Ты уж мужчиной должен быть, пора тебе. Ну, пошли! Ничего, Саня, перемелется — мука будет...

И мы стали спускаться с горы.

Я шел позади Тамары. Смотрел, какая она ловкая, легкая. Мать раньше тоже легкая была. А теперь... Что бы она, интересно, сказала, если бы слышала, как эта «пэтэушница» с волосами своими «вульгарными» учит меня пожалеть мать свою, которой я остерегаться привык...

Проводил я Тамару, вернулся домой, и начала мать, как обычно:

— Почему девочку в дом не привести? Шляться черт знает по каким закоулкам, когда дома и чаю попить — пожалуйста, и магнитофон, и книг, слава богу, как в магазине, сразу видно, что за люди живут...

А я только наверх к себе убежал, учебник раскрыл, где имя Тамарино давно еще, когда мы познакомились, написал, на лампу дунул — и сразу голос Тамарин: «Санечка...» Так я и повторял про себя: «Санечка... Тамара, Тамарочка...» — и уснул, не раздеваясь. Даже будильник на семь часов не поставил. Хотя и помнил, что завтра у меня третий, последний экзамен, за который во что бы то ни стало трешку получить я обязан, иначе ни Тамаре, ни матери на глаза показываться просто невозможно, и Колька с Витюлей засмеют, да и самому потом стыдно будет...

3

Странный цветной сон приснился мне в ту ночь перед последним экзаменом. Радуги вроде какие-то, и куда-то я под ними лечу в приятной невесомости. А земля внизу голубая, полукруглая, как будто из космоса я на нее смотрю. Лечу я, смеюсь, пою во все горло. А снизу, с земли, мне кто-то рукой машет: счастливого, мол, пути, лети себе, не сомневайся, дорогой Саня... Но кто это провожает меня? Женщина какая-то. Красивая женщина. Но лица не могу вспомнить. Может быть, мать? Нет, моложе. Тамара? Но платье на ней было лиловое, кримпленовое, любимое платье матери. В общем, вспоминать — только запутаешься. Главное — цветной был сон, очень красивый и приятный, и проснулся я с хорошим настроением.

— Сынок! Сынуля! Вставай скорей, завтрак уже готов! — это мать крикнула мне снизу.

Я быстро оделся, спустился на веранду, а она уже ждет меня с белой рубашкой в руках — только что выгладила.

— Нет-нет, умойся сначала! Все повторил вчера? Ничего не забыл?

Напоила меня мать чаем с бутербродами, повздыхала, что волнуется и переживает, и наконец отпустила, подтянув на шее у меня фиолетовый отцовский галстук.

— Я тебя умоляю, Александр! Я очень волнуюсь!

Фу, черт, даже и меня мандраж пробирать стал.

— Не беспокойся, май мазэр, — выдавил я из себя, вспомнив, как вчера учила меня Тамара понимать и жалеть мать, а значит — приятное ей делать.

Мать покачала головой, поджала губы.

И я выскочил за калитку. Скорее, пока Ленка за домом в песке возится. А то увидит, что я ухожу, — рев поднимет. Ей-то не объяснишь, что скоро вернешься, она-то думает — навсегда...

Минут через двадцать я был уже на гребне горы. На том бугорке под березой, откуда мы с Тамарой часто по вечерам на поселок смотрим. Присел я, достал сигареты. Огляделся вокруг, задумался, даже закурить забыл.

Весь поселок наш умещается под горой, в узкой долине, где речка течет и разделяется на два рукава. Сейчас, утром, речка блестит ярко, и мне хорошо видно то место, где она разветвляется и один рукав уходит под мост, к скрытому за холмами озеру. У моста стоит магазин, куда я за молоком хожу и где с Тамарой познакомился, — маленькое синее здание. Вон кинотеатр, там — больница белая, новая, а ближе, под самой горой — карьер песчаный с мутноватой водой, мы купаемся там, когда на речку ехать лень или некогда. Крыши домов — серые, шиферные, или железные — красные, зеленые, оцинкованные, блестящие. И под каждой крышей своя идет жизнь, живет другая семья, похожая в чем-то на нашу, но другая, и все-таки не чужая, не совсем чужая. Иначе не было бы на свете дружбы и не познакомился бы я так случайно и просто с Тамарой.

Когда я на гору сюда поднимаюсь, мне как-то спокойно делается и радостно: все у меня впереди, и много еще хорошего будет. Да и сейчас уже хорошо, если разобраться. Один экзамен остался — и я студент. И лето прошло хорошо: друзья новые появились. А главное — Тамара. Как-то незаметно она мне лучшим другом стала, я об этом и не задумывался. И сейчас вот смотрю с высоты, вижу дом ее с серой шиферной крышей — и будто она мне улыбается издалека, рукой машет. И хотя не совсем я понимаю, почему улыбка у нее все время немного грустная, все равно хорошо. Просто она взрослее меня гораздо и больше понимает. Но и я, как с ней подружился, тоже вроде старше стал незаметно. И когда теперь смотрю отсюда на нашу дачу, где мать и Ленка уже меня ждут, я думаю о матери немного иначе — тем более после вчерашних Тамариных слов. Вспомнил вот, как рубашку эту она мне давала, как поправляла на мне галстук, лицо ее сосредоточенное вспомнил — и пожалел, что не поцеловал ее на прощанье...

Странно это. Живешь, спешишь куда-то, о чем-то беспокоишься, и все время что-то меняется и вокруг, и внутри тебя. Потом начнешь вспоминать — и вдруг стыдно становится. Потому что когда вспоминаешь — это как будто заново по собственным следам идешь, а сам ты уже немного другой, вот и жалеешь, что раньше — тогда — таким, как сейчас, не был. И тут забеспокоишься: как сделать, чтобы всегда таким оставаться, чтобы не было стыдно потом? Вот Тамаре, наверное, никогда за себя стыдно не бывает...

Смотрю, а у меня в руке сигарета. И вспомнил, как Тамара спрашивала, зачем я курю, и смеялась, что мне хочется взрослым

выглядеть, а значит, на самом деле я еще маленький. Тогда-то я обиделся на нее и нарочно от той сигареты новую прикурил. А теперь смешно стало и стыдно. И я выбросил сигарету. Потом из кармана пачку достал и положил на камень. Может, пригодится кому.

Встал я, потянулся так, что суставы хрустнули, и показалось, что взлечу сейчас, как ночью летел во сне. Я разбежался, сделал рондат, колесо, но вспомнил вовремя, что нужно рубашку свежую поберечь. Подобрал тетрадь и пошел к железной дороге.

В электричке час целый и потом в метро я все читал свой конспект. И когда вышел из метро на станции «Электросила» и вдруг понял, что через каких-нибудь полчаса я должен буду в класс войти, то есть в аудиторию по-ихнему, по-техникумовски, и взять билет, лицом к лицу с незнакомыми людьми, — все формулы тригонометрические в голове у меня перемешались и такой мандраж пробрал, что и не помню, как до техникума добрел, как под дверью аудитории полтора часа просидел, листая бессмысленно разные учебники и запихивая машинально в карманы использованные уже первыми ребятами шпаргалки, как вошел в большой класс с длинными столами и что-то там карякал на листке с бледной печатью, распустив узел галстука и вытирая рукавом пот с помертвевшего лба, как вышел к доске и сделал чертеж, изломав три куска мела и обсыпавшись белой пылью с головы до ног. Очнулся я в тот момент, когда невысокий старичок с четкими движениями и быстрыми черными глазами подошел ко мне, взглянул на чертеж и сказал:

— Вам повезло, молодой человек. Это самая интересная задача. Я сам нашел ее совершенно случайно, в одном старом учебнике, еще дореволюционном. У вас, разумеется, есть ошибки. Но ход решения вы нащупали верно, что говорит о ваших несомненных способностях. Вы что — в математической школе обучались? А почему ушли? Дисциплина?

Он прищурился хитрыми своими, но добрыми глазками.

Я смахнул пот и заявил вдруг, что с математикой я не в ладах давно, а почему ход решения верный — не знаю, я не нарочно.

Старичок рассмеялся. Смеялся он очень приятно — заразительно и в то же время сдержанно: плечи под старым пиджачком ходуном ходят, а реготания никакого, только свист как будто.

Положив мел в желобок рядом с указкой, я пошел к двери.

— Молодой человек!

Я оглянулся.

— Если вы найдете мне тангенс альфа, один только тангенс альфа, подчеркиваю, я вам пятерку поставлю и отпущу с богом. Дерзайте, сударь!

Время замерло. Я стер чертеж, пересеченный вспомогательными построениями, сделал новый. Старичок повернулся ко мне спиной, спрашивал какого-то парня, поставил ему тройку, потом долго мучился с высокой девчонкой в очень короткой красной юбке, она заплакала и ушла. Я снова стер с доски все, построил новый чертеж, покрупнее. Нашел тангенс бета, косинус фи и даже котангенс альфа,— не знаю, как это меня угораздило. Но тангенс, засыпанный этими достижениями, ушел от меня в глубь вспомогательных построений, и пришлось снова стирать эту белую паутину...

Наконец я остался в аудитории вдвоем со старичком. Мне было уже все равно. Права мать, никуда я не гожусь.

Он подошел, взял у меня последний огрызок мела, уже исписанный в горошину, отчеркнул нижние три строчки решения, а над линией выставил радикал, посмотрел на меня прищурившись...

— Да вот же он! — заорал я. — Теперь в куб возвести — и все тип-топ! Ну да! Ух, здорово! Ну и осел же я!..

Старичок мне был теперь как родной, даже поцеловать его захотелось.

— Вот и отлично! — сказал он. — Я всегда утверждал: человек — животное хитрое. Давайте ваш экзаменационный лист. Ах, да, он здесь, на столе. Рад за вас, молодой человек. Люблю настойчивых!..

А я смотрел за окно, ничего не видел и думал о том, как все-таки справедливо устроено все на свете. Ведь никогда твои волнения и работа даром не пропадают. Чувствовал я себя сильным, очень сильным. И знал, что и в будущем справлюсь со всеми науками, со всем, что случиться еще может в жизни. И хорошо, что люди такие есть, как этот старичок. Без него бы я не выплыл, это понятно. Но от такого человека и помощь принять не стыдно. Потому что ему самому при этом одна радость...

— Постойте, молодой человек, а что у вас там за письменную?

— Не знаю, — говорю, — нам не объявляли.

— Позвольте, как это? — старичок удивился. — А список в коридоре на доске?

— Да нет там меня ни в одном списке, — улыбаюсь я, а сам листочки свои со стола собираю. — Нету моей фамилии там. Значит, все в порядке.

— Странно, — старичок покачал головой. — И в ведомости оценки нет. Может быть, это вашу работу мне приносили на подпись? Но там же двойка, я и смотреть не стал, там моя подпись только для порядка нужна, для формы, так сказать...

В животе у меня что-то вздрогнуло и куда-то побежало.

Достал он из стопки на столе листок с моей фамилией. Посмотрел — нахмурился. На меня взглянул и тут же глаза опустил.

А мне как-то вдруг пусто стало. И засмеяться хотелось, что мог я поверить, будто у меня все в порядке, как у людей. Да не может у тебя как у людей быть, пойми наконец, не зря же мать предупреждала. Уж такой ты человек родился — неудачный.

— Не расстраивайтесь, молодой человек, — старичок меня утешает. — За устный экзамен я вам все равно пять ставлю. Так что ваша двойка за письменную работу — это лишь злая ирония судьбы. Не теряйте веры в свои силы...

Он посмотрел на меня как на больного, и я выбежал из аудитории, даже и конспект свой не захватил — до того стыдно стало мне перед старичком. Ведь поверил он в меня, понимаете? А я человека подвел...

— Постойте, у нас недобор! — кричал старичок мне вслед.

Стыдно и смешно теперь вспоминать, как я скатился через три ступеньки вниз по лестнице, как ударился в дверь и бежал по улице и только за углом, на Благодатной, перевел дух и пошел шагом.

4

А душно было в те дни в городе — жуть. На углу Московского стояли автоматы с газированной водой, и я выпил сразу три стакана: один с сиропом и два по копейке, чистой. Вода была хорошая, холодная, потому что автоматы стояли в тени; в нос газом ударило. Сел я на скамейку у троллейбусной остановки. Смотрел, как влезают люди в троллейбус, помогая друг другу или, наоборот, отпихиваясь, — кто как привык. Час пик. Обеденный перерыв у людей.

И вдруг я почувствовал, что страшно есть хочется. Даже несмотря на жару. В столовую, что ли, пойти? Где она тут поблизости?

Встал, огляделся по сторонам и снова обозвал я себя кретином. Конечно, кретин, если не понял сразу, что в двух шагах от родного дома ошиваюсь. Я же тут вырос, на Московском проспекте. Второй дом от угла, напротив кино «Мир». Это сейчас мы на проспекте Космонавтов собственной семьей проживаем в трехкомнатной квартире, а до прошлого года здесь жили все вместе, вон в том высоком сером доме с тенистым уютным двором. И сейчас, наверное, дед с бабушкой дома. Конечно дома, где же им быть, если они в этом году на дачу не поехали из-за давления дедова: уколы ему делают каждый день. Приду — они обрадуются.

Да чему же они обрадуются, дурья твоя башка, если ты только что пару схлопотал, орясина?! Ну, не могу больше, до чего отупел за эти часы!

Стой-ка!.. А зачем говорить им, что двойка там за письменную? За устный экзамен пять получил сегодня? Получил, факт. А что за письменную — ты просто не знаешь. Понял? И все тип-топ. Есть, мол, четверка за диктант, за устную математику пять, а письменную не знаю еще: не объявляли. Потом можно сказать, что по конкурсу просто не прошел. И все путем. Так?

Шевельнулось у меня что-то в пустом желудке, пискнуло будто, что не надо бы врать-то так хитро и подробно. Стыдно ведь станет. Но я быстренько успокоил себя тем, что делать мне больше нечего. Что я — ку-ку — стариков расстраивать? У деда давление и так двести на полтораста.

И поплелся я к старичкам своим. Домой, можно сказать, пошел.

Во дворе у парадной старушки сидели. Незнакомые уже старушки, но такие же, каких я знал всегда, в зимних пальто и теплых платках. И когда я кивнул им на всякий случай, показалось на миг, что никуда я и не переезжал, а, как обычно, возвращаюсь домой.

По широкой лестнице поднимался я с удовольствием. Запах здесь остался прежний. Нет, не противный лестничный дух старых домов, а чистый. Запах хорошего, прочного жилья. И двор у дома широкий и уютный, и лестницы просторные, светлые, с пологими ступенями, и перила удобные, деревянные, в коричневый цвет выкрашены, и высоченные двери квартир на лестничных площадках. Все родное. Такое родное — больно даже. Зачем мы уехали отсюда? Неужели нельзя было всем вместе остаться? Было у нас две комнаты. И соседи в третьей комнате тихие, двое всего: пожилая женщина и сын ее, студент, мой тезка. Но мать моя с соседкой этой не в ладах была. Не знаю, с чего у них началось, но она все жаловалась по телефону Галине, что соседи ее терроризируют. Смешно. В общем, разъехались в прошлом году, а в этом отец уже сразу на четыре месяца в рейс запилился. Как будто только и ждал размена и переезда. Так что соседи тут явно не мешали, а как будто наоборот. Да ладно, чего теперь...

Поднялся я на третий этаж. Квартира двадцать семь. Цифра-то какая хорошая — двадцать семь! Два да семь — девять, а дважды семь — четырнадцать. Замечательная цифра. На Космонавтов у нас двадцать первая квартира. Вроде и ненамного меньше число, а сложи две половинки — только тройку получишь, перемножишь — всего два. Я достал ключи, и старый замок добродушно крякнул, впуская меня в нашу квартиру. Хотя какая же она теперь наша, когда в двух комнатах чужие люди живут — Богачевы и Расторгуевы. Только деда с бабушкой комната нашей осталась. Но до сих пор у меня на связке есть ключ от этой квар-

тиры, а значит, и моя она немного. На этот ключ мне посмотреть — и то приятно, а уж дверь отпереть — прямо праздник.

Вошел я. Тихо. Вроде никого. Соседи на работе, а старички мои в магазин, наверное, пошли. Они в магазин всегда вдвоем ходят: бабушка деда одного не пускает.

Захлопнул я за собой дверь, включил свет в коридоре и подошел к зеркалу. Большой шкаф с зеркальной дверью в коридоре у нас стоит. Всегда он стоял тут, сколько себя помню.

Давно я в это главное зеркало не смотрелся. Вон как вымахал за полтора года! Как гланды мне вырвали — так и начал расти, будто за уши меня тянут. Смотрю в зеркало — нравлюсь себе. Плечи широкие, бедра узкие, ноги длинные, как у Стасика Горина. А что уши торчат и прыщи на подбородке — это уж я не виноват, возраст такой.

Тут меня будто током дернуло: а экзамен-то провалил, идиот! Забыл уже, что ли? Ты же двоечник, олух ты лопоухий, тебе же морду набить надо!

И саданул я кулаком по шкафу. Хорошо еще, что по зеркалу не попал, отдернулась рука в сторону в последний миг, по углу угодил, прямо косточкой по ребру.

От боли даже на корточки присел. Ну, не олух ли, не амбал разве? Шкаф-то при чем здесь? Расстроился я окончательно и сел на пол, спиной к зеркалу, чтобы рожи своей не видеть.

Вдруг смотрю: шевельнулась дверная ручка бабушкиной комнаты. Дома, значит, все-таки старички мои. А я тут на полу расселся, чуть не реву. Сразу я вскочил и улыбнулся заблаговременно.

А из комнаты выходит женщина. С белыми волосами, в бабушкином халате. Красивая женщина, только бледная очень. И непонятно, сколько ей лет. Меня увидела — ойкнула и говорит в комнату:

— Володя! Тут мужчина какой-то...

И выскакивает из комнаты отец. Рубашка розовая на груди не застегнута, в брюки не заправлена. Меня увидел — стоит и молчит. Смотрит на меня и молчит. Смешно даже.

Тут я по лбу себя хлопнул: все понятно!

— Здравствуйте, — говорю, — Елена Романовна! Папуля, поздравь меня, я все экзамены сдал! Только вот оценки не все сказали...

А что мне было говорить, если это его сестра двоюродная из Одессы приехала? Позорить отца я не хотел. Тем более сестра у него, оказывается, такая красивая и молодая. Вон как улыбается застенчиво. Не часто ее, наверное, по имени-отчеству зовут...

— Да, — говорит отец. — Ну да, конечно. Познакомься, Валечка. То есть Леночка. Ну да, Леночка, что это я? Ты ведь не видал еще эту свою тетю, сынок? В смысле, свою тетю Елену Рома-

новну? Которая в Одессе живет. То есть вот приехала, вот она. Сегодня утром приехала! Что же ты не позвонил, что зайдешь?..

— Откуда я знал, что Елена Романовна здесь будет жить? — отмахнулся я. — Я думал, ты сразу в Рощу ее привезешь, в конце месяца, как собирался...

— Вы есть не хотите? — спросила меня тетя и покраснела. — Лена! — и она протянула мне руку. Приятная рука, прохладная такая.

— Да, разумеется, надо тебе поесть! — Отец засуетился, стал запихивать подол рубашки в штаны. — А старики с утра сегодня в Рощу поехали на выходные. Лучше стало дедушке, слава богу, перестали его колоть. Что же мы в дверях стоим? Проходи, сынок! Мы тут завтракали, вот ветчина, шпроты. Может, винца выпьешь? Ты же теперь у нас студент! Детка, ты убери постель, — это он ей, сестре.

Вот чудеса! Первый раз в жизни отец мне вино наливает.

— Сейчас выпьем втроем! Хорошо, что ты приехал. А то ей уезжать скоро, сестре-то, тете твоей, — он достал из бабушкиного серванта третью рюмку и разлил вино. — И я завтра в ночь уезжаю. Садись, детка, брось возиться, все равно беспорядок. Давайте выпьем втроем! Может, не придется больше в такой компании...

Отец улыбнулся как-то криво и маханул вино в рот. Мне показалось, он и рюмку проглотит.

— Не надо тебе больше, Володя, — сказала тетя Лена. — Впрочем, как хочешь. Ты взрослый человек. Устала я...

Она села на постель, которую только что застелила аккуратно, как у бабушки всегда, закрыла лицо руками и заплакала. Так неожиданно — я решил, палец она прищемила. Там щелка между спинками двух кроватей, бабушкиной и деда, так в эту щелку, когда застилаешь, может палец попасть.

Она сидела и плакала, а отец смотрел на нее виновато. И я смотрел на нее — не знал, что делать. Волосы ее белые, неровно подстриженные, свешивались, закрывали лицо ее и руки. Не густые волосы, не живые. Будто старые очень. Какие-то слишком тонкие, что ли. И руки слишком худые. Совсем не похожа на брата, на отца моего. Но что же она плачет так долго?..

— Перестань, детка, — попросил отец жалобно. — Неудобно.

— Я не детка, — сказала она хрипло, открывая заплаканное лицо в розовых пятнах и улыбаясь страшной маской. — Я Елена Романовна! — она крикнула так громко, что я вздрогнул. — Я не хочу больше! Устала! Елена Романовна...

Она перестала всхлипывать, отвернулась к окну. Отец встал из-за стола, подошел к ней, положил руку ей на плечо.

Что делать-то? Есть хочется — жуть. Вот семейка досталась мне, а? Вечно отношения выясняют в самое неподходящее время.

И с сестрами, оказывается, тоже. Я думал, только с женами и мужьями...

А она вдруг засмеялась, прыгнула к столу и уселась на отцовский стул. Вытерла салфеткой лицо, налила себе вина и подмигнула мне:

— Проголодался, племянничек родненький? Ну-ка, покормит тебя тетка-плакса...

Она сделала бутерброды со шпротами, с ветчиной, с яйцом, навалила мне на тарелку огурцов со сметаной и, подняв свою рюмку, снова подмигнула:

— Давай, Сашенька, на брудершафт выпьем! А что? Ведь тетке можно племянника поцеловать, а? Тем более такого симпатичного. Ты ведь спортсмен, Сашенька, да? Наверное, выносливый мужчина, не то что отец, а? Нет-нет, папа твой тоже раньше был молодым, красивым. Еще годика три назад. Не верится даже. Как время бежит, а? Обидно, Сашенька, понимаешь? Обидно, что не хватает у человека мужества...

— Прекрати, — сказал отец не оборачиваясь. — Умоляю тебя, перестань, Он же не мальчик уже, он все понимает. Не надо, прошу тебя!

Отец подошел к столу, сел. Взял сестру за руку. Она, не отбирая своей руки, выпила вино, стала молча есть. А он смотрел на нее. Меня и не видел как будто.

«Не надо... Он не мальчик...» Подумаешь! Секреты у них. Да я давно уже понял, что и она, Елена эта, как и мать, отца воспитывает, чтобы не пил. Ну и что? Я-то знаю, что он пьющий, давно знаю. Да ладно, я уж привык. Противно, конечно, но что сделаешь?..

Особенно то противно, что до меня ему дела нет. Даже и врать не пришлось про экзамены, так он и не расспрашивал. Все равно ему, поступлю я в техникум или нет. Ладно, сегодня мне так удобнее даже.

— Так вы, кажется, экзамены сдавали? — вдруг спросила меня новая тетя, улыбаясь отцу и покачивая головой.

Тут я выложил все как по писаному, как выдумал на скамейке у остановки. Она от меня быстро отстала, отец поспрашивал немного о Ленке, о матери — как она себя чувствует и не собирается ли в город, и велел мне передать ей, что завтра в ночь он уезжает в Одессу к родственникам: отпуск неожиданно дали, а когда вернется, он еще не знает, позвонит потом или напишет. Он посмотрел на сестру как-то сверху, а она покраснела, и на глазах у нее снова выступили слезы.

А мне вдруг отца жалко стало. Не ее, плачущую, а его, хотя сам он об отъезде в Одессу говорил с гордостью. И захотелось мне сказать, что уезжать не надо, а лучше весь отпуск в Роще про-

жить, с нами. Ну что ему там, в Одессе, с чужими-то людьми? Нет, я все понимаю, сестра она и есть сестра, пусть даже двоюродная. Но вот ведь она плачет, кричит на него. И в Одессе, значит, будет вот так же чего-то требовать и обижаться. Так зачем же ему там с ней возиться? А мы бы с ним на речку сходили, в лес. И Ленка бы с нами, и мать. Давно мы не ходили никуда все вместе. А если он и выпьет чуть-чуть за обедом, так мать поворчит только немного — и все. Она-то привыкла, она не сестра там какая-то двоюродная, а самая родная жена. И будет все хорошо. И я смогу рассказать, как у меня вышло на самом деле с экзаменами, и не будет этой тоски от собственной трусости.

И вдруг я понял, что рассказать все нужно сейчас. При Елене Романовне. Именно сейчас, тогда он и не поедет в Одессу. И она все поймет. Разберется и без обиды уедет к себе домой: повидалась с братом — и хватит, у него свои дела.

— Папа!

— Что, сынуля?

Он положил руку мне на плечо, вздохнул. Но взгляд у него был уже тот самый, будто задернутый масляной пленкой, и лицо расплывалось в жалкую грустную улыбку. Всегда у него так от вина, даже если выпьет всего чуть-чуть...

В общем, делать мне там с ними было нечего. Я побродил немного по старой нашей квартире, покурил на кухне, прихватил с буфета болгарские сигареты — там три пачки лежали — и решил, что расстраиваться нечего. Если бы, например, я с отцом с глазу на глаз встретился, пришлось бы, наверное, рассказать ему все как есть. А так еще и лучше.

В коридоре под вешалкой я заметил свои старые чешки. Те самые гимнастические тапочки из оленьей кожи, в которых я еще в позапрошлом году тренировался: ничего не пропадает у бабушки. Сбросил я босоножки, натянул чешки мягкие, и так приятно стало, когда потянулся перед зеркалом. Ведь у меня еще спорт есть, гимнастика моя! Ну, плохой я математик, ладно. Но спортсмен-то я стоящий, все говорят. Значит, не все еще потеряно. Подумаешь — в техникум не попал! Да не больно-то и хотелось! Да я еще до мастера спорта дорасту и в Институт Лесгафта пройду вне конкурса. Потом олимпийским чемпионом стану. А на старости лет буду ребят к гимнастике приучать, как Михал-Василич. Так что на техникум этот мне, как говорится, с высокой вышки без передышки...

Сунул я чешки в карман, попрощался вежливо с новой красивой тетей Леной, поцеловал отца в небритую щеку, а по лестнице спустился сидя на перилах, как бывало в глубоком детстве...

5

В раздевалке еще никого не было. От выкрашенных заново шкафчиков шел запах свежести и привычного доброго начала. И я пошел к своему закутку, читая знакомые фамилии на голубых бирках: Горин... Савельев... Лазовский... Лобов... Батурин... Хорошо, что не по алфавиту, а как получилось. Этого тоже нужно было добиться — занять шкафчик очередного «гимнаста номер один», переходившего по возрасту в команду старших ребят. И то, что моя фамилия стояла в ряду третьей, было мне очень приятно.

В душевой все так же тикал и всхлипывал ржавый кран, который никто из нас завинтить не мог, даже Стасик. И когда я с удовольствием повесил свою промокшую рубашку и галстук в шкафчик, то подумал, что и жалобное взбулькиванье этого никчемного крана мне тоже почему-то ужасно приятно. Ровно три года назад он вот так же сопел и хлюпал. Но тогда-то, в первый раз, мне было неуютно и страшновато: гожусь ли, возьмут ли? Смешно вспоминать.

За окном, во дворе спортшколы, человечек в длинном зеленом свитере подскакивал и, нетерпеливо дрыгая ногами, цеплялся за самодельный детский турник на низких деревянных столбах. Ржавая стальная труба была в каплях после недавнего ливня. Я чувствовал, как она выскальзывает, а он злится. И, напрягаясь внутри себя, я старался ему помочь. Сорвавшись, мальчишка качал головой, глядя на свои ладони, уже коричневые от ржавчины. Но приседал и подпрыгивал снова. И слетал, дернувшись, как уклейка с крючка.

И мне стало вдруг очень обидно, как будто это мне не зацепиться как следует. Но почему? Уж чего-чего, а цепкости мне не одалживать. Михал-Василич говорит, что только у Стасика да у меня хватка грамотная. Но вот не по себе мне стало от этого растопыренного зеленого человечка. Просто раздражал, наверное. Жалко его. В общем, неприятно.

А тут еще кран этот: тик-тик, хлюп-хлюп... Не могут исправить.

Я быстро переоделся и побежал в зал.

Зал у нас отличный — высоченный, просторный. В прошлом году спортшкола купила новые олимпийские брусья. Белые, стройные. Так и хочется взлететь упругим махом — и сразу со стойки в кувырок, и пошел, пошел...

Разбежавшись от двери наискосок зала, я сделал рондат, и подскок вышел такой высокий, что хватило бы на сальто прогнувшись.

Из тренерской вышел наш Геныч, второй тренер, в новой голубой олимпийке. Он улыбнулся мне и кивнул. И пока я подбегал к нему, поправляя резинки бриджей и напрягая мышцы рук и гру-

ди, чтобы он увидел сразу, как я вырос и поздоровел за лето, он осматривал меня жестко и цепко, без улыбки. А когда я подошел, он улыбнулся снова и пожал мне руку. Зубы у него крупные, а рука маленькая, но твердая, как у всех настоящих гимнастов. И очень холодная.

— Ну, как жизнь? — спросил он, не выпуская моей руки, а левой прощупывая мое плечо, как будто оно у меня болело.

— Нормально! — я сжал его ладонь сильнее, и он отпустил меня, усмехнувшись.

— Ну-ну, смотри, тянись за Стасиком. Пора тебе в люди выбиваться, — Геныч снова ухмыльнулся и покачал головой.

Я отвернулся. Что он — не видит, что ли? Я же стал теперь гораздо старше и сильнее!

— Ну, ладно, ладно. Как отдохнул-то, нормально?

— Да я в техникум поступал, — ответил я усталым голосом, глядя ему прямо в глаза. — Целых полтора месяца вкалывал. Все тип-топ, тринадцать баллов набрал...

Геныч посмотрел на меня исподлобья, покусывая губы. Я подумал, что он не верит, и стал рассказывать, как это получилось у меня — две четверки, а за письменную математику пять. Не его это дело, что я провалился.

Качая головой и кивая, Геныч обнял меня за плечи и осторожно повел в тренерскую.

Я сидел напротив него за судейским столиком, а слева на стене висели нарядные грамоты и вымпелы, заработанные нашей командой. В шкафу за стеклом мерцали кубки с гербами и барельефами. И я чувствовал себя очень хорошим гимнастом. И гордился, что Геныч так доволен моими учебными успехами — даже сигарету закурил. На миг мне показалось, что в техникум я действительно поступил.

Над шкафом наклонно висело большое зеркало, и я видел себя до пояса и профиль Геныча. Мне стало даже как-то щекотно внутри и тепло. Ни разу за три года второй тренер не сидел со мной вот так...

— Жаль, жаль, — сказал он, глядя в сторону, и цыкнул зубом. — Главное, ты уже начинал в форму входить. Уже можно было бы работать с тобой по-настоящему. Зря ты со мной не посоветовался. Зря. Я же предупреждал: тренер должен знать обо всем... как... как отец родной. И кольца у тебя уже пошли в прошлом году нормально.

Хвалил он меня раз в год по обещанию. И я улыбнулся своему отражению в зеркале. Синяя майка с золотой эмблемой спортшколы сидела на мне в обтяжку, и под ней рельефно выступали грудные мышцы. В прошлом году они выделялись еще не так красиво...

— Три года работы насмарку! — Геныч ткнул сигарету в пепельницу и неожиданно выругался. Он встал, и его спина в зеркале заслонила меня.

Мне показалось, что я виноват в чем-то. Но почему «насмарку»? Я же не собираюсь бросать спорт! Подумаешь — в техникум не поступил... Стой, да ведь он же не знает, что я не поступил...

— Понимаешь, есть инструкция, — Геныч подошел к зеркалу, одернул свою прекрасную олимпийку. И чуть протянул вверх замочек белой пластмассовой молнии. — Мы не имеем права тренировать студентов, пэтэушников и вообще... не школьников, в общем, — ребром ладони он поправил свой ровный пробор слева от прикрытой лысины. Из-за плеши он не любил никогда перекладину и кольца. Потому что когда головой вниз, то эти перекинутые через голое место пряди свешивались. Он краснел и долго потом злился на тех, из-за кого ему приходилось лишний раз лезть на снаряд и снова объяснять элемент. Так что мы сами просили Михал-Василича, чтобы показ делал он, а не Геныч.

Он отошел к шкафу. Я снова увидел себя в зеркале. И стало стыдно, что минуту назад я радовался, какая у меня майка с эмблемой и «фигура атлета». Он не прогонял меня до сих пор из жалости, только из жалости — он никогда не занимался со мной всерьез. А теперь случай удачный. Но почему, почему и здесь я не нужен? Нигде, нигде не нужен. Никому...

— Я понимаю, тебе это трудно понять, — бубнил Геныч, шурша в шкафу бумажками. — Но ты у Стасика спроси. Я же объяснял ему весной, что обязательно нужно в девятый класс попадать. Мы — детская спортивная школа. Дет-ска-я! А ты теперь — «трудовые резервы». Погоди, где же эта инструкция? Вечно у Василича беспорядок...

Молча я встал и пошел к двери.

— Погоди, погоди! — Геныч снова схватил меня за плечо.

В тренерскую вошел Михал-Василич.

— У, ребяты, как хорошо! — правую руку наш старший тренер протянул мне, а левую — Генычу. — Возмужал, Саня, окреп, молодец! Геннадий! Выглядишь, черт! С новым годом, а? Ребяты?

В горле у меня защекотало.

Михал-Василич ловко переодевался. Обычные треньки и белая майка. Тело у него бледное, почти стариковское, но мускулы перекатываются резко и горячо. Я вспомнил, как он меня спас, когда я головой вниз с колец падал, и понял вдруг, что очень люблю его, жизнь за него отдам. Но не жаловаться же теперь! Теперь — все. Или — нет?..

— Как наши японцев-то вчера, а? Блеск! Телевизор смотрели? Что творится в гимнастике! Все чемпионы — от горшка два вершка, у женщин-то. Но техника! — Он покачал головой восхищенно. — Да чего это вы, ребяты? Что случилось?

Геныч взял из пепельницы недокуренную сигарету и стал ее осторожно разглаживать.

— Тебе сигарету дать, Геня? — спросил Михал-Василич испуганно.

— Да я бросаю, — Геныч махнул рукой и прикурил.

— А мне теперь все равно. — Михал-Василич радостно засмеялся и снял очки. — Последний месяц остался, и — пенсионер номер один. Имею в виду — в нашей спортшколе. Порыбачим... А, ребяты?

— На пенсию? — спросил я глупо. — Почему? Михал-Василич!..

— Молодых надо вперед двигать, молодых! — Он снова надел очки, бодро прогнулся, хрустнув плечами и грудью. — С сегодняшнего дня вашим старшим тренером назначается Бабкин Геннадий Валентинович! А мне пора... Уходить нужно вовремя, — он вздохнул и улыбнулся.

Геныч набрал воздуху и приподнялся со своего стула. Но не сказал ни слова и снова сел. Только покраснел и как будто распух.

— Вот так, Саня, тянись за тренером, — Михал-Василич положил мне руку на плечо. — Да ты чего такой? Тебе-то до пенсии еще ого-го! Ты еще покажешь себя. Я всегда на тебя надеялся. А Геня поможет. Так, Геня? Смотри, как он у тебя вырос! Красавец!

— Уходит он, — Геныч пожал плечами и цыкнул зубом, как будто это решил я, а он расстраивается.

— Куда? Саня! Почему? Как так?..

Геныч стал объяснять. Михал-Василич возражал. Я стоял у двери, сложив руки на груди, и смотрел в зеркало: «Кррրасавец!..»

Они подошли к шкафу и стали вдвоем рыться в бумажках. «А отвечать? Отвечать кто будет?» — повторял Геныч. Я понял, что в любом случае он меня выгонит. И вышел из тренерской.

Стоя у окна в раздевалке, я смотрел на двор.

Тот мальчишка в зеленом свитере отошел на несколько шагов от турника, подобрал с земли несколько камешков и стал бросать их, стараясь угодить в ржавую трубу, за которую зацепиться ему так и не удалось. Он целился подолгу, но попасть никак не мог. А мне уже не хотелось ему помочь. До меня-то никому дела нет!

Я сел на скамейку, прислонился спиной к прохладной дверце своего шкафчика. И стал ждать чего-то, глядя в окно на серое небо.

До шестого класса я каждый год болел ангиной. Раза по три: осенью, зимой и весной. И мать наконец согласилась с врачом, что придется удалить мне гланды.

Решилась она, конечно, не сразу. Несколько раз советовалась по телефону с Галиной. Водила меня к разным врачам. Все

соглашались, что операцию сделать необходимо. Но она все качала головой и поджимала губы. И я чувствовал себя виноватым.

Особенно я не любил этих ее разговоров с Галиной. Эти ее насмешки вечные, и обо всем-то она знает, и вообще. Вот мать с отцом поссорится, неделю не разговаривает, и каждый день с Галиной по телефону советуется, как со старшей сестрой:

— Нет-нет, дорогая, не бойся, у меня характера хватит. Прощать нельзя, ты права, — мать кивала, вежливо придерживая трубку обеими руками. — Не беспокойся, Галочка, он от меня ничего не добьется, я уже не та. Но ты чувствуешь, какой низкий человек, чувствуешь?

Тут она зажимала трубку рукой и шипела на меня:

— Марш из комнаты, Александр! Дай мне с человеком поговорить!

Почему эта Галочка-ворона должна обо всем знать? Да и не может она знать обо всем. Когда у нас все хорошо и от отца по вечерам не пахнет вином, мать как будто забывает про эту свою подругу. Но стоит только родителям поцапаться — и снова:

— Але, Галя? Наконец-то я до тебя дозвонилась! Ох, и не спрашивай! Опять ты права была. И когда это кончится, господи...

Но хуже всего — когда Галина приезжает к нам в гости.

Губы у нее накрашены таким цветом, какого, по-моему, и не существует вообще больше нигде. Как будто они у нее больные. А глаза так и ерзают: то прищурятся — то закатятся. И плечи ходуном ходят, и походка подскакивает и раскачивается. Кажется, что она все время спешит куда-то, где нужно важное что-то сделать — срочно научить кого-то уму-разуму или просто выругать. Даже когда она сидит за столом — все равно торопится. Пальцы ее, толстенькие, в кольцах, перебегают по скатерти, вертят чайную ложку или переставляют с места на место розетку с клубничным вареньем. И такое чувство, что рядом где-то бегают маленькие глупые человечки — то ли ограду строят, то ли сети растягивают. В общем, идет подготовка к игрушечному, но злому сражению. А она командует привычно и проворно:

— А ты-то что, Александр? Родную мать защитить не можешь? Ты же мужчина! Стукнул бы кулаком по столу: не позволю над больной женщиной издеваться! Не позволю!..

Ни разу не видел я Галину довольной или хотя бы спокойной. И никогда она не пыталась помирить родителей по-хорошему. Иногда мне кажется, что из-за нее-то они и ссорятся так часто...

— Вырвать, вырвать немедленно! — Галина прихлопнула ладонью по скатерти, и кольца ее глухо звякнули. — Ты смотри, какой он у тебя дохлый! Все из-за гланд. Немедленно в стационар!..

Весной я попал в больницу. А потом вырос за одно лето на целых двенадцать сантиметров и стал выше отца. Все лето я по

его совету подтягивался утром и вечером на чем придется — на сучке дерева, на самодельном турнике во дворе или на дверной притолоке. Каждый день — двадцать пять подтягиваний. И в сентябре Михал-Василич принял меня в спортшколу.

А теперь, после разговора в тренерской, я чувствовал себя как после той операции. Вырвали что-то — и больно, и стыдно, что позволил сотворить с собой такое. Но что теперь сделаешь? Не признаваться же, что в техникум не попал и разговор начал с вранья. Теперь поздно...

А за окном человечек в зеленом свитере все бросал камешки в трубу и не мог попасть. И возвращался на ту черту, которую сам себе на песке каблуком провел. И так он мне надоел — прямо по затылку щелкнуть его захотелось.

Вдруг смотрю: прицелился он, поднял руку, но бросать не стал. Оглянулся по сторонам и переступил за черту на два шага. Теперь-то уж, думаю, попадет точно. Но снова не стал он в трубу стрелять, а вдруг как-то со злобой зафитилил тем камешком в серое небо и снова вернулся на черту на таком расстоянии от трубы, с какого попасть трудно. И снова, конечно, промазал. А мне вдруг стыдно стало, что хотел его по затылку щелкнуть. Попадет он все-таки. Обязательно попадет.

А я? Я-то куда попаду? Незаметно как-то за черту я залез — а все мажу, и руки ватные, как во сне...

Несколько крупных капель чиркнули по стеклу почти одновременно. Через минуту дождь уже струился, собирая следы первых капель в извилистые быстрые ручейки. Будто само стекло плавится и течет вниз. Осень.

Сейчас начнут подходить ребята. Нужно сматываться. Кончилась моя гимнастика.

Дождь струился по стеклам равнодушно и равномерно, как будто спокойно смывал все, что случилось за лето. Я чувствовал, что теперь должно начаться что-то новое, другая какая-то жизнь, которой я ждал и боялся. Но я-то был еще не новый, а обыкновенный, и мне никуда не хотелось.

— Саня, ты здесь? Лазовский! Убежал, чертенок...

Услышав голос Михал-Василича, я только сжался у себя за шкафчиком и перестал дышать. Но когда он захлопнул дверь, я сразу пожалел, что струсил. «Трус! Трус несчастный!» Я кусал кулак и ругал себя последними словами. Михал-Василич смог бы, конечно, выслушать все с начала до конца...

За окном на дворе глухо звякнуло. Я поднялся со скамейки и увидел, как человечек в зеленом свитере подскакивает и хохочет, растопырив руки под сильным дождем, — радуется, что попал наконец в трубу. Как же мне-то теперь? Зачем вообще существую? Кому от меня радость?

В Рощу я возвращался с полным пакетом продуктов. Даже арбуз достал! Повезло дураку: у Финляндского как раз арбузы продавали, под горячую руку помог я продавцу разгрузить машину и получил без очереди самый большой арбузище, да еще бесплатно. Так что калитку нашу я открывал прямо грудью: руки-то заняты, под мышкой арбуз — пусть, думаю, видит мать, какой я есть семьянин, как за семью страдаю обеими руками.

А навстречу мне — бабушка. Я уже и забыл с расстройства, что старички мои теперь в Роще, а они — вот они! Я и подготовиться не успел. Заморгал и, наверное, покраснел сначала. Потом взял себя в руки.

— Ух! — говорю. — Еле дотащил! — и прямо бабушке арбуз подаю.

Бабушка руками всплеснула, ойкнула радостно. Сразу, конечно, расспросы пошли. А я только глаза отвожу и треплю языком своим нахальным все, как придумал, ни разу не запнулся, противно даже.

Иду за бабушкой по двору, подхожу к белому нашему оштукатуренному дому, а по фасаду виноград дикий вьется — густо так, и лицо у дома открытое, приветливое, светлое. Подхожу к крыльцу, а кусты зеленые по лицу меня гладят. Разрослась черноплодка на половину участка, а вырубать ее бабушка не дает — жалеет. Она и березу у крыльца не собирается спиливать, хотя все соседи говорят, что, мол, соки забирает эта береза из почвы, не дает расти огурцам.

Подумаешь — огурцы! Зато у крыльца такая береза — и кажется, что дом этот белый стоит здесь уже сто лет и будет стоять вечно.

Погладил я березу по чистой коре, вздохнул, и поднялись мы на крыльцо.

— Где вы там, Оля? — дед из комнаты бабушке кричит. — Идите сюда! Поступил он, Оля, а? Не слышу!

— Тише, Миша, — бабушка ему. — Внучку разбудишь! Мать-то в город уехала, в библиотеку, — это уже мне бабушка сообщает. Вот бы она порадовалась! Ведь ты у нее единственная надежда.

Прошли в комнату. Подошел я к деду, в щеку его поцеловал, — и как ударили меня: такая у него щека сухая и старая, как у березы нашей кора, а я — лгун, и касаться мне его нельзя. Дожил! Дед с дивана поднялся, к столу сел. Улыбается.

— Ты корми его, мать, скорей, — бабушке дед говорит. — Он же проголодался после экзамена. Я, помню, в тридцать восьмом в академии историю партии сдал, так сразу три порции котлет в столовой смолотил, в один присест. Давай, мать, угощай студента!

И стала бабушка меня, дармоеда, кормить.

А я — ничего. Спокойненько себе ложкой-вилкой работаю, чисто с тарелочки подметаю. И ботвинью свою любимую, и котлеты домашние с картошечкой жареной. А бабушка мне все помидоров подкладывает: знает, что я помидоров тонну могу съесть.

В общем, наелся я — из-за стола не вылезти. А они все с вопросами. Как Ленка кушала без них, да как мать — не очень ли нервная. Да приезжает ли к нам отец. Не приезжает? Надо позвонить ему, поговорить. А то что же это? Ты бы позвонил, Мурка! А то он о сестре своей одесской все заботится, посылки ей посылает, а на семью времени нет.

— Я их видел сегодня, — говорю. — Вместе с сестрой.

— Ну вот, нужно сходить на почту и позвонить ему, слышишь, Мурочка?

А по телевизору новости передают. Демонстрация в ФРГ — учителя молодые, волосатые, с безработицей борются. Вспомнил я мать — поежился. А в телевизоре уже республика Бардугар.

— О! Гляди, студент! — дед встрепенулся. — Премьером-то у них теперь — баба! Ух и деловая! — дед надел очки. — Что в мире делается, а! Уже в десяти странах, наверное, женская власть. В Индии снова Индира Ганди правит. Потом еще в этой, в Шри-Ланке — Сиримава. Но у той хоть муж был толковый... А эта — смотри — молодая совсем, красивая еще, а?..

Женщина на экране говорила спокойно и твердо. Привыкла, видно, свою линию гнуть. Не знаю, может, она и красивая на дедов вкус, а по-моему, на Галину мамашину смахивает: и голос какой-то грубый, и руки по-мужски на столе держит. И вдруг показалось мне, что эта Мария бардугарская на непонятном своем языке говорит мне: «Погоди, мол, лгунишка мелкий, разберусь я с тобой. Вот улажу тут беспорядок — и уж нам-то с матерью не соврешь, мы тебе не бабушка...»

— Да, эта чикаться не станет, — дед говорит. — Эта быстро разберется: ваших нет, девять сбоку. Оппозиции-то она хвост прижмет, будьте уверены... Если так пойдет, всю власть скоро женщины заберут. А? Студент, ты о чем задумался?

Тут обидно мне стало, что будто боюсь я матери, получается.

— А ты сам, — спрашиваю, — разве бабушку не слушаешься? Всю жизнь слушаешься. И все жен своих слушаются, иначе крышка. Иначе без обеда будешь сидеть и в грязной рубашке. Разве не так?

— Постой, — дед говорит, — погоди, Санька. Как это я слушаюсь? Никого я не слушаюсь. Я в гражданскую полком командовал, ты же знаешь. Сколько лет комиссаром был. И в Отечественную — на Ленинградском. И сейчас за все зерно во всех элеваторах по всей области отвечаю. У меня в подчинении знаешь какой

штат? А ты говоришь... Я в первом квартале старый портовый элеватор закрыл, несмотря что министр был против!..

— Так то на работе, — говорю. — На работе-то все храбрые. А как до дела дойдет до настоящего — за картошкой там или если что со здоровьем — тут женщины командуют. Вот тебе бабушка велела лежать — ты и лежишь. Так?

— Ты не путай, — дед говорит обиженно. — Лежу я, потому что давление. А с бабушкой мы всю жизнь душа в душу, ты сам знаешь, с нами жил сколько лет. Но одно ты правильно сказал. Что верно, то верно. Что они обо всех заботятся, женщины, тут ты прав. И потому им уважение и в доме они хозяйки. Так вроде и получается, что все для них делается, для женщин. Да им самим от наших забот что достается-то? Все детям отдают, да нам же и возвращают. А ты говоришь — слушаемся... Все мы друг друга слушаемся, иначе пропадем, вот и все. Когда все разом друг друга слушаться перестают — знаешь, что бывает?

— Свобода! — говорю. — Что же еще? Полная и окончательная свобода!

— Не свобода, а война, — сказал дед. — Дурачок ты еще, видно. Твердят тебе со всех сторон: «Разоружение! Сосуществование!» Телевизор смотришь, а темный до чего — срам тебя слушать! Да за то ведь и боролись столько лет, чтобы сплошная любовь на свете была. Потому и женщину уважаем. А кто обидит ее — ударит или словом — тому и счастья не видать, так люди говорят... Ладно, техникум кончишь, в армию тебя возьмут — там все поймешь. Там тебя сразу пошлют нужник чистить, в первых рядах...

Дед засмеялся, а мне опять не до смеху. «Техникум кончишь...» Как же я его кончу? Разболтался — свободы хочу, бабам не хочу подчиняться... А сам дрожу, как бы не проговориться, что двойку получил. Двойку, вы понимаете? Два балла! Пару!.. И опять он с этим своим нужником. Как будто в армии нужник — главный агрегат. Нужник! Я вот, может, ракеты буду запускать, самые большие. Или сапером стану, как мой дядя, который в войну погиб...

И опять меня как током ударило. Ведь и про дядю мне, получается, даже думать теперь нельзя, такому лгуну. Он ведь деда моего родной сын, а я деду лгу, значит выходит, и ему, дяде Саше. А он за меня на фронте погиб... Вот как намертво, оказывается, связано все в жизни. Ты вроде напакостил только сегодня, а рассчитываться не только завтра придется и не только тебе, а всем хорошим людям всех времен, — всем, кто живет честно, кто жил до тебя и кого ты ложью своей обидел так, что и прощенья не выпросишь...

А по телевизору теперь космонавтов показывали — которые парой летают, как они там на космической станции в невесомости

плавают шестой уже месяц и ничего с ними не делается: привыкли.

— Ну, дают дрозда! — дед даже привстал. — Ты бы вот лучше думал, как тебе учиться, чтобы потом в космос полететь. Ну, молодцы ребята! Шестой месяц в невесомости, ты смотри! Как на войне, честное слово...

Смотрел я на космонавтов, как они разговаривают со мной, а сами хоть и сидят в своих креслах-станках, да не по-настоящему сидят, только ноги так подогнули и поводит их из стороны в сторону и вверх-вниз. Слушал их и прикидывал: как бы сам я сейчас смотрелся оттуда, из космоса, из невесомости ихней? Завидовали бы они мне, что семьдесят килограммов к креслу меня прижимают? Навряд ли. Потому что хотя и нелегко им там без веса, и приборы от них уплывают, и вода из тюбика по кабине шариками скачет, а мне с моими провалившимися на экзамене килограммами гораздо хуже. Они уже шестой месяц экзамен выдерживают, а я сразу сломался. Так что, если разобраться, не они там невесомые, а я. А они-то будьте-нате сколько весят, им килограммов не занимать, баллов не набирать, давно уже они по конкурсу в настоящие люди прошли, пока я тут в невесомости плаваю, как цветочек в проруби...

Как мне хотелось хоть за что-нибудь, за кого-нибудь ухватиться и снова на землю встать! Но деду говорить ничего нельзя, бабушку расстраивать тоже не годится. Тем более — обед сожрал как ни в чем не бывало... Домой, называется, пришел! Куда деваться-то?

— Пойду, — говорю, — посуду помою.

— Сиди уж, — дед пробурчал. — Бабушка сделает. А то еще тарелку разобьешь, — а сам зевает уже. Мол, для кого-то ты, может, и студент, а для меня пока ноль без палочки.

Вздохнул я, поднялся и в этой своей невесомости поплыл на кухню.

7

Бабушка сидела у окна, курила и вытирала слезы.

— Кури, — сказала она, подталкивая мне по столу пачку «Беломора». Она давно знала, что я курю, и считала, что это мое личное дело: сама курила с войны.

— Ты чего плачешь? — спросил я, целуя бабушку в висок. — Опять с дедом плохо?

— Не с дедом, а с тобой, — ответила бабушка, прикуривая новую папиросу. — Когда ты врать-то научился нахально так? Я тебя этому не учила, я всю жизнь правдивая, как дурочка. Двойку получил? Я же вижу — глаза в разные стороны. Плаваешь, как под водой. Тьфу!

Щелкнуло у меня что-то в голове, плюхнулся я на табуретку и все бабушке рассказал. И какой мне старичок попался хороший, и как я тангес альфа почти сам нашел, и как готовился по ночам к этой математике несчастной, только в последнюю ночь перед экзаменом уснул нечаянно, как из гимнастики вылетел и невесомость полную чувствую, так что жизнь мне больше не дорога.

Легко было рассказывать бабушке, которая сама обо всем догадалась. Тем более что всю мою жизнь она знала прекрасно. Но когда я закончил рассказывать и себя жалеть, то понял вдруг, что толку от этого моего нытья — почти никакого. Матери-то или Тамаре я же все равно не могу так рассказывать! А бабушке я бы и сам признался, если б она не догадалась.

— Птенец ты еще, — сказала бабушка и одним пальцем задавила окурок. — И чтобы я тебя с папиросой больше не видела!

— Да я бросил уже, — вздохнул я.

— Сопли распустил, орясина! Да как тебе не стыдно хныкать, в твои-то годы! — Она даже руками по бокам хлопнула и так на меня посмотрела, будто я гусеницу зеленую прямо с куста съел и керосином запил. — Двойку получил, в техникум не попал, — да ну и что?! Почву под ногами терять? Пузыри пускать? Да сколько в городе техникумов-то?

— Прием окончен, — оправдывался я.

— А в профтехучилища?

И я рукой себя по лбу хлопнул: конечно ПТУ, как я забыл-то, остолоп! Ну да, училище, это же еще лучше, я и сам хотел. Вот здорово получается — специально все как нарочно!..

Но, видно, слишком весело я заулыбался, бойко больно залопотал, потому что бабушка меня остановила:

— Ты чему радуешься — не понимаю? Цель-то у тебя была — в техникум поступать? А этого ты не добился, не смог. Теперь лазейку нашел — обрадовался. Кто легко утешается — ничего не добьется. Ты на отца посмотри. Нехорошо это, что я тебе о нем говорю. Но я думала, ты сам уже разобраться можешь, что к чему...

И снова опустилось что-то у меня внутри, и я вернулся на ту черту, откуда ясно, что грош цена мне сегодня. Дальше видно будет, а сегодня — так. И забывать этого нельзя. И еще одно — важное. Нету у нас ни у кого отдельной жизни, а одна на всех, общая. Поэтому, хоть и неприятно мне, что на отца бабушка указала, ясно, что права она.

Как отец утешаться нельзя, я ведь и сам всегда знал, что от его утешения, от водки этой самой, всей семье один вред, да и ему в первую очередь. Но я-то сейчас разве лучше выгляжу? Не техникум — так училище, не ПТУ — так еще что-нибудь, лишь бы на поверхности держаться. Была цель — значит, добиваться надо. Пусть даже не очень я этого хотел сначала — в техникум посту-

пать, но от удачных экзаменов радость пришла, а теперь злость от срыва. Все бы, кажется, сделал, горы бы сдвинул, чтобы перед тем старичком-экзаменатором оправдаться. Кстати, он говорил, что недобор у них. Так, может, снова попробовать?

— Ты, Саня, остынь сейчас, не суетись, — бабушка говорит. — Видишь, как тебя мотает из стороны в сторону? Я говорю «пэтэу» — ты и рад, хотя тебе туда не больше, чем в техникум, хочется — ведь не разбираешься ты в машинах, не любишь их, вон и велосипед у тебя вечно невычищенный.

Покраснел я, конечно. Что верно, то верно, к технике меня не тянет. Колька вот целыми днями с мотоциклом возится — прямая дорога ему в Политехнический. А мне дорога — куда?

— И все-таки мой тебе совет — иди в пэтэу, — продолжала бабушка. — Иди, Саня, не пожалеешь. В техникуме ты кто? Студент не студент, ученик не ученик — так, что-то среднее. А в училище тебе за два года профессию дадут, сразу себя нужным человеком почувствуешь, а это ведь главное, верно? А тем временем разберешься, в какой институт поступать. Чтобы по-настоящему, чтобы не гоняться за деньгами, как отец, с высшим-то образованием, а в полную силу работать, если тебя столько лет учили. Из армии взрослым человеком вернешься, пойдешь учиться, никто уж тебя с панталыку не собьет. Так я говорю, а?

Мне было неловко соглашаться с бабушкой сразу, и я пожал плечами: не знаю, мол, надо еще подумать. Да чего тут думать, когда все ясно! И хотя и стыдно мне перед старичком, который фактически сам свой тангенс любимый нашел за меня, да меня же еще и назвал «настойчивым», — нет, не рассчитаться мне с ним одним махом, это пока впереди, далеко впереди...

А бабушка мыла посуду — неторопливо и как-то красиво. И каждую тарелку, перед тем как в сушилку решетчатую ее поставить, она осторожно встряхивала над раковиной, чтобы на пол не накапать и не вытирать потом лужу. И на полу было сухо. И видно было, что все бабушка моя понимает и много могла бы мне порассказать, если бы сам я был немного сообразительней.

Она встряхнула над раковиной последнюю тарелку и вытерла руки полотенцем с желтой каймой.

— Тебе, Саня, в главном повезло, — сказала она. — Тебя с детства мать к труду приучила, и вырос ты не избалованным. А с ней самой как получилось? Она же поздний ребенок, ты знаешь. Погиб в сорок втором дядя Саша, и остались мы с дедом вдвоем. А после войны... Да все после войны кинулись детей рожать, такой уж закон, наверное. Как вместо погибших...

Бабушка закусила губу и быстро вытерла глаза. Каждый раз, как вспомнит дядю Сашу, — плачет. Сколько жили вместе, дня такого не было, чтобы не вспоминала она своего сына. Потому и для меня мой дядя как будто живой. Не живой, это я неправильно

сказал, но будто я знал его когда-то. А иногда и вправду такое покажется: не погиб он на самом деле, не может быть, что он мертвый, если о нем говорят и плачут. Ведь мертвое — это то, чего нет, так? А он для нас есть. Вон и фотография его на стене, так что лицо его я знаю — доброе лицо. И знаю много о нем: как помогал он бабушке посуду мыть, как за дедом бежал в часть, с солдатами ел и ходил на ученья, а однажды уснул в конюшне надолго и по всему городу его искали, пока он спал рядом с лошадьми. Я очень ясно это себе представляю, даже запах сена слышу и овса, лошадиный запах. И на велосипеде кататься мой дядя любил — как я, как все. А когда по радио гимн играли — «Интернационал», он вставал и слушал стоя, хотя никто не напоминал ему, что нужно так делать. И на войну он пошел добровольцем, на второй день. В адъютанты к деду идти отказался, стал сапером и при разминировании погиб. Похоронен он где-то в братской могиле, мы не знаем где, и поэтому когда я мимо братской могилы прохожу, в парке где-нибудь или вот хотя бы у нас в поселке, у станции, — мне всегда кажется, что именно здесь похоронен дядя Саша, и я останавливаюсь и читаю имена — золотые буквы...

— И берегли мы ее, — продолжала бабушка. — От болезни, от заботы. И замуж отдавать я ее боялась, конечно. Кому, думаю, нужна она такая? Ни обед сварить, ни белье постирать, ни посоветовать мужу не сможет. Но отец твой очень ее любил. Она в слезы, а он утешит, сам сделает, что у нее не выходит, да еще и ее незаметно подучит. Он ей и диплом писать помогал, когда институт кончала. Не знаю уж, как и ухитрялся, сам без высшего образования. Я тогда думала, он сильный, как сына его любила...

Бабушка вытерла ножи и вилки, спрятала их в стол и села рядом со мной.

Положив руки на колени, она смотрела вниз, в пол, а я смотрел на нее. Говорила она с трудом. Так медленно слова подбирала, что и мне трудно было ее слушать, как будто я тоже думал вместе с ней. Но при этом я так ясно видел то, о чем она рассказывала, будто жил там, в прошедшем уже времени.

Вспомнил я лампу с розовым абажуром. Очень мешал ее свет засыпать. Я ворочаюсь, накрываюсь с головой одеялом, а у матери уже нет сил работать, она опускает голову на руки. Отец гладит ее по голове и уговаривает, как маленькую, а она отталкивает его и громче плачет, но потом успокаивается. Представляя это, я вдруг услышал голос отца — его хороший, теплый голос. Он ведь и меня умел утешить, когда мне от матери влетало в детстве. И с Ленкой он так разговаривал, когда она совсем маленькая была, что она засыпала у него на руках моментально, хотя мать с ней часами мучилась и обе кричали так, что на лестнице слышно было. Конечно, добрый он человек, мой отец...

— Но вечного терпенья ни у кого нет, — вздохнула бабушка. — Тем более — мужчина. Да и женщине-то не всякой под силу жертвовать постоянно. Под старость-то все понимают: что бы ни делала, как бы ни старалась всей душой, а плодов не получишь. Дети вырастут — из дому уйдут. А пищу приготовишь, даже самую вкусную, — ничего не останется, — бабушка засмеялась. — Вот и сидишь в старости у разбитого корыта. Ладно. Что там по телевизору-то? Пошли, посмотрим? Или еще по штучке выкурим? — Она взяла новую папиросу, прикурила, а спичку метко бросила в помойное ведро.

И я подумал, что хотя бабушка и не права насчет разбитого корыта, а все-таки немного права. Часто ли я к старикам являюсь? Я потянулся к бабушке, поцеловал ее в щеку. Она грустно улыбнулась:

— Да, так устроена жизнь. Можно видеть в этом горе и трагедию, а можно просто жить честно и делать все, что можешь. А, птенец? Ты это-то хоть понимаешь? Вот киваешь, а что ты киваешь, что ты киваешь-то? Тебе сейчас просто стыдно. Ладно, и то хорошо. Со стыда совесть начинается...

Тут я вспомнил, как на нашей горе утром сидел и мечтал так жить, чтобы стыдно потом не было. Что же это получается? Только что все понимал — и снова таких дров нарубил, что хоть провалиться сквозь землю. Заколдованный круг какой-то, честное слово!

— Может, и напрасно я тебе все рассказываю, не знаю, — бабушка покачала головой. — Но ты, наверное, и сам помнишь ту историю с фотографией. При тебе тогда мать сказала отцу, чтобы он из дому уходил, — при всех сказала. А он остался. Уже и не было у него терпения, а совесть не отпустила.

— Там женщина была на фотографии, сестра его, — я кивнул. — А чего она натворила тогда? Я не помню. Почему мать ее плохим человеком считает? Я видел ее сегодня, она тоже отца ругает за водку...

Бабушка посмотрела на меня внимательно, прямо в глаза. Серьезно так посмотрела — как учительница, когда разобраться хочет, учил ты урок или нет.

И вдруг я понял, почему на фотографии была женщина, молодая женщина, очень красивая. Понял и покраснел. Но почему же я раньше-то не вспомнил эту историю? Ясно почему. Не понял тогда, в чем дело, вот и не запомнилось. Сказали мне — Елена Романовна, сестра папина, — я и отстал. А теперь понятно... А я-то, козел, все думал, что это только в кино да в книгах всякие тайны страшные и находки. Вроде того платка, из-за которого Отелло жену свою задушил. Стоп! Да это же значит, что и у нас могло жуткое что-то случиться, а? Конечно могло! Я же помню, как плакала мать тогда. А Елена Романовна старше, чем

та женщина на фотографии, я сам видел. У той волосы были вьющиеся, веселые... Но как же он мог?! Совсем от водки обалдел. Да ведь и сам он просто слабак, если столько лет врет...

Бабушка молчала, смотрела в окно.

Лицо у меня горело, а спине холодно было. Что ж получается? Все ясно теперь: и эти дальние рейсы, когда его по нескольку недель дома нет, и то, что он пьет все чаще... Да ведь он бросил нас, давно бросил!

На глазах у меня пленка серая встала, кулаки сжались так, что руки свело.

— Подлец он, — сказал я. — Гад, подлец! Я убью его! — И трахнул себя по коленке — косточка хрустнула, и нога дрыгнула сама.

Нет, серьезно! Ведь получается — из-за него все. И что разъехались, и мать такая, и я вот на экзамене провалился — во всем только он виноват. Он и та женщина. Баба. Убью! Обоих убью!

— Не ори, — сказала бабушка со вздохом. — И нет у него никакой сестры. Один дед верит. А мать уже давно догадывается, хоть и боится правду узнать до конца. Хоть красивая она? Эта-то? Ты ведь, говоришь, видел сегодня?..

8

По свободному вечернему шоссе я разогнался, как хотелось. И отпустил руль.

Шоссе идет по лесистым взгоркам, и в ложбинах воздух еще теплый, дневной, а на подъемах обдувает прохладно. От этих освежающих волн и внутри у меня как-то свободнее становилось. Только что психовал, как на экзамене, а тут вдруг спокойно стало. Даже удивительно, как спокойно. Будто и на самом деле на все наплевать.

А действительно, чего психовать-то? Как Колька говорит, кругом шестнадцать. Психуй не психуй, а ничего уже поправить нельзя, потому что все к черту провалилось — и техникум, и мать с отцом (да какой он мне отец теперь!), и бабушка с этими своими словами, со взглядом укоризненным: дурачок же ты, Саня, оказывается, а я-то думала, что ты уже взрослый, все понимаешь... Да не хочу я такого понимать, понятно вам? Идите вы все!.. Сам буду теперь. Все буду сам... Стой-ка, а что буду-то, когда нет меня больше, совсем не стало? Другой кто-то педали вертит, и за руль ему лень держаться. Само пускай все идет, я в ваших гадостях больше не участвую. Уеду в город, на завод устроюсь и в общежитие пойду жить. А если не возьмут? Да отстаньте вы от меня, не хочу сейчас думать. И зачем она мне все рассказала?..

Хорошо уметь без рук ездить. Подбоченишься себе, насвистываешь, отдыхаешь. Везет тебя по инерции прямо — и ладно. А тут

я еще и глаза закрыл, чтобы лучше полет этот чувствовать. Ненадолго, конечно, зажмурился, чтобы не влепиться лбом в телеграфный столб, — так, для понта. Но очень уж понравилось мне это чувство: окончательная невесомость, ничто тебя не колышет. Закроешь глаза — и не знаешь, куда тебя несет по воздуху, чем это кончиться может, да и знать не хочешь. Какая разница-то, елки-палки! Когда уже ничего — понимаете вы? — ничего не держит, на что ни обопрись — все из рук уплывает, выворачивается из-под ног. Ну и черт с ним! Так свободнее как-то, легче...

Баловался я, жмурился, пока не наскочило переднее колесо на камень и я едва успел за руль схватиться и на краю кювета затормозить. И тут злость меня разобрала. Ну ни минуты покоя, вечно будь начеку! Надоело мне. Понимаете вы? Надоело!

Бросил я велосипед, сел на землю, ноги в канаву свесил. Хлопнул себя по карману, а сигарет нет. Выругался я, запустил камнем в небо. И так вдруг захотелось мне Тамару увидеть, рассказать ей все, только ей, — прямо сразу перед глазами она у меня встала. Но как же я к ней поеду, как разговор начну? Ведь сам и виноват, что в луже такой глубокой сижу. Нет, к Тамаре нельзя.

Вот это-то и бесило меня больше всего, понимаете? Поговорить по-человечески с человеком хорошим — нельзя. Вообще, ничего хорошего уже нельзя сделать. Врать — пожалуйста. Притворяться — обязательно. Чтобы мать не расстраивать. Чтобы у деда давление снова не подскочило. Чтобы по-прежнему все катилось в болото, откуда уже не выбраться человеком, а всю жизнь будешь в грязи ржавой барахтаться, в невесомости плавать. А как людям в глаза глядеть — это никого не волнует, это твое личное дело...

Короче, на карьер я приехал с таким настроеньицем — туши свет. У воды кошка сидела — я в нее камнем. Убежала кошка. Две девчонки остались. На скамеечке у воды сидят, обе с белыми волосами, обе в джинсах. Они спиной ко мне сидели. Та, что слева, поменьше ростом, прислонилась к подружке, на плечо ей голову положила. А которая больше, эту за плечи обняла и будто баюкает, тихонько так покачивается. И дуэтом они поют:

Всего лишь два года
Побудь недотрогой,
Всего лишь два года,
Немного совсем...

Слышал я эту песенку, ее на отвальных поют, когда в армию парней провожают. Жалостливо девчонки пели. Тоже, наверное, с проводов только что. И я позавидовал тем незнакомым ребятам, что кончилась для них эта тягомотина, настоящая жизнь пошла,

мужская. Да я бы в армию — хоть сейчас! Так нет, сиди тут, разбирайся с ними со всеми. Три года еще свободы ждать...

Хотя вокруг места было достаточно, я назло девчонкам велосипед бросил прямо им под ноги, сам на скамейку уселся, развалился, ногу на ногу закинул, чтоб не воображали.

Петь они не перестали, только старшая сказала быстро: «Шизанулся мальчик», и они продолжали тянуть — как кота за хвост:

Вси-во лишь два го-да-а-а-а-а
Па-будь ни-да-тро-га-а-а-ай...

Плюнул я, стянул джинсы и сиганул с берега в глубокое место, в черную вечернюю воду.

Долго плыл под водой, сколько дыхалки хватило. Нарочно, чтобы их позлить. Пусть думают, что утонул я в натуре. Ишь ты, «пройдут дожди»! Да они еще и не начинались по-настоящему...

Когда я вынырнул и отфыркался, девчонки сидели все так же обнявшись. Только старшая, увидев меня, покрутила пальцем у виска: точно, мол, в трансе парнишка.

Тут грохот раздался и выстрелы. Девчонки вскочили и завизжали одновременно, потому что прямо на них из лесу выкатил на своей «Яве» без глушителя Колька с Витюлей на заднем сиденье. Ткнувшись передним колесом в скамейку, мотоцикл заглох. Колька стал задумчиво стягивать свои шикарные перчатки-краги, а Витюля, как соскочил, сразу меня увидел, подбежал к воде и залопотал, как обычно:

— Рад видеть вас в Эльсиноре, сэр! Вы со щитом или на щите с экзамена вернулись? А? Ну, поздравляю! Вода теплая? Сейчас я разденусь. Потрясающий колорит заката! Это Ватто, клянусь, это подлинный Ватто! Просто бетховенское настроение, честное слово! Впрочем, это у него часто, а? Ты за экзамен-то чего получил, Саня?

— Три балла, ребята, поздравьте меня! — Неожиданно я захохотал, как балбес, и сделал в воде кувырок. Приятелям обрадовался, что ли? А может, от нервов.

А Колька снял шлем свой красный и вдруг заорал:

— В воду его! Чего смотришь, Санька? Мокни его, ну! Ату его! Ату! Ату!..

Он схватил Витюлю нашего сзади под мышки и понес к воде.

— Прекратите! — верещал Витюля. — Это безрассудство! Это не по-джентльменски, клянусь! На мне рубашка немецкая! Саня, скажи ему! Я маме скажу!..

Я подхватил Витюлю за ноги, мы с Колькой раскачали его в немецкой рубашке со шнурком на груди и в белых брюках, которые он носил по вечерам. И при каждом рывке у меня одновременно с Витюлиными охами сладко обрывалось сердце. Будто давно мне

хотелось утопить кого-нибудь насмерть, и вот дорвался наконец до бесплатного. И гений наш полетел в воду, растопырившись по-лягушачьи.

Побултыхавшись, он встал на мелком месте, в прозрачной от воды одежде, и мне сразу стало жалко его и стыдно. А Витюля вдруг расхохотался и заорал:

— Уррра! Кар-раул! Топют! Помогите! Ух, хорошо-то как! Давай к нам, Колька, иди сюда!..

Колька махнул рукой и сел на скамейку рядом с девчонками. А я снова бросился на Витюлю. Но теперь уже дал ему повалить меня и даже подержать немного под водой, а сам пускал пузыри, чтобы он удовольствие получил полное.

Потом мы с ним еще поплавали, но я видел, что ему вовсе не приятно плавать в одежде и он делает это для меня, чтобы меня совесть не мучила, что искупал человека ни за что. Мы выбрались на берег.

Витюля влез на скамейку, вытянул руку и стал выступать:

— Ой вы гой еси, люди советские! Пожалейте горемычную головушку! Утопили меня люты вороги! Люты вороги — добра молодца!

Девчонки смеялись, а Колька сказал мрачно:

— Повозникай еще — утоплю снова к чертовой бабушке.

— Он же простудится, парни! — сказала девчонка, та, что поменьше.

— Давай-ка раздевайся, мальчик, — сказала старшая. — Тебе отжаться надо. Валюха, сходи в лес, принеси сучьев, мы костер разведем, согреем его.

Мы с Витюлей отжали его одежду, он снова оделся во все сырое. Но Валюха с дровами все не шла. Не было и Кольки, который завел мотоцикл и уехал в лес вслед за ней, сказав, что знает место, где много хвороста.

Небо потемнело. Витюля не поминал больше ни Коро, ни Бетховена. Эта компания его сейчас не волновала. Когда у человека зуб на зуб не попадает, тут уж не до выступлений.

— Сейчас я тебя согрею, — сказала девчонка, доставая из-под скамейки большую сумку.

Она вытащила бутерброды и помидоры в прозрачном пакете, стакан и бутылку с бумажной затычкой. В бутылке была водка. Девчонка налила немного в стакан, развернула бутерброды:

— Давай маленько, — сказала она. — За ребят наших выпей. В десантные их взяли, с парашюта прыгать...

— Я не знаю, — сказал Витюля виновато. — Спасибо вам. Как ваше имя-отчество, не знаю...

— Да Танька я, господи! Имя-отчество еще... Ты пей давай, согревайся. Ну?

Она взяла стакан. Поднесла к губам Витюли.

Витюля принял стакан в обе руки. Вздохнул, поглядел тоскливо вокруг. Мне в глаза посмотрел.

— Не скажу никому, — буркнул я.

И Витюля выпил.

Заглянув в протянутый отвернувшимся Витюлей стакан, Танька засмеялась и покачала головой:

— Ну ты алкаш! Половину оставил! — Она плеснула в стакан еще водки и протянула мне. — Ты тоже давай! Ты-то уж отслужил, наверное...

Она взглянула на грудь мою волосатую — как Геныч сегодня смотрел — оценивая. И мне стало приятно. Вот я, оказывается, какой на самом-то деле! Я спокойно взял у нее стакан, подмигнул Витюле и махнул водку в рот — как отец утром сегодня. А когда проглотил и закусил помидором, который Танька мне на ладони поднесла, она мне уже очень понравилась: улыбка у нее добрая, помочь хочет, согреть. А что волосы белые, так ведь у многих белые, что тут поделаешь, если так жизнь устроена. И вином от нее пахнет не просто так, а с горя: проводила сегодня друга, все понятно. И она мне улыбалась ласково.

— Дайте мне еще! — сказал вдруг Витюля. — И бутерброд дайте! Только не с мясом. С колбасой дайте, или с помидором, или с вареньем. Налейте мне еще, пожалуйста, Татьяна... Отчество ваше запамятовал, простите великодушно. Очень тепло стало внутри...

— Заторчал мальчик! — Танька засмеялась тихонько. Подошла к Витюле, погладила его по голове. — Первый раз выпил, а?

— Ну и что?! — возмутился Витюля. — Я полагаю, что мне плевать, принципиального значения не имеет. Что смолкнул веселия глас? Раздайтесь, вакхальны припевы! — Он потянулся за стаканом. — И Пушкин пил. И Лермонтов. И все гении маленького роста были, а ничего. А Есенин даже хулиганил, когда пил! Ты жива еще, моя старушка? Выпьем с горя, где же кружка? Кружку дайте, пожалуйста, Татьяна... То есть стакан... Танька, налей! Саня, можно? Я никому не... Уй, хорошо-то как, ребята, а? Саня! Я же тебя люблю! Я же всех... Я же все... Наш паровоз, вперед лети!..

Исполнив песню, Витюля побормотал еще минут пятнадцать про заблуждения Льва Толстого, потом свернулся калачиком на широкой скамейке, укрытый моей курткой и плащом Тани, а мы с ней сидели у костра, сложенного из щепок, собранных на берегу, и я рассказывал, глядя на закат, сжимающийся в узкую и тусклую полосу:

— Веришь, Танюха? Ты все поймешь, я тебе — как матери родной. Да при чем тут мать... В общем, старик мне попался — гад. Я ему и тангенс альфа, и косинус фи нашел: на, жри! А он еще дополнительные вопросы задает, паразит! Асимптота ему по-

надобилась, потом эксцентриситет. Плюнул я, понимаешь, мел об пол шваркнул и подошвой растер. Он сразу в угол отскочил, дрожит весь. Ну, думаю, сейчас я тебя двойным нельсоном! Я, между прочим, мастер спорта по дзюдо...

Она придвинулась ближе, положила мне голову на плечо.

— Какие у тебя руки, — сказала она, погладив мой бицепс.

— Ну, — кивнул я. — Я же спортсмен. В том году мастера сделал, второе место по городу взял.

— А ты с девчонками когда-нибудь целовался? — Она придвинулась совсем близко, и я увидел в вырезе ее кофточки грудь — такую круглую, будто на глазах растущую, как воздушный шарик, когда его надувают. И вот интересно: не противно мне стало, а наоборот — приятно. Как будто меня теплым чем-то со всех сторон окружает и обволакивает, и вот сейчас еще миг — и я в этом теплом и мягком исчезну, и все тяжелое, что болит, пропадет навсегда, и по-другому все станет. И я потянулся губами к этой груди, растущей навстречу мне, и уже коснулся ее, когда услышал тот гром и выстрелы, с какими является Колька.

Она вскочила, застегнула кофточку. Колькин мотоцикл остановился у самого костра. Подружка Танина соскочила с заднего сиденья и бросила в костер несколько сухих веточек, за которыми они целый час почти черт те куда ездили.

Костер разгорелся немного ярче. Валюха обняла Таню за талию, они отошли в сторону и стали о чем-то шушукаться. А Колька швырнул на землю перчатки и сказал сквозь зубы:

— Говорил я — все они дуры! Сами не знают, чего им надо. Сама лезет сначала, а потом в кусты. Дерьмо собачье.

Глаза у Кольки бегали, а мне было еще неловко, что он, кажется, видел, как мы с Танькой сидели обнявшись. И я сказал, кивнув на костер:

— Сейчас погаснет. За дровами схожу.

— Погоди, вместе пойдем, — и он пошел впереди меня к лесу.

Уже стемнело. В лесу было сыро и неуютно, и я стал быстро собирать хворост, чтобы скорей вернуться к костру и побыть еще с Таней. Хорошая все-таки девчонка. Ласковая. И тепло внутри от водки. Хороший вечер. А домой торопиться незачем.

— Дуры они все! — проворчал Колька, усевшись под сосной. — Иди, садись, у меня к тебе дело есть.

Разговаривать мне с ним не хотелось. Но друг есть друг, и я сел на бугорок рядом с ним.

— Хреново мне сегодня, старик, — сказал Колька. — С утра с тачкой полдня возился, а все равно клинит, хоть ты что. И эта дура... Не везет мне что-то. Я к ней по-хорошему, а она издевается. Сначала все нормально. «Вот сюда, — говорит, — поцелуй. И сюда». А потом вдруг: «Нет! Не надо!..» Недотрогой начала

прикидываться. «Я, — говорит, — так не могу — без любви». Сама только что парня своего проводила — и уже с другим целуется. Вот сука, а? Чего ты молчишь?

Я пожал плечами. Мне было все равно. Я тоже сейчас с девушкой целовался, а про любовь и не думал. Просто хорошо было — и все. Ну и что тут такого? Хотя Тамаре я про это не стал бы, конечно, говорить. Вообще — никому не стал бы...

— Ты мне вот объясни — что такое любовь? — Колька встал, закурил. Снова сел. Положил руку мне на плечо. — Вот, например, у тебя с Тамарой твоей любовь, так? И что ты с ней делаешь?

— Во-первых, не любовь никакая, а настоящая дружба. И ничего я с ней не делаю. Зачем обязательно что-то делать? Нам и так хорошо. О жизни можно поговорить. И вообще, — я снова пожал плечами. Чего он хочет-то от меня?

— И тебе ничего не хочется?

— Ничего.

— И ей?

— И ей ничего.

— Ничего-ничего?

— Ничего...

Колька замолчал. Усмехнулся.

И мне стало обидно, что он вроде бы думает, будто мы с Тамарой какие-то два дурачка, которым ничего не хочется. Особенно за Тамару обидно стало. Я-то ладно, но она старше, ей чего-то хотеться необыкновенного обязательно должно, верно?

И вдруг я вспомнил.

— Хочется ей, Колька!— Я даже обрадовался, что Колька спросил и я вот вспомнил. — Ей знаешь чего хочется? Чтобы взял я ее на руки и нес долго-долго. Понял? Она сама говорила, что настоящий мужчина должен взять и нести. Чтобы она как маленькая была. Понял? Точно. Две недели назад она говорила. Нет, дней десять, не больше. Мы тогда песенку английскую слушали...

— А куда нести — не говорила?

Колька смотрел на меня прищурившись, соображал что-то. И тут я пожалел, что сказал, может, главное что-то. Выдал вроде Тамару.

— Просто нести — и все, — отмахнулся я. — Откуда я знаю — куда? Это только они знают, женщины. Пойдем лучше Витюлю разбудим. Домой пора...

И я стал снова собирать хворост.

— Эй, ребята, где вы там? — Таня нас нашла. — Иди, Коля, тебя Валюха зовет.

Она сказала это таким голосом — серьезным и в то же время ехидным, — что Колька не пошел, а побежал туда, где светился слабо костер.

— Дров-то прихвати! — крикнула Таня ему вслед, но Колька только рукой махнул, и она засмеялась.

Он убежал — и стало тихо. Бывают, знаете, такие моменты в лесу вечером, когда тишина без ветра. Еще не темно, но сумрак такой, будто вокруг стены. А тут еще Таня. Она молчала, сидя под высокой елью, кусала травинку и на меня не глядела, смотрела вверх, где уже звезды августовские между веток разгорались. И сама она была такая неподвижная, как эти кусты, или воздух, или звезды. Будто та же сила в ней — чужая. С Тамарой я такого никогда не чувствовал.

— Иди ко мне, Коленька, — позвала она.

Мне было плевать, что она меня чужим именем назвала — будто и не заметил. Так даже лучше — словно и на самом деле это совсем не я. И будто подталкивали меня к ней ветки деревьев, и я пошел. Сел рядом. Наклонился к ней, расстегнул пуговицу у девушки на груди, думая: «Что же это я делаю? Но она сама этого хочет. Тамара не хотела, а она хочет. Что я делаю?..»

— Не торопись, милый, — сказала она тихим, слабым голосом. — Что со мной — не пойму. Ты же мне как ребенок. Такой большой ребенок. Встань, милый, я посмотрю, какой ты большой...

Я встал.

И она поднялась. Обняла меня и прижалась всем телом. Я стал дрожать.

— Не бойся, милый, — говорила она, расстегивая мою рубашку. — Сережка мой далеко. А я ведь женщина. Ты понимаешь? Женщина я. А ты мужчина...

Голова ее не доставала до моего подбородка, и я не понимал, как такая маленькая может делать со мной такое. Я стоял, опустив руки, и смотрел на кору старой ели, на слезинки смолы — золотые и белые. Белые они были там, где остался широкий срез буквой «Т». Таня распахнула на мне расстегнутую рубашку и потянула молнию своей юбки.

От резкого звука, резанувшего по нервам, я словно очнулся. Ведь это я вырезал на коре «Т» — еще давно, в прошлом месяце. «Т» — Тамара — в жар меня бросило.

Я оттолкнул девушку. Она стояла передо мной в расстегнутой кофточке, с рассыпавшимися волосами и закинутым лицом, и ее грудь открытая тянулась ко мне, к моей открытой груди.

— Ты что, милый? Коленька, что с тобой?

— Н-нет! — выдавил я. — Меня Саней зовут. Прости. Я не люблю тебя...

Она прикусила губу и сжалась, прикрывая руками грудь. Ее расстегнутая юбка сползала по бедрам, и я протянул руку, чтобы помочь ей одеться.

Она схватила меня за руку.

— С-сволочь ты... Я для тебя — все. А ты... У-у...

И я скорчился. Ногой она меня ударила, коленом своим узким. А когда выпрямился и увидел ее белое дрожащее лицо, и белые волосы, и белую грудь голую под розовыми кружевами, и этот запах ударил мне в голову, я понял: это она мучила меня сегодня, это она была утром там, в нашем доме, с отцом, это из-за нее мать моя...— Что-то щелкнуло в голове у меня и внутри взорвалось.

Очнулся я от удара сзади, но только покачнулся от этого неумелого толчка. Девушка лежала на земле, дергаясь, и кусала кулак.

— Нет! — кричал Витюля. — Ты не мог ударить женщину! Не мог! Я убью тебя! Предатель! Мама! — И, пятясь, он отходил от меня. Запнулся о кочку. Упал и, вскочив, бросился к дороге. Мокрая спина его, в песке и налипшей хвое, исчезла между деревьями.

От карьера, где костер уже не горел, слышался хохот Кольки. Я наклонился над женщиной. Она уже не плакала. Сидела под деревом, застегивалась, одновременно поправляя волосы. Я не понимал, что случилось, что нужно сделать. Меня просто не было здесь. Меня нигде не было.

— Я-то прощу, — сказала она. — Бедная твоя мать. Не мужчина ты. Бедная. Уйди. Я сама... Я сама виновата...

«Она сама... Она сама виновата... Она первая меня ударила. Ногой ударила. Она сама сказала, что виновата сама...» — повторял я, пробираясь между деревьями.

На скамейке Колька целовал Валюху. Пустая бутылка валялась у погасшего костерка. Они не видели меня.

Я сел на велосипед и поехал домой. «Она сама виновата... Она первая ударила...»

Но я-то знал, что и это ложь. Снова ложь.

9

В доме было темно.

На кухне, не зажигая света, я съел холодную котлету и выпил молока. Хорошо, что не нужно разговаривать ни с кем и притворяться. Сейчас поднимусь к себе наверх и буду спать. Буду спать долго. А когда проснусь утром, будет солнце и все станет иначе. И кончится эта проклятая невесомость. В конце концов, не один же я виноват во всем. Все понемногу. А со своим я уж как-нибудь справлюсь. Сам справлюсь.

Но перед тем как идти к себе, я захотел зачем-то на Ленку мою посмотреть. Просто увидеть, как она спит спокойно, и на запястьях у нее морщинки нежные, а волосы на щеку падают и на губы, и я их поправлю, чтобы ей во сне щекотно не было.

Пробираясь в боковую комнату, я задел стул у дивана, где спал дед. На миг дед перестал храпеть, и я замер. Но он только мыкнул, и снова затрещало-захрипело, и я вздохнул. И вошел в Ленкину комнату.

У Ленкиной кровати сидела мать, и я вздрогнул. Хотел закрыть дверь и уйти, но она покачала головой, не оборачиваясь, словно услышав, о чем я подумал, и я вошел в комнату.

Она сидела на стуле, положив локоть на решетчатую стенку детской кровати, опустив голову.

И вдруг такая тяжесть во мне родилась, так меня к земле потянуло, что подогнулись ноги и я оказался перед матерью на коленях, и голову мою она приняла на руки и прижала к груди. Но так легко мне стало от тяжести этой внутри, что и слов никаких не нужно, а только бы тепло этих рук родных наконец — и за это умереть.

— Ты прости меня, сынок, — сказала она. — Я чего-то, наверное, не понимаю. Вот и стала такая старая и никому не нужная. Ты хоть меня прости. Одни мы с тобой остались. Навсегда уж теперь. Вот и все. Я давно знала, да страшно было понять. А теперь — все. Так даже лучше — проще... А ты меня любишь, сынок? Я ведь родила тебя. Ты совсем маленький был. А в техникум ты поступишь, если хочешь. Я съездила, попросила, тебе разрешат пересдать. Или в пэтэу пойдешь — ко мне, будем мы вместе каждый день... Все хорошо будет. Будем с тобой жить. И со старичками нашими, да? Ты ведь мой сын, правда? Господи, какая я счастливая... А он пускай уезжает к ней. Я сама виновата. Ты прости его, он хороший. Он твой отец...

Тут заплакала во сне Ленка, и я встал и к сестренке наклонился. Она обняла меня за шею и сказала:

— Папа мой...

Как ударило меня. Ведь это Ленка запах почувствовала отцовский — от меня, я водку пил. И папой меня назвала... И внезапно я понял, что могу сделать. Что должен делать сейчас.

— Ты подожди меня, мама, — сказал я. — Мы вернемся завтра. Ты не волнуйся. Обязательно все хорошо будет! — И я выскочил из комнаты и снова задел стул у дивана деда.

— Куда ты, Саня? — крикнула мать, выбежав за мной на крыльцо.

Но я не мог ей ответить. Я просто не слышал ничего. Страшная тяжесть давила на плечи, и я бежал как во сне, когда ноги словно ватные. А потом уже и не чувствовал ног — будто летел. Я летел к железнодорожной станции, чтобы успеть на последнюю электричку в город, к отцу, и вернуть его всем нам — только бы успеть...

И успел. Моряку тому спасибо: дверь придержал, когда поезд уже тронулся.

Сергей Дроздов

Портрет комиссара

Напишу —
силуэт эскадрона.
Холм разрежу на всю глубину.
Белым сводом широкие ребра
над простреленным сердцем
замкну.
Но раздвинется клетка грудная
от пульсирующих корней —
встанет дерево,
землю пронзая
белоснежной аортой своей!
Не положено дереву крика —
только страшно ему не кричать:
не в седле и не в море открытом
все грозней начинает качать!
И сверкнули железные чрева,
и взревели во вражьей дали,
и взметнулись три черные древа,
вырывая его из земли.
Промелькнула горящая крона —
будто в стремени уволокло...

Напишу я над рощей зеленой —
ослепительный свет НЛО.
Он садится печально и гордо
в тех же самых российских местах,
и вращаются радиогорла,
и зовут на разумный контакт.
Что несешь ты,
чудесная птица,
завершая последний виток?

Тихо-тихо на землю садится
комиссарского
древа
листок.

Монолог хирурга

Нет сил затянуться и пальцы сплести.
И гул в голове, как в соборе.
Но я не умею от смерти спасти —
без боли,
без боли,
без боли!
Но трижды стыжусь
виртуозной тщеты —
когда этот мир пред тобою,
в который уходишь,
не ведая,
ты —
для боли,
для боли,
для боли!

Нонпарель — нет прекрасней

Говорила в редакционной:
«Шрифт не плох для стихов,
поверь...»
Улыбнулась и, грациозно,
чуть с картавинкой:
«Нон парель...»

Нет прекрасней —
звучит в переводе.
Но, размыв берега и шрифты,
переводит язык половодий:
«Это ты!»

Припадешь ко мне стрункой пробора
иль с букетом примчишься с полей.
Ты — заветного слова
природа,
в синих джинсиках, —
нон
парель!

И мгновенно
и неуловимо,
как по влажному акварель,
на Земле рассветает
во имя —
я люблю тебя!
Нон
парель!

Четвертый осколок

> Это следы одного из 178478 снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941—44.
>
> *Надпись на Аничковом мосту*

А над городом точка летела,
видна.
И, когда разорвался металл,
стали мертвыми сразу же
три пацана,
а четвертый —
калекою стал.

А сегодня, на гида глаза обратив,
здесь туристская группа стоит.
Надо сняться на память —
взведен объектив.
Но — мешает какой-то старик.
«Будь любезен, папаша, из кадра уйди...»
Неуютно туристам —
мороз.
И старик отошел
и во впалой груди
тот
четвертый осколок
унес...

Олег Сердобольский

Пост

Сквозь тело упруго струится
Звенящий поток тишины,
Весомо на плечи ложится
Доверие спящей страны!

Пусть буря, пусть ливень, пусть вьюга —
Из сердца не вырвется страх.
Мы рядом — два искренних друга —
Отчизна и я на часах.

Новобранец

Словно гадкий утенок,
Головаст, угловат —
Этот полуребенок,
Этот полусолдат.

Он слегка оглядится,
Сбреет первый пушок...
Хоть не крупная птица —
Но уже петушок.

Строй

Держи равнение в строю,
Дыши его дыханьем,
Персону важную свою
Не окружай вниманьем.

Какой бы ни был ты герой,
Сейчас ты слит со строем.
Таков он, строй... А грянет бой —
Вот там и будь героем.

Стала бабушкою мама

Стала бабушкою мама,
Внучки отняли покой.
Что там дня — и суток мало
В трудной должности такой.

Руки мамы, руки детства,
На которых я дремал,
Как фамильное наследство,
Снова служат тем, кто мал.

Мира яростная драма
Расщепляет каждый час,
Но упорно верит мама
В молодых, в бессмертных нас.

И не может наглядеться,
Опустив девчонок с рук,
Как ее большое детство
Совершает третий круг.

Павел Кренев

За форелью

Монотонный и резкий гул заполнил все вокруг. Старый шестисильный стационар — «топнога» — жмет на все свои обороты и стучит с надрывным, но ровным напрягом. Из стоящего торчком глушителя выхлопывается дым, и набегающий сзади порывистый ветерок уносит его вперед, стелет перед лодкой. Тяжелый, набрякший от многократной просмолки карбас медленно идет вдоль берега. Мимо проплывают огромные, всосанные в песок валуны, на которых белеют пятна чаек; громоздятся холмы, поросшие густым лиственным лесом, вылизанным и придавленным к земле холодными морскими ветрами. Сейчас карбас огибает высокую гору, на которой стоит маяк.

Костя, плотный пятнадцатилетний парнишка, сидит на передней банке и, задирая голову так, что кепчонка его чудом держится на затылке, смотрит, как через равные промежутки на самой макушке маяка вспыхивает маленький бледный огонек.

— Шесть! — кричит он радостно Мишке.

А у того уши забиты грохотом мотора. Мишка примостился у самого глушителя. Выхлопной дым летит к нему в рот и ноздри, он морщится и озабоченно посматривает на движок, трогает крышку цилиндра: не перегрелась ли?

— Чего-о? — затыкая уши и щурясь, горланит Мишка.

— Через шесть секунд, говорю, вспыхивает!

— А-а-а, — понимающе трясет Мишка головой, ничего, конечно, не разобрав в крике напарника, а так, чтобы не приставал со всякой чепухой.

Они едут на форель. Едут далеко. За тридцать километров от поселка на знаменитую Усть-Яреньгу. Форель водится, конечно, и в окрестных речках, и Мишка с Костей бывали и там, но что они по сравнению со знаменитой Усть-Яреньгой, бурной таежной Усть-Яреньгой, впадающей в море, где на перекатах ловят беспомощных

мальков хищная кумжа, куда из моря идет на нерест семга. Только там, в круговерти быстрой реки, рыбак может испытать себя, сдать экзамен на право ловить форель. И Костя и Мишка раньше уже приезжали сюда с отцами, но это было давно, лет пять назад, и тогда они почти ничего не поймали, а лишь прыгали вокруг родителей, дрожа от восторга...

Вот и Банный наволок — гряда высыпанных в море огромных валунов — словно стояла когда-то на берегу высоченная гранитная башня, а потом упала далеко в море и разбилась на куски. Здесь живут тюлени и нерпы. Вот и сейчас они, завидев людей в море, нехотя сползают в воду с нагретых камней.

Мишка заводит нос карбаса в море и, старательно держа лодку подальше от камней, огибает наволок. Он знает: огромные валунищи рассыпаны и на глубине, и их острые вершины едва скрывает вода. За Банным наволоком открылась Семужья лахта, а на берегу — старый рыбный склад с провалившейся крышей. Склад стоит в устье реки.

На море в это время отлив, и карбас, прежде чем достичь береговой кромки, застревает на каменистой отмели. Приятели отгибают голенища отцовских сапог и протаскивают лодку между камнями. Косте уже совсем не терпится. Он сопит и с подвыванием, нервно подпрыгивая, словно его тело пронизывает некий зуд, помогает Мишке выгрузить и перенести в склад вещи, поставить карбас на рейд. Потом Костя лихорадочно, путаясь и проклиная неизвестно кого, разматывает лесу, привязывает к длинному сухому удилищу и, укалываясь и злясь при этом, насаживает червяков на большой форелевый крючок.

— Ты чего это? Совсем уже обалдел, — наблюдая за его суетой и хохоча, спрашивает Мишка.

Но Костя уже бежит к Усть-Яреньге и, смешно скрючившись, подкрадывается из-за бревен к воде. Затем осторожно, пятясь, делает заброс в плавное течение. Мишка у склада сидит от хохота на корточках, потом падает на четвереньки и, задирая на Костю голову, сквозь смех кричит:

— Ну какая! Ну какая рыба на заплестке да на солнце клюнет! Дохлая разве!

Но Костя молча грозит Мишке кулаком и делает заброс за забросом.

Мишка тоже готовит снасть и, сунув в карманы банку с червями, забросив за плечи рюкзак, идет по протоптанной многими поколениями рыбаков тропинке к старым пожням, туда, где Усть-Яреньга в тени высоких трав и кустов делает крутые буйные повороты, чередующиеся с глубокими, тихими, темными омутами.

За Мишкой бежит Костя.

Ах, форель! Золотая форель! Огненно быстрая, в темных, радужных пятнышках, скользкая, осторожная, сильная, хищная рыба,

маленький лосось. Уметь ловить ее — значит быть настоящим рыбаком. Как молния бросается она на приманку, если рыбак смог перехитрить ее, если он ее достоин. Но когда с ней состязается новичок или небрежный рыбак, труд его напрасен.

Солнце уже уронило в небо последние лучи с верхушек самых высоких деревьев, когда Костя и Мишка оторвались от форели и пошли, почти побежали на берег. Их рыбалка не прошла напрасно, рюкзаки были увесисты и в спину каждого ударяли упругие хвосты еще не уснувших рыб. У старого склада они разожгли костер и сварили уху из форели с перцем и с картошкой, прихваченной с собой из дома. И долго еще в темное небо августовской ночи вместе со струйками искр летели их громкие, восторженные мальчишечьи голоса.

С раннего утра Костя и Мишка вновь были на реке и опять с дрожью в руках смотрели на поплавки, стараясь не пропустить момента, когда бегущий по бурунам поплавок резко прыгнет вниз. А поплавки прыгали все чаще и чаще, и ребятам, захваченным азартом хорошей рыбалки, совсем не хотелось возвращаться домой. Но над каждым из них, как дамоклов меч, висел неукоснительный материнский наказ: вернуться домой сегодня к вечеру. Поэто́му, когда солнце стало приближаться к зениту, они обреченно поняли: пора собираться.

После долгой возни у мотора, безуспешного ковыряния в свечах, трубках, магнето, карбюраторе, проклятий в адрес «старой развалины», движок (в силу только ему ведомых процессов и тайн изношенного устройства) наконец обнадеживающе стреляет несколькими дробными тактами и вот уже сгоняет чаек с ближних валунов громким треском. Карбас уверенно и ходко движется теперь в обратном направлении. На море стоит почти полный штиль. Ветерок, дувший с утра от берега, к полудню совсем зачах и словно уснул в подогретом воздухе. Костя опять сидит на передней банке и, завернув края полиэтиленового мешка, в котором лежит форель, завороженно и с умилением на нее смотрит. Столько дома теперь будет рассказов, преувеличенно похвальных оханий матерей («вырастила кормильца»), отчаянной зависти сверстников! Оправдала Усть-Яреньга мальчишечьи мечты.

Мишка регулировал трубку водовыбрасывателя, когда услышал сквозь гул глушителя Костин крик. Тот с выпученными глазами показывал на море, куда-то вдаль. Мишка посмотрел туда и ничего не разглядел. «Опять с дурью какой-то лезет», — подумалось весело, но встревоженные глаза приятеля заставили его еще раз глянуть на море. То, что он увидел, обдало ознобом, просквозившим все тело. Линия моря на горизонте ломалась, над ней вырастали длинные темные прямоугольники, словно там, вдали, от иссушающего зноя играл мираж. Но то был не мираж и не зной. И Мишка и Костя — поморские мальчишки — с ужасом поняли:

на них с моря идет шквалистый ветер, этот «мираж» — первый его признак. Костя, не зная, что делать, растерянно засуетившись, стал натягивать фуфайку, а Мишка часто и глубоко засопел и уставился в мотор, потом дожал рычажок газа до самого нижнего притыка, что отец разрешал делать только в исключительных случаях: быстрее изнашиваются кольца у поршня. «Топнога» загудела протяжно и надрывно, как загнанное животное, но обороты заметно прибавились и карбас пошел ходче.

«Только бы успеть завернуть за Вороний мыс», — думает Мишка.

А кругом голубой бездыханный штиль, прозрачный воздух медленно покачивает свое ленивое прогретое тело на водной глади. Ничего еще не кричит, не сигналит о приближающемся шторме. Ничего, кроме миража и черной тучи, которая уже начинает вылезать из-за горизонта. Приятели сидят обреченно нахохлившиеся, тревожно посматривая в даль, которая темнеет на глазах.

И вот оттуда, из этого чернеющего далека, как первый вестник нападения, словно первая стрела, пущенная самой сильной рукой, море прорезала острая темно-синяя полоса ряби.

Только бы успеть за Вороний мыс!

Через несколько минут «стрелы» пошли уже стаями. Мишка, вдруг сообразив, круче повернул нос лодки в море: надо держать подальше от берега, здесь мелко, каменисто, на волне тут разобьет. Надо на глубину.

Боковой ветер стал налетать порывами, постепенно набирая мощь, раздувая гигантские мехи. Пошла первая зыбкая, неровная волна, вся в густой, темной ряби, словно крокодилья спина. Костю, бледного, вконец растерянного, стало на носовой банке плюхать и покачивать, он пересел прямо на днище и взялся за борта обеими руками. У Мишки в голове колотится мысль-вопрос: стоит ли ему или нет приставать к берегу? Ведь еще вполне можно успеть. Но как назло здесь сплошные каменные гряды. Карбас негде спрятать, разобьет вдрызг. А до берега, чтоб лодку вытянуть, не добраться. Мелко. Нет, надо за Вороний мыс. Там глубина и бухты удобные. Скорее туда!

Но карбас плетется черепашьим ходом, и уже подступают волны, нагулявшие на просторе силу, бьют в борт, в провалах между ними валы закрывают берег. Мишке страшно, но он замечает, что Костя совсем «сдрейфил»: схватился мертвой хваткой за ручку пустого бачка из-под бензина и сидит на днище скрючившись. «Соображает, за что держаться надо», — зло думает Мишка и криком и знаками подзывает Костю к себе. Тот кое-как подползает, смотрит остолбенело.

— Приготовь черпак лучше, балбес, готовься воду выкачивать! — кричит Мишка, срываясь на визг.

И Костя послушно шарит и под брезентом находит черпак. Но, взяв его как-то рассеянно, машинально, из второй руки не выпускает бачка. «Совсем скис», — думает, глядя на него, Мишка, но ему сейчас не до Кости. Началось то, чего Мишка боялся больше всего: пошли валы с барашками. Барашки — это гибель для лодки, если подставишь под них борт. Они не качают, они захлестывают. И Мишка весь превратился во внимание. Как только сбоку вдали появится белый гребень, он резко тянет руль назад, и карбас встречает коварную волну носом. На эти галсы уходит время, и карбас вроде и не движется вперед, а только крутится. Когда лодку подбрасывает, вдали уже виден маяк: там Вороний мыс. Значит, все же движется.

Еще Мишку страшит мотор. Как молитву он шепчет: «Ну давай, развалюшечка, потяни еще чуток!» Мишка знает, что движок сразу заглохнет, если на магнето попадет вода. А брызги все летят в лодку от барашков, и магнето, кажется, торчит и выступает из мотора прямо под брызги... Мишка пытается закрыть мотор собой, но тогда он не успевает следить за волнами. Один раз плеснуло очень сильно и его окатило всего: гребень возник перед самым бортом, но «топнога» чудом не заглохла, только зашипела. «Заглохнет — пропали», — понимает Мишка. В такой шторм в открытом море не спастись. Сейчас очень бы помог Костя, но он сидит оцепенелый, бледный, ничего, видно, не соображает. И Мишка один, с огромным трудом, неимоверно ругаясь, балансируя и постоянно дергая руль туда-сюда, напяливает-таки край брезента на мотор.

Так проходит, наверно, много времени, но Мишка ничего не замечает, кроме волн и барашков, которых надо встречать носом карбаса. Но вот по курсу уже видны гряды белых россыпей волн. Это Вороний мыс. Его надо обходить стороной, потому что напрямик через эти белые волны не прорваться, и Мишка идет на ветер...

Когда казалось, что главные трудности остались позади, когда обошли уже Вороний, откуда-то сзади, из-за кормы внезапно выдернулась ладонь гребня и как будто шлепнула по мотору всей пятерней. Мотор заглох, и стало до ужаса тихо. Мишка, не раздумывая, что надо делать, и перемахнув через движок, бросился к веслам. Отбросив отяжелевшего Костю от сиденья, чтоб не мешал, он быстро вставил весла в уключины и стал разворачивать нос опять на ветер. Но карбас почти не двигался. Сил у Мишки явно не хватало. На его глазах властно и как-то хладнокровно подошла огромная волна с барашком наверху, безжалостно перелезла через борт и залила все, что лежало на дне. Карбас сразу огруз и совсем перестал подчиняться. «Все, следующая волна будет последней», — мелькнуло у него в голове, и он что было силы тряхнул Костю за плечи:

— Помогай! Потонем!

Тот не сопротивлялся и равнодушно сидел прямо в воде. Мишка развернул его за волосы и влепил такую затрещину, что Костя откинулся набок и сразу же проснулся:

— Ты чего, сдурел!

— Хватай весло! Сдохнем!

Скрипя уключинами, корчась и охая от усилий, они все же под самый очередной гребень развернули карбас против ветра и держали так долго, пока ветер и волны гнали их к берегу. Метрах в семидесяти от него, там, где начинаются россыпи, их подхватил огромный вал и, держа на своем высоченном, кипящем хребте, добросил почти до самого берега. Потом, подождав короткой передышки между волнами, они кое-как развернули лодку носом к берегу и наконец уткнулись в прибрежные камни. Но пока выскакивали, выбрасывали принадлежности для вытаскивания лодки на сушу, ее все же сместило немного назад и накатная волна залила карбас до бортов. За считанные минуты они заострили топором и вколотили в берег прочную короткую слегу, изготовили воротной кол, надели на слегу бадейку — полую чурку, и вот уже Мишка бежит к карбасу, на ходу разматывая веревку, и кричит:

— Готовь кол воротить!

Костя вправляет кол в петлю и сначала бегом, потом медленно, с напрягом начинает ходить вокруг бадейки. Веревка натягивается, сбрасывая налипшие водоросли, и карбас, вылезая из глубины, вздымает сначала один борт, потом другой. А Мишка в это время рыщет в поисках катков. Нашел один, подбежал, сунул в воду под киль. Карбас подмял его под себя, и, пока полз по нему, Мишка принес второй каток...

Ветер все не унимается, свищет и лютует на просторе. Волны, раскрывая белые пасти, набрасываются на прибрежные камни, словно норовят их сожрать. Мишка и Костя, понурые, сидят на бревне, рядом с вытащенным на берег карбасом. Продрогшие, со стучащими зубами, они страшно довольны, что карбас и мотор остались целы, что отец и мать не очень сильно будут ругаться.

Над ними на высоченной горе через равные промежутки — через шесть секунд — вспыхивает маяк. Море, вылизывая гальку, выбрасывает на берег золотистых в пятнышках рыбок — пойманную ими форель...

Сергей Ермолин

О паспорте

На моем паспорте —
номер и серия,
как на лотерейном билете
или на банкноте.
Но он
в тиражах
не участвует,
и не обозначен на нем номинал.
Только:
фамилия,
имя,
отчество.
Это и есть мой выигрыш.

* * *

Уже давно все сказано,
Что стоило сказать,
Людьми — хотя и разными —
Не раз, не два, не пять.

Стихов тома бессчетные
Листать — не пролистать,
И суть уже подчеркнута
Не раз, не два, не пять.

Не буду я миндальничать,
И если захочу
Разок соригинальничать —
Я просто промолчу.

Вера Кучеренко

* * *

Куда уходят облака,
когда небо выстирают до синевы
и развесят на солнце? ..
Может, они — как мыльные пузыри —
лопаются под пальцами...
Может, у них спрятаны крылья, —
улетают, как белые птицы,
плакать над морем...
А может, становятся синими
шарами воздушными,
и ветер уносит...
Куда ушла моя бабушка
в платочке, белом, как облако? ..

* * *

В нашем царстве не бывает зла.
Где-нибудь за тридевять земель
Просто сказка — просто детства хмель,
От которого я вволю отпила.
Ах, какая чашечка была —
Беленькая с красными цветами.
Эти чашки бьются вместе с нами,
Будто бы из одного стекла.
Нет меня...
Вы попусту искали —
Расплескали.
Расплескалась я...
А из этих капелек хрустальных
Звонко воскресала, вырастала
Женщина любимая твоя.

Лариса Позина

Тракты

С глухой тайгой свыкаюсь понемногу.
И верю в жизнь, как в непреложный факт.
Широкую шоссейную дорогу
Сибиряки зовут как прежде — тракт.

И в этом слове память отзовется
О тех, кто жил, боролся, умирал.
Иркутским трактом шли народовольцы
В далекий Александровский централ.

Здесь каждый шаг страданьями отмечен.
Здесь неоглядна даль из-под руки.
Но, голову подняв, расправив плечи,
Здесь твердым шагом шли большевики.

Здесь шум машин сегодня нескончаем
И новостройки смело рвутся ввысь.
Но не спеши. Остановись. В молчанье
Сибирским трактам низко поклонись.

* * *

Еще не утро? Я открыла окна.
Как летней ночью дышится свободно.
Как город предрассветный тих и строг!
Едва заметный палевый восток,
Какой бывает только лишь в июле,
Между кварталов каменных зажат.
Вот сводятся мосты с протяжным гулом
И отраженьем на воде дрожат.

В прозрачной невесомой тишине
Издалека доносятся ко мне
И скрип цепей на лодочной стоянке,
И свежий запах стружки и солярки.
Я слышу, как размашисто и круто
Нева стучит в песок волною ржавой.
И на воде, как стая диких уток,
Качаются коричневые баржи.

Бессонницу свою благодарю —
За то, что замерзаю и горю,
За острое и радостное чувство
Услышать город трепетно и чутко,
В каком-то неосознанном порыве
Весь мир вместить в зрачки горячих глаз,
Как будто вижу это все впервые,
Как будто вижу все в последний раз!

Ирина Борисова

Последний раз

Скоро он должен прийти, и, я знаю, наше решительное объяснение случится сегодня. Все предыдущее время от момента, когда в кабинете у генерального директора заказчики окончательно заявили, что комплекс, разработанный отделом, их не удовлетворяет, до того дня, когда мы с ребятами просидели месяц за расчетами, и я объявил на производственном совещании, что не устранены фазовые сдвиги в канале синхронизации, и тут же потянулась рука математика его сектора Кассикова, и Кассиков, тощий и расстроенный, сказал, отчаянно глядя на меня, что он ведь предупреждал Евгения Ивановича,— все это время мы с Женей, оставаясь вдвоем, будто витали в облаках: мы часто ходили до метро, но ни он, ни я ни словом не касались этого самого, хотя он знал, что мы копаем работу его сектора, и знал, что я знаю, что он знает. Мы говорили о футболе, о последней дурацкой кинокомедии, чуть не об инопланетянах, только не об этом.

Все это время он был, как всегда, весел, деятелен, красив, он будто не понимал всего, что делается, но я знал — он понимает. Иногда я ловил на себе его взгляд — тревожный, ищущий, упорный. Тогда я весь внутренне собирался и готовился к тому, что должно случиться, что должна перевернуться вся система наших с ним отношений.

Дома я ничего не хотел рассказывать, но Оля, как всегда, почуяла, начала выспрашивать: «Ну, все равно ведь расскажешь, ну, давай же скорей, говори!», и я, конечно, рассказал. Я сказал, что Женя, погнавшись за сроками, сознательно отмахнулся от учета некоторых тонкостей, связанных с возможными фазовыми сдвигами в приборах, — отказался от разработки сложного узла коррекции и загубил работу всего отдела. «И что теперь будет?» — тихо спросила она. «Мне — выговор, ему, пожалуй, по собственному», — так же тихо ответил я, и она вдруг вздохнула: «Слава

богу! — и, подняв на меня глаза, прошептала: — Ты просто не представляешь, как я рада!»

И тут я поймал себя на том, что и в самом деле что-то во мне переменилось. Такой, как раньше, я бы, конечно, встал и сказал: «Как тебе не стыдно все-таки, Оля!», но в этот раз я не поднял даже глаз, я просто сидел молча, и Оля, выжидательно посмотрев на меня, повторила: «Очень, очень рада!» — встала и вышла, не допив чая. И я подумал, что вот мне действительно уже не хочется размышлять, куда он теперь пойдет, и кто его возьмет, и что с ним дальше будет. Я вдруг испытал чувство радостной легкости, чувство свободы.

Раньше всегда на меня накатывало. Я вспоминал нашу большую коммуналку, две наши огромные комнаты — дворец, соседские крошечные комнатухи. В одну из комнатушек все время открывалась-закрывалась дверь, слышался визг, пьяные крики, в дыму качались силуэты, а у стены на стульях, скорчившись, спал мальчик. Утром, когда пьянка, завалившись кто куда на кровати и прямо на полу, наконец засыпала, мы с мамой подкрадывались к обшарпанной двери, я будил его, он потихоньку вставал, на цыпочках пробирался к нам и жадно ел, громыхая ложкой по тарелке, сжимая грязным кулаком огромный кусок хлеба. Мы с мамой старались не смотреть, как он ест, мама собиралась, уходила на работу, я раскладывал на письменном столе учебник, две ручки, две тетрадки, подтаскивал еще стул. Мне было стыдно за наши комнаты, за свой огромный письменный стол, за то, что мой папа — математик, мама — переводчица, а дедушка был профессор, за бархатную бумагу, в которую обернуты мои учебники, за часы с боем, за все то, что я любил у нас дома.

Может, этот мой стыд и определил наши с Женей отношения, да еще то, что в детстве я был, что называется, «тоща» — впалая грудь, тонкая шея, очки. Я всегда чувствовал в нем легкий оттенок презрения и не возмущался, а считал, что он имеет на это право.

Он садился за стол, и мы не начинали сразу заниматься, а немного трепались. Он рассказывал про прием, которому выучился от Витьки Фуфаева, фигуры, к которой я не осмелился бы и подойти, самого заядлого дворового хулигана и голубятника. Женя чувствовал мой трепет и благоговение и старался говорить как можно будничнее — для Витьки он действительно был своим. После его рассказов мои рассказы типа: «А вот я читал про один такой приемник» — звучали пресно, и я комкал их, и мы начинали заниматься. Если отец и мачеха запивали, он неделями не ходил в школу — жил за городом у тетки. Я объяснял ему пропущенное, он не понимал, я горячился, кричал: «Да ты что, вообще?» — и крутил пальцем у головы, и он, разозлившись, бросал ручку, по-взрослому ругался: «Да иди ты к. . .», а потом прибавлял: «Очень хорошо знаешь, да? Папа научил?» И я сразу краснел, хватал его за ру-

кав, если он собирался уходить, и упрашивал остаться. И он оставался, и старался все усвоить, и если было что-то конкретное, за что я уважал и любил Женю, так это за его страстное желание вырваться из той жизни, какой жила его семья, за то, что это желание не сводилось к одним детским грезам. Запущенный, часто голодный, он прибегал к нам и, помывшись, поев, сидя на диване в моей чистой рубахе, спрашивал меня: «А твой отец кандидат? А ему за это и две комнаты дали? А сколько он учился?», и я объяснял ему, что учился папа в университете, а потом еще после войны, и Женя кивал: «Угу!» — с твердой, определенной интонацией человека, ясно видящего перед собой цель, а потом вытаскивал из портфеля учебник и дотошно выспрашивал у меня непонятное.

Раньше я никогда не задумывался, кем был для него я; я думал только, что кто же, если не я, поможет Жене. Мы с ним всегда обсуждали его домашние дела, потому что мои обсуждать было нечего. Он всегда говорил, а я слушал, а если говорил я — то о нем, и мысль о том, какой же ему интерес непосредственно во мне, тихом интеллигентном мальчике, только один раз за всю нашу детскую дружбу пришла мне в голову.

В пятом классе я уже вовсю занимался радиотехникой. Я перестал завтракать в школе и копил деньги на лампы и сопротивления, а когда об этом узнала мама и стала давать мне «на железки», я все равно не завтракал, чтобы купить еще и еще что-то нужное. Каждое воскресенье я ездил на барахолку, мой стол заваливался мотками провода. Журналы «Радио», стоящие в ряд, библиотечные радиолюбительские книги — это был мой мир, здесь для меня начинали маячить контуры новой схемы приемника, потом я сидел, окутанный паяльным дымом, не разгибая спины, наконец не мог насмотреться на готовое изделие. И хотя я бы не променял этот свой мир ни на какой другой, иногда мне все-таки казалось, что настоящая жизнь проходит мимо. Так бывало, когда у меня не ладилось что-нибудь, отчаявшись биться, я выходил во двор, а во дворе играли в лапту. Я вставал в кучке зрителей и смотрел на разгоряченных ребят, на взметнувшуюся под их ногами пыль, слушал гулкие удары по мячу, и тогда вдруг ужасно хотел тоже, азартно крича, бежать по двору с мячом; я хотел послать ко всем чертям свои неизменные сосредоточенные размышления над схемами; я хотел быть первым среди игроков, хотел быть ловким и сильным, хотел жить разгульной дворовой жизнью, и если бы в этот момент случилась драка, я бы полез все равно кого бить.

И однажды, когда игра, бывшая особенно хорошей, кончилась и игроки, переговаривающиеся о чем-то своем, собрались у беседки, я вдруг увидел среди них Женю, и, забыв, что Женя во дворе всегда держится на расстоянии, что я, конечно, компрометирую его кличкой «четырехглазая тоща», я вдруг, сам не знаю как, расстегнул рубаху, как это было у игроков, завязал ее узлом на жи-

воте и направился туда, в запретную зону беседки, к ним, повторяя про себя, пока шел: «Женька, ты что, тоже играл?» И я подошел и спросил, а он не ответил, а все замолчали и посмотрели на меня, а потом Витька Фуфаев сказал: «Мда, пацан, мощная у тебя грудь!» — «Куриным коленом!» — пискнул кто-то из-за его спины, и все заржали. Я смотрел на Женю, Женя тоже криво улыбнулся. Я развернулся и пошел прочь, а он не стал меня догонять.

Я не пошел домой, дома негде было плакать, — я пролез в подвальное окно и плакал там, сидя на чьей-то картошке, один за одним безжалостно обламывая упругие холодные ростки.

А вечером Женин отец пришел, как всегда, пьяный, но отчего-то особенно злой, и начал драться, и мой папа с соседом дядей Лешей, выхватив Женю, скрутили, заперли отца, дядя Леша побежал за участковым, а мы с мамой уложили Женю на диван, мама мазала ему лицо йодом, из-за дверей неслась ругань, и Женя вздрагивал и всхлипывал. Мои дневные слезы по сравнению с этими казались мне просто эгоистической чушью, я только отчаянно шептал ему: «Женька, да плюнь ты, плюнь!», а он пробормотал: «Тебя бы так хоть раз — плюнул бы!» И в его отрывистых словах было столько зависти и страдания, что я понял, как я виноват перед ним, виноват всей своей благополучной жизнью. И если теперь я иногда думаю, что Оля права и мы действительно никогда не были настоящими друзьями, то всегда раньше, если хоть отрывочек этой мысли приходил в голову, я тут же гнал его, уверяя себя, что подло искать такие оправдания в случае, когда самому надо чем-то пожертвовать.

Я помню, мы с Женей в десятом классе сидим, как всегда, на нашем диване, и я говорю: «Давай на радиотехнику!» — «Не потянуть. Как я учился-то?» — усмехается он, и я, вздохнув, соглашаюсь. «Вот если б папаша твой — уж всяко за тебя скажет — если б и за меня заодно?» — косится на меня он. Мой папа работает в радиотехническом, но никогда он не станет ничего говорить за меня, я хочу сказать об этом Жене, но, чувствую, не поверит, скажет что-нибудь нехорошее, и я киваю: «Я поговорю». Я думаю до вечера и убеждаю себя, что просить не за меня, а за Женю — дело совсем другое, что Женя не виноват, что у него не было условий учиться, как у многих, и то, что ему заранее заказан вход в институт, — явная несправедливость. И вечером за ужином я бухаю все это папе, и после некоторого молчания меня поддерживает мама: «Петя не так уж не прав», и я смотрю на отца, как лицо его морщится, и мне страшно жаль его; я понимаю, что́ эта просьба для него, совсем недавно сказавшего мне: «Никаких оправданий для компромиссов с совестью не бывает, хоть они часто и есть», и мне хочется убежать со своим предложением, но я не могу отступиться.

И папа в конце концов согласился заниматься с Женей и подготовить его, но спросил: «А не очень ты с ним носишься?» — и он

был первым человеком, сказавшим то, что тогда показалось мне ужасным, а вторым была Оля.

То время, наверное, было самым счастливым в моей еще не взрослой жизни: осень с выездом первого курса на картошку. Женя и я среди отличных ребят — я рассказываю о последнем приемнике, Женя держится рядом, и все совсем иначе, чем во дворе, Женя смотрит с уважением и, когда ребята удивляются широте диапазона, подмигивает: мол, знай наших! И знакомство с темноглазой девочкой Олей, и чудесная компания — Женя, Оля и я; Оля любит посмеяться, мы лезем вечером в какой-то сад за дичками, мои брюки трещат — напоролся на гвоздь, и Оля, зажимая рот, хохочет, хохочет.

И возвращение в город: Оля поет какую-то замечательно бессмысленную песенку, и все хором поют припев, а после Женя басом: «Анджела!», и все смеются, а громче всех — Оля. И первые месяцы в городе, вечера на кафедре, все непонятно, во всем хочется разобраться, и вдруг — Олина голова из-за двери, кивок, смешок, выхожу — она и Женя, зовут в кино, и мы все идем, и весело смотреть, как Оля прыскает на кинокомедии, и мы провожаем ее в общежитие, и, проводив, вдыхая сырой осенний воздух, изредка переговариваясь, идем домой.

А потом меня совсем затягивает кафедра. Я не могу пропустить ни минуты, делается жутко оттого, какой я еще неуч, несмотря на все мое радиолюбительство, а на лекциях читают еще только математику и физику, и так хочется забежать вперед.

А однажды ко мне на кафедру заходит Оля. Она бросает сумку на приборы, усаживается переписывать лекцию, а потом предлагает: «Пойдем в мороженицу!» Мы идем, и там без всяких предисловий Оля вдруг говорит: «Знаешь, Петька, у меня должен быть ребенок!» Я чуть не падаю со стула, хочу что-то спросить, но Оля останавливает: «Не спрашивай, ты его не знаешь, а он не знает про ребенка — это ему до фени. Ужасно все глупо, — быстро говорит она. — Знаешь, Петька, ты извини, что я тебе рассказываю, но кому-то мне надо, а девицы сразу разнесут на все общежитие. Понимаешь, вот так живешь, как дурочка, — куда ветер дунул, туда и понесло, а потом вот что получается. Ясно, конечно, что теперь делать, да и направление уже есть, только очень как-то тяжело. Чувствую, что вот сделаю это, а дальше будет еще хуже — это как какой-то рубеж. А куда денешься, не к родителям же ехать, они с ума посходят, да и старые уже, — и она вздыхает, жалко улыбается и говорит, что вот она все же какая болтушка — выговорилась, и вроде легче».

И я смотрю, как она не может открыть пудреницу, пальцы срываются с кнопочки, чувствую, что на меня накатывает и что я сейчас сделаю что-то такое... Я вдруг замечаю, какая она измученная, и представляю, что вот она сделает это и вообще перестанет

болтать и смеяться, ее как переедет трамваем, и я вдруг понимаю, что и я не могу, не хочу, чтобы так было. «Оля, — говорю я страшным шепотом, — не надо ничего делать, выходи-ка за меня замуж!»

И после этих вырвавшихся неизвестно откуда слов с нами происходят невероятные вещи — начинается период фантастических превращений. Я превращаюсь сначала во вцепившегося в Олю мертвой хваткой бульдога, потом — во вдохновенного вруна, наговорившего обомлевшим родителям о своем предполагаемом ребенке, затем во вполне приличную няньку. Оля из беззаботной хохотушки превращается сначала в нервное издерганное существо, рыдающее вечерами после того, как моя мама напичкает ее добытой где-то икрой и орехами: «Если бы она только знала!» Потом она делается бессонной, тревожащейся за каждый всхлип Сонечки мамой, кидается все делать только сама, и у нее приходится силой отнимать половую тряпку. После всех этих превращений, когда наконец все становится на свои места, и мы с Олей вечером лежим рядом, и, улыбаясь, вспоминаем все, что было, и загадываем о том, что будет, — тогда-то Оля и начинает со мной первые разговоры о Жене.

Мы учились тогда на втором курсе, и многое уже изменилось. Мы с родителями получили квартиру — наши комнаты стали всем тесны — мы покинули старую коммуналку. Женя — тоже, он переселился в общежитие. С первого курса он занялся общественной работой, стал активистом факультетского бюро, метил в институтское. Женька, наш с мамой Женька, сделался очень независимым и строгим мужчиной. Молчаливый и сосредоточенный, он появлялся на собрании группы, выходил к доске и начинал: «Так вот, ребята, по поводу телефонных звонков...» Он начинал официально-скучным тоном, и всем сразу становилось ясно, что получена инструкция из деканата провести работу, чтобы студенты не пропускали лекций, ссылаясь на заказанные междугородные переговоры с родительским домом, и что инструкция есть инструкция, долг Жени поговорить, а их — послушать, а дальше все опять пойдет по-старому. И то, что говорил Женя, никак не ассоциировалось именно с ним, он оставался для всех нормальным парнем, но за ту официальную строгость, которой он пользовался во время выступлений и которую моментально оставлял, спускаясь с трибуны, некоторые уважали его, считая, что Лазарев понимает, что к чему, а другие, в том числе и моя Оля, его не любили.

«Он проныра, ты что, не видишь? — горячилась Оля, приподнявшись на локте и сверкая в темноте глазищами. — Ему плевать на всю общественную работу — была бы личная польза!»

«Мы не можем судить, — говорил я. — Может, в какой-то степени и так, но мы с тобой не жили так, как он, у нас все готовенькое, нам можно заниматься, чем хочется, а было бы как у него —

неизвестно, куда бы мы бросились, чтобы оторваться, — вот получил же он через бюро общежитие».

«И ты вот тоже, и тебя он использует, — упрямо гнула Оля, — теперь как экзамены, так тут как тут, а вспомни-ка экономику в прошлом семестре!»

В прошлом семестре, когда Сонечка была совсем маленькая, мы ходили на лекции по очереди, а по экономике у нас совсем не было конспекта, и я попросил Женю принести свой и почитать его вместе с нами. В этот день Соня особенно капризничала, и в доме, когда пришел Женя, был полный бедлам: безуспешное укачивание, теплые пеленки, укропная вода, и тут еще Женя открыл сумку и хлопнул себя по лбу — забыл конспект в общежитии. Он не ушел, вызвался помочь, но Оля его зло шуганула, а потом вдруг быстро влезла к нему в сумку, порылась, вытащила тетрадку и издала победное: «Вот!» Женя сказал, что от этих экзаменов скоро совсем свихнется, и мы кое-как занимались, а когда он ушел, Оля спросила: «Ты что, ничего не понял?» — «А что?» — деланно удивился я. «Нарочно же припрятал, увидел, как у нас тут раззанимаешься, — то ли дело одному в читалке!» И я обозвал ее фантазеркой, но она упорно вспоминала это при каждом удобном случае типа «Женя обещал и забыл» и грозилась мне неведомыми бедами от Жени: «Вот ты еще увидишь, вот посмотришь!»

Я не хотел ничего видеть и никуда смотреть. Он действительно иногда подводил меня хотя бы и на кафедре, куда тоже устроился на пятом курсе. Во время авралов, когда надо было в конце квартала писать отчет или доканывать прибор, вдруг приезжала какая-нибудь делегация или устраивался праздничный вечер, и это все не могло обойтись без Жени, и я сидел вечерами один, дергаясь, что там дома, если болела Сонечка, но я всегда помнил, что работой в бюро держится его дефицитное и для иногородних общежитие, а в случае с конспектом, даже если Оля и была права, я знал: кому-кому, а ему действительно жизненно нужна была стипендия, он действительно не мог заваливать, как могли, на худой конец, мы, — нам, семейным, ее все равно бы потом дали, да и не оставили бы нас родители.

И потом, теперь этого уже нет, а тогда мне было не то что не важно, какой Женя человек, но я просто подходил к нему совсем с иной меркой, чем к другим людям. Он был мой человек, как Оля с Соней, как родители. Он был не просто высокий парень с серебристыми волосами и твердым подбородком, за его спиной прятался испуганный до полусмерти мальчишка, и было распиравшее мне грудь чувство жалости и бессильной злобы. За его спиной был черный зимний вечер, свет фонаря, косо летящие хлопья снега, два мальчика — он и я, присевшие рядом в сугроб, горящие щеки, сбитые шапки, растерзанные шарфы, пресный вкус зачерпнутого пригоршней снега, удивленные глаза одного, таинственный шепот дру-

того. Что он говорил мне тогда, теперь я уже не помню, да и не это важно. С Женей был связан целый мир, невозвратный и прекрасный, и никакие мелочи не могли затушевать его, заслонить, испортить.

Да и вообще, от всех этих рассусоливаний, как я их тогда называл, что, кто да почему сказал или сделал, кто такой человек, кто к кому как относится, — от всего этого я был далек, я был равнодушен к таким вещам, как и к художественной литературе. Во всем этом очень любила разбираться Оля, а у меня всегда была только радиотехника, и пока я думал о случайных процессах, мир казался мне гармоничным и стройным и ничего в нем не могло быть плохого.

И когда на распределении Женя перебил у меня аспирантуру, я, конечно, расстроился, но только оттого, что расстроится Оля, оттого, что не будет относительной свободы со временем на первых порах, а Оля ждала второго малыша. Я действительно хотел, как и говорил Жене накануне распределения, посмотреть, как работают в больших НИИ и делают настоящие вещи, — на кафедре все-таки все было уже такое знакомое и как будто кукольное. Но от аспирантуры сам бы я, конечно, не отказался, потому что интересно было закончить тему, да и кто же отказывается от аспирантуры. Но перед распределением ко мне подошел мой руководитель доцент Смирнов и, заикаясь, как всегда при волнении, сказал: «П-пиваровский обалдуй п-попался на фарцовке, а твой п-прохвост его п-покрыл на бюро. Если оставят его, я б-беру расчет». Пивоваров был наш профессор, обалдуй — его сын, обучающийся на первом курсе, а прохвост — Женя, — Смирнов, как и Оля, его не любил. И все случилось так, как говорил Смирнов, только, конечно, он не взял расчета. «Все вычислил, примазался на пятом курсе! — кричала Оля. — Да после этого, да я бы!..» Больше всего ее выводило из себя, что на распределении ко мне подошел Пивоваров и, сочувственно хлопая по плечу, сказал, что, конечно, понимает, что я в равной степени с Лазаревым занимался этой темой, но оставить они могут одного, а Лазарев — общественник. «В равной степени! — стучала кулачком Оля. — Это ж в лицо надо было плюнуть!»

Но еще возмутительнее с ее точки зрения было то, что Женя стоял рядом и не возражал, не отмахивался, а только вежливо улыбался. Она не слышала еще, как он сказал мне, когда отошел Пивоваров: «Ну, Петька, такая наша судьба, теперь моя очередь!», и я не очень понял, какая очередь и куда, а он вдруг засмеялся: «Да тебе и до лампы вся эта аспирантура, а, Петька? Правда, Петька? Сам же говорил!» И он подмигнул мне, а я опять промолчал, меня покоробило, его веселость была неприятна. И все же, когда после распределения мы с ребятами пошли в шашлычную, и там он кричал мне в ухо: «Петька, мне аспирантура позарез, женюсь на Тане Беликовой, она на первом курсе еще, папашу

с мамашей не уломать, а буду аспирант — расколются!» — тогда я все понял. Я знал профессора Беликова, заведующего кафедрой передатчиков, с его дифирамбами ученым, жертвователям, творцам, которые он расточал по любому поводу на лекциях, и я обрадовался, я понял, что все эти шутки насчет очереди вызваны страшным неудобством, которое Женя испытывает передо мной, я знал по себе, я помнил, как я тогда вцепился в Олю, готовый на все, — я заулыбался, налил нам обоим еще вина, и поздравлял его, и уверял, что мне действительно плевать на аспирантуру, я даже рад, что так вышло, что отказаться самому у меня бы не хватило духу. И все было прекрасно, только стучал кулачок Оли, и дробь ее кулачка подвела черту под периодом нашей жизни, когда вся моя душа была открыта Жене, после этого все у нас пошло вкривь и вкось.

Действительно, распределившись в НИИ, я, в общем, был доволен — обидно было не видеть ничего, кроме кафедры, и все же сердце щемило, я отдавал тему, которой занимался уже три года, в чужие, пусть в Женины, но все же в другие руки. Утешением было то, что, общаясь с Женей, я все-таки буду в курсе и что Женины руки, конечно, надежны. Сейчас я понимаю, я уговаривал себя, потому что не был в этом уверен, сомневался, вспоминая, как, запустив в схеме пустяковый усилитель, Женя радовался: «Ай да я! Сидишь ты тут, Петька, три года, а я вот пришел и запустил!» Мало-мальски разобравшись, он спешил верить в то, что ему уже ведомо абсолютно все. И когда случилось то, чего я опасался — мы работали вместе последние дни перед дипломом, и в статистике вдруг начал появляться незапланированный выброс — это ставило под сомнение и предыдущие результаты и вообще диплом, и Женя сказал: «Нет этого выброса, нет, ясно? Кто будет проверять?» — тогда мне стало по-настоящему нехорошо, я сказал: «Есть выброс, Женя, есть!», а он твердо повторил: «У меня нет!» — собрал бумаги, ушел и больше не появлялся до защиты. Я разбирался, в схеме оказался незначительный сбой, пришлось кое-что переделать, в дипломе у меня было так, у Жени — иначе, никто действительно не проверял, но нехорошо мне было не от свалившейся вдруг нервотрепки, — нехорошо мне было оттого, что я понял, что действительно я делаю в жизни что-то неправильно.

Когда перед дипломом я в последний раз выключил свою установку, это было похоже на то, как мы отдавали в первый раз в ясли Соню, она плакала, а мы бежали, как воры, но там можно было себя уговаривать, что иначе нельзя и в конце концов она привыкнет. Здесь уговаривать себя больше было нечем: в Женины, теперь уже определенно ненадежные, руки переходило мое детище, должно было пострадать дело, которое не пострадало бы, занимайся им я. И я переживал тогда очень долго. Я начал понимать, что все эти «кто, что и почему сказал» тоже очень важны,

что, не понимая в них и ставя в вершину всего радиотехнику, я загубил именно радиотехнику. Я мучился оттого, что почувствовал, что есть вещи, в которых я так, наверное, ничего никогда не пойму. Я взялся читать «Войну и мир», но не дочитал и до середины, потому что родился Петька, а в НИИ, где я начал работать, тематика оказалась действительно интереснее и шире, к тому же Женя совершенно скрылся с нашего горизонта.

А через двенадцать лет, когда Сонька и Петька выросли в больших человечков, но не стало папы, когда я сделался начальником отдела, когда от этих моих сомнений не осталось даже осадка, когда все забылось настолько, что имя Жени потихоньку опять подкралось ко мне и, вспоминая былое, я стал подумывать, что интересно было бы его повидать, узнать, как он и что, — тогда вся эта история сделала еще один круг.

На этот раз все началось с твердо сжатых губ Оли и с такого знакомого, постаревшего лица за дверью — серебристые волосы начали переходить в седые. Он был откровенен до беспощадности. Диссертацию прокатили на черных шарах, и поделом — похватал, как дурень, по верхам. Папа Беликов — на него сильно рассчитывал — оказался правильный старик, твердо заявил: все должно быть честно. Плюнул на все, на кафедре сидеть мэнээсом не собирался, если уж не диссертация, то что-нибудь из ряда вон. Знакомые из комитета устроили на научное судно. Проболтался три года в море, пока не засекли с джинсами на таможне — надо было платить за кооператив, — шуму особого не поднимали, но списали. Потом работал в такси, кончил курсы кузовщиков, работал на обслуге — решил: деньги будут такие, что всем кандидатам не снились. Деньги были не совсем те: мастер — видели бы это мурло — потребовал половину левых себе. Отказался, началась заваруха, подумал: подчиняться хаму с толстой рожей? Огляделся, ни статуса, ни жены — Беликовы сманили Таньку, — ни путевой работы. Подумал: вот, просуетился, все старался скорее и больше, а надо было потихоньку, как муравей, — само бы пришло.

Сквозь сарказм в его речах прорывалась настоящая боль. И я устроил его в свой отдел, ходил с его трудовой книжкой в отдел кадров и давал гарантии, я поверил, что теперь все пойдет по-другому, и радовался, когда он начал по-настоящему хорошо работать, получал повышенные премии, когда его выбрали в профбюро. Меня огорчала только какая-то яростная обозленность в глазах Оли, когда я делился с ней этой своей радостью.

И опять Оля оказалась права — став председателем профбюро, он сильно поддержал оппозицию несогласных с распределением премиального фонда начальника отдела. Я распределял эти деньги всегда почти между одними и теми же — теми, кто действительно хорошо работал: при нашей уравниловке это единственный способ поощрять ребят, на которых все держится.

Оппозиция в основном состояла из постоянных обитателей курилки и заварщиков чая; присутствие Жени, тоже получающего из фонда, придавало ей вес. Он нисколько не скрывал своей причастности, сам приходил ко мне в кабинет и, разводя руками, говорил: «Что ж, Петька, народ требует по справедливости, а то любимчики у тебя — хоть вот я, например!» «Народ» написал бумагу, спустили комиссию, председатель, осторожный лысый толстяк, обязал распределять премии более равномерно, а Женю, как бессребреника, заметил, и, когда ушел на пенсию начальник их сектора, назначили его. И тогда мне стало очень трудно работать, на всех производственных совещаниях на мои доводы звучали контрдоводы Жени, не всегда по-серьезному обдуманные, часто взятые с потолка, но для непосвященных вроде бы убедительные. И при этом он, как ни в чем не бывало, догонял меня, когда мы шли с работы, и болтал, как будто стычек в кабинете не было и в помине.

И вот теперь, когда он понял, что опять сорвался и поспешил — поспешил выполнить задание раньше всех, выглядеть самым достойным руководителем отдела, поспешил отмахнуться от технических сложностей, которых ему не хотелось замечать, — теперь он придет ко мне, и я не знаю, что он будет говорить, но знаю только, что не хочу больше думать о нем, не хочу знать, что с ним дальше будет.

И он приходит, и я не знаю, какое у него лицо, я смотрю на обои, в окно, только не на него. Оля затаилась в кухне, слушает. Он говорит... подумать только, что он говорит, он несет какую-то чушь, что мог бы сойтись с Таней, что у них все-таки ребенок, а теперь все снова летит к черту. Я знаю, Таня давно замужем и мальчик Жени с его согласия усыновлен, я морщусь, слушаю дальше. Он предлагает мне взять вину на себя, якобы это было мое распоряжение не учитывать фазы: «С тобой же ничего не сделают, ты — фигура, удивятся и пожурят!» Я выслушиваю до конца и твердо говорю: «Нет!» — «Нет? — восклицает он. — Нет? Петька, да ты вспомни, гад, как мы с тобой...» И тут из кухни вылетает Оля и кричит: «Катись отсюда, ясно? Все тебе уже сказали!» — «Ах вот почему! — усмехается Женя и встает. — Значит, тебе все-таки сообщили...» — «Что сообщили?» — спрашиваю я, и вдруг Оля изо всей силы толкает его в коридор, от неожиданности он теряет равновесие, грохается под вешалку, я кричу: «Да что ты, Оля?», и из всей этой нелепости все-таки слышатся его последние слова: «Потому что она со мной спала!» — и дверь захлопывается, и мы с Олей остаемся.

Когда вваливаются с лыжами Соня и Петя, мы еще не успеваем заговорить, я смотрю сразу на Соню, Оля — на меня, и я быстро отвожу глаза. «Ну, погода — блеск: киснете тут!» — кричит Соня.

А ночью Оля шепчет мне, что больше всего на свете всегда боялась, как бы он не догадался, что Соня — от него. «Ты мог бы

ему сказать!» — говорит она. «Как же без тебя?» — «Мог бы, мог бы, — повторяет она упрямо, а потом, помолчав, неуверенно спрашивает: — А сейчас? Ведь не вздумаешь? И не сделаешь того, что он просит?» Ее голос дрожит, как тогда, много лет назад в мороженице, и меня опять охватывают любовь и жалость к ней, я представляю, как тяжело ей было носить в себе такое все эти годы. Я обнимаю ее, говорю: «Нет, конечно, нет...», но она не успокаивается, всхлипывая, бормочет, что он нам хуже чем никто и ничто не может это изменить. Я соглашаюсь, успокаиваю ее, но она недоверчиво вглядывается в темноте в мои глаза, требует, чтобы я повторил свое «нет» еще и еще раз, засыпает нескоро и тревожно стонет во сне.

Я лежу и думаю, что Сонин отец — я, и больше никто, и на работе страдать делу я теперь уже не позволю, но как жить и смотреть в глаза своей девочке, если ее — нет, не отца... отца... уволят от нас, и он снова покатится куда-нибудь, еще, чего доброго, начнет пить, и будет приходить к нам за пятеркой на бутылку, и спрашивать что-нибудь вроде: «Доволен, откупился?» Я думаю, куда же тогда денется все хорошее, что я всегда пытался сделать для него и что старался думать о нем? Куда девается хорошее? Не должно же оно пропадать так, зря, даже и по всем законам сохранения! Может, его еще просто недостаточно, не накопилось еще сколько надо, а когда накопится, тогда и произойдет взрыв, качественный скачок? Я думаю, что, может, надо что-то придумать, поговорить с ним еще один, последний раз, а там сходить к генеральному директору, попросить, рассказать... Надо, что-то, наверное, надо... и мысли путаются, я засыпаю... До утра, до завтра...

Надежда Смирнова

* * *

Нет в мире человека без души.
Режь на куски, ломай его, кроши —
ищи то место, где живет душа, —
твои труды не стоят и гроша.

Нет в мире человека без лица.
Их видишь каждый день,
им нет конца:
изгибы, формы, линии, черты.
По лицам узнаемся я и ты.

Людей бездушных и безликих нет.
Есть красота, уродство, тень и свет
и лиц и душ.
Где между ними связь?

... Ты входишь в дом, грустя
или смеясь.
Красиво ли твое лицо?
Как знать.
Им всякий раз владеет новизна.
Она мне открывает смысл и боль
всего происходящего с тобой.
И каждый миг, и каждый штрих ее
ложатся тенью на лицо мое.

Восхождение

Все темней и опасней дорога.
Ну, смелее — ведь ты альпинист.
До вершины осталось немного.
Отдохнем до рассвета и — вниз.

Не сердись: мне ли хвастаться
силой?
Я же с детства боюсь высоты.
Никогда бы на риск не решилась,
не осмелилась, если б не ты!

Ну пойми, мы должны это сделать!
Я чудачка. Но ты же не трус...
Возвращайся.
Спасибо за смелость.
Я теперь и одна доберусь.

* * *

Твой свет к моим ногам
не ляжет...
В пространстве темного окна
все тот же холодок,
все та же
за занавеской тишина.
Слетают с этажей, как с веток,
пересекая тесный двор,
в мои ладони капли света.
Темнеющего дома взор
меня в немых объятьях держит.
Огней глазастых дружный строй
ничуть не делается реже
от незначительности той,
что по моей щеке стекла
чужая капелька тепла.
... Твой свет к моим ногам
не ляжет.

Мой день

Ходила от окна к столу,
прислушиваясь к двери.
А телефон молчал в углу.
И не хотелось верить,
что я забыта...
Ни цветов,
ни музыки, ни смеха.
Пестрел едой нарядный стол
и не имел успеха.

Я налила себе вина
и оглядела стены...
И поняла, что не одна,
что я сегодня с теми,
чей смех из памяти проник
в мой одинокий вечер.
Я выпила вино за них —
за преданных и вечных.

* * *

Явился тенью в просвете лунном.
В стекло ударил.
В окно влетел.
Сорвал гитару, провел по струнам.
Холодный воздух вдохнул в постель.
К стене прижалась, укутав плечи.
Дрожа от страха, спросила:
— Кто?
Ответил:
— Ветер.
— К чему ты?
— К встрече...
С гвоздя упало мое пальто.
Душа невольно рванулась к двери.
Я ей кричала:
— Зачем? Куда?
Она шептала мне:
— Верю, верю!
Стучало сердце:
— Беда, беда...

Анатолий Степанов

Происшествие, которого не было

Вообще-то, происшествий на этот день было уже достаточно, вроде бы и хватит.

Во-первых, Константин Балабанов опять, уже не впервые в этом месяце, опоздал на полчаса. По этому поводу Игнатьич, старший мастер, произнес длинную речь, которую пришлось выслушать не только Балабанову, для которого собственно речь и предназначалась, но все водопроводчики, находившиеся в это время в цехе, тоже стояли и слушали. Игнатьич сказал:

— Я вижу, у нас стало так: когда хотим, тогда на работу и приходим. Сколько ни говорим о дисциплине, вижу, что все разговоры без толку. С сегодняшнего дня на каждый случай опоздания буду писать докладную. Если ты, Балабанов, опаздываешь на работу, то, когда будешь получать зарплату, не спрашивай, почему получаешь меньше других. Так теперь будет.

За повышение производственной дисциплины мастера паросилового цеха боролись ежедневно, и к этому уже все привыкли, но на этот раз слова старшего мастера прозвучали особенно убедительно. Надо же так сказать: не спрашивай, почему получишь меньше других. Слышать такое, честно говоря, очень неприятно.

Второе происшествие в этот день учинил Панфил Соловейчик, дежурный водопроводчик. Он принес на работу старинную поварскую книгу в кожаном переплете. Сидя в дальнем углу мастерской за канцелярским столом, за которым всегда отсиживались дежурные водопроводчики, перелистывал желтые от старости страницы. Когда кто-нибудь подсаживался рядом перекурить, Соловейчик говорил:

— Вот этой книге цены нет. Здесь все написано о вкусной и здоровой пище. Давай пять рублей, и книга твоя.

Книга хорошая, это сразу было видно, толстая и в кожаном переплете. Вот только переплет уж очень поистрепался.

— Ну и что? — спрашивал Соловейчик. — Это же старинная книга. Да, и страниц немного не хватает. Но тут остается больше пятисот, тебе что, мало? Четыре с полтиной за такую книгу — разве это цена? Ну ладно, четыре.

Книгу у него никто не покупал, но все с интересом читали о том, как получается осетрина под пармезаном или как готовить жаркое из телятины с вишнями.

— Надо же, какая вкуснятина! — восторженно говорил Соловейчик. — Осетрина под пармезаном! Это тебе не треска в томате. Да откуда я знаю, что такое пармезан! Но ты только послушай, что тут еще пишут: тушеный каплун или пулярда, фаршированная кнелью, с шампиньонами и раковым маслом... Да это все так и хочется съесть. А я, между прочим, эту книгу за три с полтиной могу отдать.

Но после обеда, вернувшись из заводской столовки, он сказал:

— Лучше почитать, чем пообедать.

Когда к его столу подошла табельщица из отдела главного механика и спросила, что это за книга, он сразу ответил:

— Я эту книгу и за десятку не отдам. Здесь даже написано, как приготовить щи из крапивы.

Третье важное происшествие, ставшее известным в этот день, касалось Нины-компрессорщицы, востроглазой татарочки, которую все в цехе считали совсем еще ребенком и даже стеснялись материться при ней и не рассказывали те анекдоты, которые трудно пересказать обычными словами. Утром она зашла в кабинет начальника цеха и молча положила ему на стол листок бумаги. Начальник, не беря в руки листок, увидел только крупно написанное слово «заявление» и спросил:

— Это вы на отпуск? В этом месяце дать не можем.

— Нет, — ответила Нина, — это я замуж.

Оказалось, она пришла требовать положенные ей законодательством трое суток на устройство своей свадьбы. Дело, конечно, важное, не только фамилию сменить. На такое дело не три дня, а всю жизнь нужно.

От начальника эту новость узнали мастера, а от мастеров — все рабочие. Самым удивительным было то, что Нина выходила замуж за парня из механического цеха, который уже несколько лет работал на заводе и которого все хорошо знали. Вот и вопрос: когда это они успели договориться? Почему никто ничего не заметил? Как им удалось скрыться от всех? Надо же так всех обмануть! А зачем было обманывать? Вон операторша из котельной, Надька Рывина, если нравится ей сантехник Борька Алексеев, то она сама за день не один раз прибежит к нему в цех; он ее щиплет тут же возле верстака, а она хихикает. Ну и что? Молодые, и потому никто их не осуждает. Только мастер, если увидит, отругает, почему это Рывина опять не на рабочем месте.

Нина весь день старалась лишний раз не выходить из компрессорной, потому что у нее сразу начинали спрашивать:

— Нина, ты это в самом деле? Замуж выходишь? И когда вы с ним успели договориться? У тебя и фамилия другая будет?

Она смущалась и отвечала:

— Ничего я не знаю. Спрашивайте всё у него, — он, мол, ее жених, всему зачинщик, а она вообще ни при чем.

Только Панфил Соловейчик не удивлялся, не задавал Нине вопросов, а сразу посоветовал:

— Ты, Нинка, учти, что жена должна кормить мужа вкусно и питательно. Вот в этой книге обо всем написано.

Он раскрыл свою книгу и стал ей читать:

— «Наливки можно приготовлять из разных ягод и фруктов...» Ты внимательно слушай, это тоже надо знать. «Берут ягоды лежалые или смятые... Взять стеклянную бутыль, всыпать в нее каких угодно ягод... влить если не французской, то очищенной водки...»

Нина внимательно слушала его и улыбалась, а Соловейчик продолжал:

— «Пусть стоит три месяца... Потом разлить в бутыли, пробки запечатать. Ко всем бутылкам привязать дощечки с надписью и номером бутылки. Начинать употреблять с последнего номера, чтобы верно знать, сколько остается».

Тут Соловейчик удивился и спросил у Нины:

— Ты, это, в самом деле замуж выходишь? Так дощечки, по-моему, ни к чему.

Такие были происшествия, обогатившие этот день, и вроде бы этого хватало — еще одно происшествие было бы сверх.

В раздевалке, где переодевались рабочие паросилового цеха, оставались только Константин Балабанов и Володя Первухин. Остальные рабочие уже переоделись и неторопливо пошли к проходной — пока дойдут до ворот, будет как раз конец работы.

Балабанов прыгал возле своего шкафчика, пытаясь попасть левой ногой в штанину. Почему-то это ему не удавалось. Один раз он все-таки попал ногой, но как раз туда, где уже была правая нога. Вот уж невезенье! Чтобы не упасть, ему пришлось упереться лбом в дверцу шкафчика. Володя Первухин сидел в другом конце раздевалки и с интересом наблюдал за его стараньями. В конце концов Балабанову повезло, он натянул брюки, облегченно вздохнул и выругался.

Володя подождал, пока он затянет ремень, и спросил:

— Дядя Костя, а почему вы опять рабочие брюки надели?

Балабанов оглядел на себе брюки и удивился:

— А чего это, в самом деле, я опять рабочее надел? А ты почему раньше не сказал? — закричал он Первухину. — Ведь видел,

что я не то надеваю, — и он вздохнул и выругался, теперь уже сердито.

Володя сидел перед своим шкафчиком, скрестив руки на груди, и улыбаясь смотрел на Балабанова, — видимо, он ожидал увидеть еще много интересного.

В раздевалку вошел Николай Петраков и по своей привычке все время что-то обсуждать, еще только перешагивая порог, начал говорить:

— Теперь Нинка будет за бездетность каждый месяц платить. Ведь по закону как? Вышла замуж, значит, начиная со дня свадьбы, плати за бездетность. По-моему, это установлено неверно. Многие незамужние тоже с мужиками живут, а за бездетность не платят. Я бы, будь я в правительстве, я бы установил иначе...

Петраков был из тех людей, которые уже рождаются серьезными и озабоченными и потом до самой кончины заняты одной мыслью: как повернуть все так, чтобы в этом мире был только порядок и ничего, кроме порядка. Когда Петраков менял в туалете поломанный водопроводный кран, он долго рассуждал вслух о том, что нужно бы высчитывать из зарплаты у тех людей, которые не умеют бережно относиться к вещам. И те, кто находился в это время в туалете, прикованные к одному месту, вынуждены были выслушивать Петракова и согласно кивали головами. Как не согласиться? То, что говорил Петраков, всегда было правильно. Даже когда он стоял у кассы в длинной очереди за зарплатой и громко рассуждал о том, что каждый должен получать только те деньги, которые он честно заработал, даже тут все выслушивали его и молчали.

Он, конечно, сам чувствовал, что эта приверженность к порядку отделяет его от остальных людей и уводит в одиночество, — но что он мог поделать? Он был обречен на правоту, как другие от рождения обречены на немоту или незрячесть. Можно отказаться от лжи, но как, да и разве можно, отказаться от правды? Просто удивительно, что люди всегда предпочитают придумать что-то хитрое и бестолковое, хотя поступить правильно всегда проще и выгоднее.

Сам о себе он так и говорил: «Я люблю, чтобы все было как нужно». Товарищи по работе иногда поддакивали ему: «Ты голова, Николай. Тебе бы, Николай, министром быть, а не унитазы ставить», — но было непонятно, всерьез это говорят или опять треплются.

Петраков подошел к своему шкафчику и начал переодеваться, продолжая рассуждать о том, что за бездетность нужно высчитывать со всякой женщины, которой перевалило за двадцать пять, потому что если она не умеет иметь дело с мужчинами, то пусть берет из детского дома уже готового ребенка. Но Балабанов вдруг перебил его:

— А где же мои часы?— и он помянул всех святых. И опять спросил: — Где они?

На следующий день Панфил Соловейчик снова принес в цех свою книгу, положил ее на стол и сказал, что такая книга стоит никак не меньше трешки. Но уже никто не интересовался старинными поварскими рецептами. Водопроводчики, работавшие в этой смене, человек десять, столпились возле верстака и слушали, как Балабанов рассказывал:

— Я хорошо помню, что перед обедом, когда пошел мыть руки, положил часы на полку, там же, где лежит кепка. Да что вы меня... вы меня за дурака считаете, что ли? Я же все хорошо помню. А после столовой я сразу пошел во второй корпус. Не помню, запер я шкафчик или нет. Замок у меня на шкафчике такой — его пошевелишь, и он сам отпирается. Я же думал, что я с людьми работаю!

— Ну что ты так расстраиваешься? — спросил Соловейчик. Он сам был в плохом настроении, и чужие заботы только мешали ему сосредоточиться и хорошенько подумать о своих делах. А подумать было о чем. Погода на улице вроде бы хорошая, солнце греет, но в кошельке ветер. Жена дала утром полтинник и сказала, что на обед этого вполне хватит, а пиво один день можно не пить. И книгой, которой вообще цены нет, никто не интересуется.

— Не надо зря волноваться и кричать, — рассудительно сказал он Балабанову. — Давай все обсудим с самого начала. С утра у тебя часы были на руке, да? А когда пошел руки мыть, ты их с руки снял, правильно я говорю? И, значит, положил в шкафчик... Так вот, Костя, тебе часы на ноге надо носить.

— Чего?

— Ноги ты перед обедом не моешь...

— Сам ты дурак! — не дослушав, закричал Балабанов.

— Тут дело серьезное, — сказал Петраков, он уже давно хотел высказаться, но все время кто-нибудь успевал заговорить раньше его. — Самое плохое, что вещи начали пропадать. Работаем мы одним коллективом, а у Балабанова часы пропали. Это что значит? Что наш коллектив болен. Надо собрать цеховое собрание и серьезно поговорить.

Но Балабанову и это предложение не понравилось.

— На кой мне твое собрание! Мне мои часы надо, а не собрание.

— Не надо нервничать. Что ты нервничаешь? — спросил Петраков. — Ты же взрослый человек и можешь говорить спокойно.

— Вот и пусть мне вернут мои часы, раз я человек! — разошелся Балабанов. — Я человек, а не часовой завод. Это на часовом заводе часов много.

За разговором не заметили, как в мастерскую вошел Игнатьич.

— Что тут у вас за собрание?

— У Балабанова часы пропали.

— У Балабанова? Все с Балабановым не слава богу.

— Он их в раздевалке оставил, а потом пришел, а часов нет.

— Неужели из шкафчика? Из-под замка?

— Он и сам не помнит, закрыл он шкафчик или нет.

— Да если бы я знал, — закричал Балабанов, — если бы я знал, что с такими людьми работаю, я бы пудовый замок повесил. Я часы на полку положил, рядом с кепкой... — И он еще раз, теперь для Игнатьича, подробно рассказал, как он пошел мыть руки, а потом пошел в столовую, а потом во второй корпус — там нужно было вентиль сменить, — и как вечером, уже собираясь домой, хватился часов.

— Вот, Петраков свидетель, он при этом в раздевалке был. И Первухин Вовка.

— Часы-то золотые? — спросил Игнатьич.

— Ну да, золотые! На деревянном ходу, — ответил за Балабанова Соловейчик, — на полсуток отставали.

Все засмеялись, а Балабанов обиделся:

— Сам ты деревянный, потому и болтаешь.

— Я думаю, так сделаем, — предложил Игнатьич, — сейчас давайте начинать работать, потому что разговорами все равно часы не найдем. А ты еще раз поищи у себя в шкафчике. Ты думаешь, что твои часы пропали, а они, может быть, и не пропали.

— Что мне искать! — обиделся Балабанов. — Что я, пьяный был, что ли? Помню, куда положил.

— Все равно поищи. Не могли твои часы вот так взять и пропасть. Никому они не нужны.

— Кому-то нужны, раз пропали.

— Да ты не злись, Балабанов, — Игнатьич похлопал его по плечу. — Не надо злиться. Ты, Балабанов, пойми, что, живя среди людей, нужно быть немного с юмором. Злиться на людей бесполезно.

— Я не злюсь, Игнатьич. Мне очень обидно. Где мои часы? Нет их. Вот это и обидно. Какой тут к черту юмор! Если все-таки найдутся часы, вот тогда будет юмор.

Молодой не больше месяца работал на этом заводе; его еще не знали как называть и обращались то по имени — Виктор, то по фамилии — Семенов. А стариков звали — одного Дедом, потому что он был старше всех в цехе, а другого Иванычем, хотя на самом деле отчество у него было совсем другое. Но фамилия у него в самом деле была Иванов, и, пока он был молодой, на заводе привыкли называть его Иваном, а когда начал стареть, то постепенно

отношение к нему оказалось более уважительное, и он стал Иванычем.

На заводе только иногда и узнаешь настоящее имя человека, когда увидишь на доске объявлений приказ о выговоре. «А какому Григорию Ульяновичу Константинову выговор? — удивишься ты. — У нас в цехе вроде бы такого нет». — «Как нет! — скажут тебе. — Это же Гук». — «Ах, так это Гук! А я и не знал».

Виктор Семенов, Дед и Иваныч сидели на краю ямы и курили.

— Копать, по-моему, мало осталось. А может быть, еще много копать, — рассуждал Иваныч. — Мало ли что вода пробилась наверх в этом месте, а трубу пробило, может быть, черт знает где.

— Конечно, — согласился Дед. — Вода идет там, где ей легче.

— И правильно делает, — пошутил молодой.

— Что? — переспросил Дед.

— Да это я так, вообще.

— Земля здесь сырая. Может быть, как раз на прорыв и попадем, — сказал Иваныч. — Сейчас очистим трубу и попробуем дать давление.

— Надо попробовать, — согласился Дед. — Может быть, так и есть.

Они некоторое время курили молча, потом Иваныч опять заговорил:

— А все-таки неприятная история.

— Да, — согласился Дед. — Такого у нас давно не случалось. Очень неприятная история.

Старики уже много лет работали друг возле друга и научились общаться короткими фразами — один что-нибудь скажет, а второму остается только согласиться.

— О чем вы? — спросил молодой.

— Как о чем? О часах, — сказал Иваныч. — Последний раз у нас в цехе была пропажа, так это было лет пять назад. Ты у нас тогда еще не работал.

— А что пропало?

— Да у нас тут такой Петров работал, у него сандалеты пропали. Он их только купил и первый раз явился в них на работу. Поставил он сандалеты в раздевалке возле шкафчика, а после работы пришел переодеваться, а сандалет уже нет... ушли уже сандалеты.

— Дорогие? — спросил молодой.

— Что? — не понял Иваныч.

— Сандалеты, спрашиваю, дорогие?

— А кто их знает. Может, за пять рублей, а может, за двадцать. Какая разница?

— Если за пятерку, то можно пережить, — сказал молодой, — а если за двадцать... Все-таки среди нас миллионеров нет.

— При чем здесь миллионеры!

— А я тебе вот что скажу, — вступил в разговор молчавший до этого Дед. — Миллионеры тоже деньгами не бросаются. Они еще жмотистее нас. Я недавно в газете читал, как один миллионер установил в своем собственном доме телефон-автомат. Чтобы гости не пользовались его личным телефоном, а если кто захочет позвонить, то чтобы, значит, звонили за свои две копейки. Вот тебе и миллионер!

— В том-то и дело, на другой же день нашлись те сандалеты, — сказал Иваныч. — Смеху было! Приходит Соловейчик на работу, отпирает свой шкафчик и смотрит, что одни сандалеты у него на ногах, а другие, точно такие же, стоят в шкафчике. «А эти еще, говорит, откуда?» Оказывается, когда он торопился домой, то надел сандалеты Петрова, а свои в шкафчике запер. Вот как бывает.

— Да, — согласился Дед, — в тот раз обсмеялись.

— Я до этого на стройке работал, — сказал молодой, — там у нас тоже был такой случай. У одного нашего мужика кошелек пропал. Ведь на стройке так: сегодня мы работаем здесь, а назавтра увязываем шмотки и перебираемся на другой объект. Я там тоже работал в группе сантехников. Никаких шкафчиков у нас не было. Когда приезжаем на новое место, нам выделяют под раздевалку одну комнату, а мы только налупим вдоль по стенкам гвоздей. На один гвоздь повесишь чистую одежду, а на другой — грязную.

— Ну ясное дело, стройка! — сказал Иваныч таким тоном, будто тут же хотел добавить: что там у вас на стройке могло случиться путное? Но молодой не заметил пренебрежительного тона Иваныча и продолжал:

— Приходим мы после работы в раздевалку, переодеваемся, и вдруг один мужик говорит: «Ребята, у меня кошелька нет». — «Как нет?» — «А вот, говорит, после обеда я положил кошелек в пиджак, а теперь кошелька нет». У него спрашивают: «А деньги в кошельке были?» — «Да, говорит, десятка». Все, конечно, в шоке. Хорошо, что бригадир у нас был резкий мужик. «Никто, говорит, не уходите». Несколько человек уже переоделись и стоят у двери — готовы уйти. Бригадир им говорит: «Подождите». А один из этих, его все звали Королем, возник: «Мне, кричит, ждать некогда. Я тороплюсь». А бригадир опять говорит: «Нет, подожди», — и подходит к столу и выкладывает все из своих карманов. «Вот, говорит, проверяйте карманы, больше у меня ничего нет». А я сразу усек, что тот, который торопился уйти, мандражирует. Бригадир ему и говорит: «Давай теперь ты, Король, раз ты торопишься». Его все звали Король, потому что у него фамилия Королев. Тот опять кричит: «Нужен мне кошелек! Мало ли что у меня в карманах лежит!» А бригадир говорит: «Сам не покажешь, силой обыщем». Тот хотел рвануть, сунулся к двери, но у нас мужики были здоровые, двое свернули его. Он, гад, попробовал рваться, так его пришлось су-

нуть мордой об пол. Двое держали, а бригадир стал шмонать у него по карманам. А он лежит и еще рыпается, кричит: «Не смей, сука, карманы трогать!»

— Нашли? — спросил Иваныч.

— Конечно, нашли. Бригадир вытащил у него кошелек, а он вдруг вопит: «Я не брал. Это мне кто-то подсунул». А бригадир ему говорит...

— Избили? — спросил Иваныч. Было видно, что ему хочется скорее закончить эту историю с пропажей кошелька. Уж больно длинная история, да еще с дракой.

— Нет, — сказал молодой. — Мужики хотели, но бригадир говорит: «Отпустите, пусть убирается». И ему говорит: «Иди завтра в управление и проси, чтобы тебя перевели в другую бригаду. Или совсем увольняйся».

— Это он правильно, — сказал Иваныч.

— Нет, надо было его проучить, — не согласился молодой. — За такие дела морду бить надо. Такое у всех было зло на него. Я бы сам хоть разик, но приложил бы.

— Да, — согласился Иваныч, — понятно, что разозлились. Страшно это, когда начинают друг у друга карманы проверять. Из-за одного, из-за паршивой овцы все натерпелись страху.

— Почему все? Чего мне-то бояться, если я знаю, что я не брал.

— Да все равно страшно, — сказал Иваныч.

Разумеется, у всякой работы есть свои достоинства и недостатки. И всегда можно заподозрить, что чужая работа лучше, недаром и пословица такая: в чужих руках всегда кус слаще. Но Панфил Соловейчик твердо знал, что самая лучшая работа у дежурного водопроводчика. Директор, сидя в кабинете, должен переживать о прогрессивке для всех своих работников, а дежурный водопроводчик тоже сидит за столом у себя в цехе и рисует квадратики да кружочки на обложке дежурного журнала. Так он сидит и сидит до тех пор, пока позвонят откуда-нибудь из производственного цеха и скажут, что где-то что-то потекло; тогда нужно взять в руки шведки второй номер и идти по вызову. Где-то подожмешь контргайку, где-то заменишь набивку в кране и возвращаешься к себе в паросиловой с сознанием, что ты спас цех от затопления и, значит, прогрессивку должен получить обязательно. А через час опять позвонят по телефону и скажут, что нужно еще поджать гайку, нет-нет, не ту же самую, а рядом. В общем, хорошая работа.

Подошел Игнатьич и присел возле на скамейку:

— Нет вызовов?

— Нет, — ответил Соловейчик и подумал, что сейчас Игнатьич пошлет его проверить увлажнители в вентиляционных камерах. Но Игнатьич достал из кармана папиросы и, прежде чем закурить,

долго катал папиросу между пальцев. Соловейчик догадался, что он хочет о чем-то спросить.

— Ты вчера не видел, чтобы кто-то из чужих заходил в раздевалку? — спросил Игнатьич. — Ты здесь сидишь, у тебя все на виду. Конечно, чужой не полезет, это ясно, но мало ли.

Панфил понял, о чем говорит Игнатьич, но на всякий случай переспросил:

— Часы-то?

— Да, часы. Странный случай. Кому они нужны? В комиссионный ворованное не понесешь, а у пивного ларька дадут... ну сколько? — не больше трешки.

— Да, больше трешки не дадут.

— Вот и я думаю. Выгоднее взять из нашей кладовой смеситель и предложить любому жактовскому водопроводчику — тот за него без разговоров полбанки поставит.

— Верно, — согласился Соловейчик, — смесители в магазинах редко бывают.

Некоторое время они молча курили и смотрели на дверь раздевалки, бесполезно стараясь вникнуть: что вчера произошло за этой дверью? Как могли пропасть часы, которым вся цена у пивного ларька — три рубля?

— До войны и после войны часы ценились, — сказал Игнатьич. — Это теперь у каждой соплюхи золотые на руке, а тогда... Я сам, помню, выменял себе часы на толкучке. Трофейные, на семнадцати камнях. Буханку хлеба отдал.

Они помолчали, и Соловейчик, чтобы поддержать разговор о часах, спросил:

— Может, по глупости кто?

Он был рад, что Игнатьич не посылает его проверять увлажнители, — не очень-то хочется лазить по сырым и темным камерам. И вообще это не входит в обязанности дежурного водопроводчика.

— Вот только что по глупости, — согласился Игнатьич.

— Я перед обедом тоже заходил в раздевалку, — сказал Соловейчик и пояснил: — Чтобы взять из пиджака кошелек. Как сейчас помню, Костя стоял у своего шкафчика и считал мелочь. Он еще у меня спросил: «Соловей, что у тебя есть?» А я ему отвечаю: «А ни шиша. Полтинник на обед». Он мне говорит: «Плохо». — «Конечно, отвечаю, плохо. Это только тебе хорошо. Вон, полный кулак денег». — «Нет, говорит, и мне плохо». Так мы с ним потрепались, я взял из своего шкафчика деньги и пошел в столовую, а он пошел в умывалку мыть руки. А когда мы с ним выходили из раздевалки, то Первухин как раз входил.

— Да, — сказал Игнатьич, соглашаясь не то с подозрениями Соловейчика, не то просто с фактом. Были часы, а теперь нет ча-

сов — это факт. Когда Балабанов ушел мыть руки, в раздевалке оставался только Первухин — это тоже факт.

— Нет, — сказал Игнатьич, — давай не будем на Первухина грешить. Не хочется верить, что он способен на такое. Не укладывается это в голове.

— И мне не верится. Но мало ли, всякое бывает. Парень он озорной.

— Конечно, все может быть. Но ты никому о Первухине не рассказывай. В конце концов, черт бы с ними, с часами.

Соловейчик охотно согласился:

— Да, человека запачкать легко.

Игнатьич бросил окурок себе под ноги и старательно затер его подошвой.

— Ладно, пойду.

И, уже выйдя из-за стола, обернулся к Соловейчику:

— А пока нет вызовов, сходи проверь увлажнители.

Тетя Паня прежде работала в цехе, но, как получила пенсию, перешла работать где полегче — в охрану. В проходной только стой да смотри, как мимо тебя проходят туда-сюда люди. Вечером, когда все начальники, в том числе и сам начальник охраны, уходили домой, тетя Паня доставала из своей сумки из-под свертка с бутербродами книжку и продолжала службу, уже сидя с книгой в руках.

Любила тетя Паня литературу для дошкольного и младшего школьного возраста, особенно из серии «Мои первые книжки» или из другой популярной серии — «Читаем сами». Слова в этих книгах отпечатаны крупными буквами и на хорошей бумаге, и почти на каждой странице — картинка. Читала тетя Паня не торопясь, часто прерывала чтение и надолго задумывалась о прочитанном.

Все знали о ее пристрастии к чтению и иногда пытались предложить ей что-нибудь из толстых книг, но тетя Паня недоверчиво перелистывала страницы и, не найдя картинок, спрашивала: «О чем это?» — и тут же возвращала: «Болтовня одна. Надо же столько написать!» Вполне может быть, что, начни тетя Паня читать толстые книги, в которых не много умного, но слов, точно, много, то начала бы она впадать в мрачную задумчивость, которая уже бесполезна в ее возрасте; получилась бы из нее обыкновенная ворчливая старуха, каких много в любой очереди.

— А ты куда идешь? — спросила она Балабанова, когда тот вошел в проходную.

— Здравствуй, тетя Паня!

— Здравствуй, — согласилась она.

— Тетя Паня, пусти пивка попить.

— Да ты что! Увидит кто-нибудь из начальства, что я тебя пропустила, и будет мне скандал.

— Раз нельзя, так нельзя,—смирился Балабанов.

Он закурил и присел возле тети Пани на стул.

— Ты на меня табачищем не дыши.

— Ладно, ладно,—и Балабанов передвинул свой стул подальше от тети Пани, но ближе к той двери, через которую можно было выйти на улицу.

— А у меня, тетя Паня, часы украли, — сказал он. — Не веришь? Вот ей-богу. Вчера перед обедом положил в раздевалке в свой шкафчик, а после работы хватился, а часы-то тю-тю, нет часов.

— Украли?

— Конечно украли.

— Ой, беда-то какая!

— Ну, не такая уж беда. Хотя и жалко.

— Ну и правильно, — сказала тетя Паня. — Не расстраивайся. Конечно, жалко, но не такое это богатство, чтобы расстраиваться.

— Но все-таки жалко.

— Что же делать. Ты от этого не обеднеешь, а тот, кто часы твои взял, вот ему от них тоже счастья не будет. Ворованное ворованным и останется.

Тетя Паня задумалась о чем-то, а Балабанов курил и искоса поглядывал на дверь, через которую можно было уйти к пивному ларьку.

— Ой, как жалко! — сказала тетя Паня.

— Жалко, — согласился Балабанов и вздохнул.

— Да не тебя жалко. Подумаешь, часы у него украли! Жалко того человека, который решился на такое. Ему теперь на всю жизнь это на совести останется. Он теперь так всю жизнь и будет думать о себе: я вор.

— Ну да! — усомнился Балабанов. — Думаешь, его совесть замучает? Не поверю. Тот, кто свистнул мои часы, сейчас переживает только об одном, что часы не золотые, дорого за них никто не даст.

— Вот я и говорю, что он из-за такого пустяка совесть запачкал.

— Конечно, вот если б золотые... — сказал Балабанов. — Ну, я пойду.

— А ты куда? — всполошилась тетя Паня. — Куда пошел? А ну, иди назад!

Но Балабанов уже выскочил из проходной и быстро шел по улице к пивному ларьку. В правой руке он держал шведки, и было похоже, что он идет куда-то по делу.

Тетя Паня выбежала следом за ним и кричала:

— Вот пойдешь обратно, я тебя исколочу! Так и знай. Лучше

не возвращайся через проходную, полезай через забор. Злодей какой!

До конца рабочего дня оставалось еще минут двадцать, и оставшееся время Николай Петраков докуривал, сидя за столом дежурного водопроводчика, рядом с Соловейчиком. На этот раз он рассуждал о том, что подарок должен быть такой, чтобы не какая-нибудь безделушка, а нужная в хозяйстве вещь. Но, с другой стороны, дарить кастрюлю или хлеборезку тоже нельзя. Если человеку нужна кастрюля, он ее сам купит.

— В общем, — заключил Петраков, — дарить нужно что-то такое... — и он руками изобразил перед собой что-то круглое. — Как думаешь, прав я?

— Конечно прав.

— Тогда скажи, как ты думаешь, что можно подарить?

— Ну, подарить нужно что-нибудь такое... — и Соловейчик тоже изобразил руками подобие футбольного мяча.

— Нет, — не согласился Петраков, — нужно что-то особенное.

Разговор у них начался с того, что именно подарить Нине-компрессорщице к свадьбе. Когда кто-нибудь в цехе собирался замуж, или жениться, или получить пенсию по возрасту, то собирали со всех по полтиннику и покупали вазу для цветов. Но в том-то и дело, что уже столько передарили всяких ваз, что эти вазы стали поговоркой. Иногда можно было услышать, как один рабочий говорил другому: «Скоро, дорогой товарищ, мы тебе вазу подарим», — и это надо было понимать так, что дорогому товарищу пора или жениться, или идти на пенсию.

— Правильно говоришь, — согласился Соловейчик, — нужно что-то особенное. Но что?

Петраков поерзал по скамейке, чтоб оживить мысли, и сказал:

— Сейчас как раз есть в продаже детские кроватки. И недорого, и красиво.

— Но они еще только женятся! У них еще ребенка нет.

— Будет. Для чего они женятся? Так просто, что ли? Тогда незачем жениться.

— Ну, Петраков! Тебе только инструкции сочинять, это работа как раз по тебе.

Петраков смекнул, что сочинять инструкции — работа не грязная и умная, и не обиделся.

— А что, — сказал он, — у меня образования нет, а то бы я...

Он не успел рассказать, что бы он тогда натворил: дверь из раздевалки неожиданно распахнулась, и Балабанов предстал перед ними почти в голом виде, под лениво отвисшим животиком висели просторные черные трусы, кем-то прозванные за свою неказистость семейными.

— Мужики! — кричал он. — Вон лежат мои часы! Идите, гляньте.

Петраков и Соловейчик удивленно взглянули друг на друга, как будто каждый из них ожидал от другого пояснений, потом встали и пошли в раздевалку.

Балабанов на цыпочках подпрыгивал перед своим шкафчиком и кричал:

— Да вот же они! Вот! Вот!

Часы лежали на самом дне шкафчика. Самые обыкновенные часы, даже не золоченые, с черным ремешком.

Первым нашелся, что сказать, Соловейчик.

— Ну вот, видишь, — сказал он, — тебе же говорили, что не пропали твои часы. Кому они нужны.

— Как не пропали! — возмутился Балабанов. — Я-то их положил вот здесь, на полку. А почему, скажи, они оказались на дне, под бумагой? Почему? Как они здесь оказались?

— Но все-таки нашлись. Я и был уверен, что найдутся. Это пошутил кто-нибудь.

Молчавший до этого Петраков медленно, как бы разом все объясняя, произнес:

— А вполне могли не найтись.

И даже Соловейчик не нашелся, что возразить.

В красном уголке паросилового цеха шло профсоюзное собрание. Первым на повестке дня стоял вопрос о выполнении социалистических обязательств. Единодушно признали, что по некоторым пунктам намечается отставание. Секретарь так и записал в протоколе собрания. Потом выступил старший мастер и доложил о необходимости повысить производственную дисциплину. Он привел в пример несколько случаев, когда рабочие опаздывали на работу или даже уходили раньше времени без согласия начальства. А были случаи и вообще невыхода на работу, то есть прогула. И вот самый последний случай: компрессорщица взяла положенный ей трехдневный отпуск на устройство своей свадьбы, а вместо трех рабочих дней отгуляла пять. В заключение доклада старший мастер призвал выразить всем нарушителям наше общественное порицание, и все дружно за это проголосовали. Балабанов, фамилию которого старший мастер упомянул в своем докладе в связи с неоднократными опозданиями, тоже проголосовал за порицание, причем руку поднимал выше всех.

Когда было решено с основными вопросами, председательствующий встал и от имени всего коллектива паросилового цеха поздравил компрессорщицу со вступлением в законный брак и преподнес ей подарок: громадную куклу с голубыми волосами.

— Пусть она будет членом вашей семьи, — сказал он. — На будущее желаем, чтоб ваша семья все увеличивалась и увеличивалась.

Все долго хлопали.

— Если вопросов больше нет, то предлагаю считать собрание закрытым, — объявил председательствующий.

И вдруг со своего места поднялся Николай Петраков:

— Я хотел бы предложить на обсуждение один случай.

— Какой еще случай! Хватит обсуждать, — тихо сказал Балабанов, сидящий в заднем ряду. И, видя, что все равно все слышали его замечание, громко пояснил: — Уже домой пора. Жена решит, что я загулял.

Но Петраков продолжал:

— Неделю назад в нашей раздевалке у Балабанова пропали часы. По-моему, этот факт надо как-то обсудить, чтобы в дальнейшем подобного не случалось.

— Это верно, — согласился Балабанов. — Когда я пошел в столовую, то положил часы в шкафчик на верхнюю полку, где кепка лежит, а когда хватился...

Соловейчик, до этого молча сидевший в углу возле двери, с укором сказал ему:

— Балабанов, ведь ты сам говорил, что тебя жена дома ждет.

— Но я же трезвый был! — возразил Балабанов. — Хорошо помню, что положил часы...

— Что ты помнишь? Когда ты бываешь трезвый? — закричали с других мест. — Часы у него украли! Ни у кого не украли, а у него, видите, украли!

Председательствующий громко похлопал в ладоши, чтобы привлечь к себе внимание.

— Тише! Тише, товарищи! Давайте говорить не все сразу.

— Не о чем говорить! — опять закричал Соловейчик. — Балабанов, где твои часы? Вон, у него на руке часы. О чем тут говорить?

— Хватит! Хватит болтовню разводить! Домой пора! — опять закричали с мест.

Петраков, продолжая стоять, только молча оглядывался, и выражение лица у него было такое, как будто он понял, что опять одинок он в своем стремлении разобраться и навести порядок, — нет, с такими людьми порядка не наведешь. Он махнул рукой — ну, мол, вас, живите как хотите — и сел.

Председательствующий опять похлопал в ладоши:

— Тише, товарищи! Есть предложение считать собрание закрытым. Приступаем к голосованию. Кто за? Большинство. Кто против?

Сергей Ковалевский

* * *

Стальные батареи диких сосен
И валуны — грядой, за дотом дот...
И ветром дым сороковых относит,
И сколько лет никак не отнесет.

Вот и сейчас над выщербленным лесом,
Над рубежом, который взяли мы,
Он стелется, холодный и белесый,
Ревущим танком поднятый из тьмы.

И нет войны — и нет ее — и все же
Попробуй отрицать, что ты не рад
Тому, что бой окончен, а на коже
Лишь мелкие царапины горят.

Графа «потерь» заведомо условна...
Но и комбат уже в который раз
Обходит экипажи наши, словно
Боится он недосчитаться нас...

Мы все на месте. Мы, конечно, целы.
Заранее был вычерчен бросок.
И пулями искрошенные цели
Легли под Каннельярви на песок.

Но поднятый из тьмы, как в сорок первом,
Дым стелется, ползет из глубины...
Мы вбили танк в окоп. Но все же нервы
По-прежнему еще напряжены.

Да, сносит запах гари, сносит ветер —
За озеро, где черная вода...
Но завтра в полшестого, на рассвете,
Мы вслед за ним уйдем туда, туда...

«Остров смерти»

Сотни лет, может быть, даже тысячи лет
Омывают ветра глыбы тусклые эти...
У таких островков нет особых примет,
Серый камень на серой воде незаметен.

Здесь штормами ночными сдвигаются льды,
Здесь по скалам — тяжелые сосны крестами
Вправо, влево и вглубь — от гряды до гряды,
И туман громоздится на хвою пластами.

Нет на картах названий для этаких крох,
Пустяковый масштаб — сотня метров на двести.
Бесконечна и тягостна смена эпох,
Ни зверью, ни жилью этот край не известен.

Но как горько ни складывались бы слова,
Рыбаки — побратимы всезнающих чаек —
Вдоль границы разбросанные острова
По суровым законам людским помечают.

Словно камень о камень — скупее нет слов,
И затем, даже здесь, на отшибе от прочих,
«Остров смерти» надвинется вдруг, а весло
Проскребет по гранитному выступу ночи.

И тогда прорастут под сплетенье корней
В глубину — номерного концлагеря ниши...
Вот и нам эта горькая весть о войне,
Нам, которым, казалось, и отзвук не слышен.

Мы плитой и звездою отметин не ждем.
И названье, и скалы достаточно вески.
Все вокруг занавешено плотным дождем,
Даже волны — и те застывают на всплеске.

Никогда и никем не считались вовек
Монументы ушедшим, тем более эти...

Ты молчишь? Ты и будешь молчать, человек,
Все доскажет крупа ледяная и ветер...

Оять

Километров восемьдесят лесом,
Глухоманью, разом не объять,
И низиной высверкнет белесо
Тронутая холодом Оять.

Деревеньки — три избы да выгон,
Левый берег — сосны да песок.
У излуки тонким плесом выгнет
Глинистых уступов поясок.

Где-то там, в дороге, и застанет
Маленький автобус тишина...
Будет над рассветными кустами
Дымка на ветру обожжена.

И отсюда тропка узкой нитью
Вдруг потянет в изморозь ольхи...
Подчинись природе и наитью
И ступи на высохшие мхи.

Этой тропкой, глиной темно-желтой,
Может быть, лет сто тебе идти...
Неужели все-таки нашел ты,
Где начало долгого пути?

Важинка

Снег холмы и низинки сглаживал,
Речкой Важинкой гостевал,
Потемневшие к ночи Важины
Затуманивал, застилал...

Я снежинки ладонью взвешивал,
Сосняками бродил окрест,
Говорят, здесь встречают лешего,
Старожила присвирских мест.

Что до лешего, мне неведомо.
Но бывает, что до весны
Точат когти о сосны медные
Грязно-бурые шатуны.

И вчера сын хозяйский вежливо
Предлагал потревожить след. . .
Ну, по мне лучше встретить лешего,
Говорят, что он стар и слеп.

А серьезно — бродил я Важинкой,
Лед потрескивал в камышах,
И казалась такой отважною
Городская моя душа. . .

Лариса Володимерова

* * *

Рассмеюсь при тебе —
не заметишь.
Упаду при тебе —
не заметишь.
Про тебя закричу —
обернешься!

Так не стану кричать.

* * *

Мой ангел хромающий
прыгал через забор
в соседские яблони,
где ябеда пес
на одного
соображал валерьянку,
надеясь влюбить
в себя
полосатую кошку.

* * *

Сверчок,
электроскрипка
всю ночь проплачет
одиноко,
глупо,
как на эстраде
для толпы чужой.
— Да и своя толпа
не понимает. . .

Евгений Туинов

Сыч

Нашу школу в городе называли «казармой».

За железными воротами тянулся серый и голый, похожий на плац, школьный двор. И ни деревца не росло на этом плоском долгом пространстве, ограниченном двухэтажными стенами цвета застиранной гимнастерки. Само здание было приземистым и длинным, с окнами без наличников, точно с глазами без ресниц. Другим своим вытянутым боком школа выходила на Трамвайный переулок, где, плотно схваченные с обеих сторон булыжником, лежали посередине старые, пропадающие от бесполезности и ржавчины трамвайные рельсы.

Я помню время, когда рельсы были нужными, накатанными до сиреневого блеска, а мама, провожая в школу, говорила мне:

— Не катайся на колбасе! Еще раз узнаю, отцу скажу. Выпорет!

Но отец меня не порол, потому что они с мамой были в разводе. Отец приходил часто, приносил мне сладости и удалялся с мамой на кухню решать вечный вопрос о своем возвращении в семью.

Еще помню, как всей школой мы хоронили мальчика по имени Александр. Его задавило трамваем: зазевалась вагоновожатая. И Сыч тогда шел за гробом, поддерживая его плачущую мать, и плакал сам. Это был единственный раз, когда я видел слезы у Сыча на глазах.

Мальчик Александр в раннем детстве перенес какую-то болезнь и ходил после нее на костылях. Из-за костылей и еще из-за очков мы считали его очень умным и чуждым нашим мальчишеским забавам. Только теперь я, кажется, понимаю, как и ему хотелось побегать от кондукторов и вагоновожатых и проехаться, уцепившись за трамвай, зажав портфель в зубах. Мальчику Алек-

сандру, наверное, не хватало нашего азарта, ощущения опасности и риска.

Давно трамвайный парк перенесли на окраину города, и рельсы в переулке ржавеют от своей ненужности.

Два раза в году, за месяц перед Первым мая и Седьмым ноября, нас выводили классами во двор и гоняли туда-сюда строевым шагом. Это называли маршировками.

Школьный завуч Марк Исаакович Кац, по прозвищу Маркиз, орал в белый жестяной рупор:

— Р-р-рыс, два-ы... Р-р-рыс, два-ы... Л-левой, л-левой...

Мы лупили подошвами об асфальт, стараясь разглядеть грудь четвертого по счету соседа справа. Разлетались вдребезги лужицы под ногами. И во всех вселялся единый, монотонный, бездумный дух строя и порядка.

Рассказывали, что Марк Исаакович был отставным майором. Выглядел он грозно и смешно. Грозно, потому что по школьным коридорам носился стремительный, пружинистый, стройный. Черные блестящие глаза его смотрели поверх наших голов, но все замечали придирчиво и раздраженно. Голос часто срывался на крик. Казалось, он каждый день встает не с той ноги, поэтому глубокая темная складка на лбу между сросшимися бровями никогда не сглаживалась. Он и смеялся как-то нервно, болезненно, так, что угреватый ястребиный нос еще свирепее загибался кончиком вниз, а смуглый глянцевый лоб с острыми залысинами покрывался свекольными пятнами.

Смешным его делали губы — толстые, фиолетовые и какие-то пористые. Если смотреть на них сбоку, казалось, что Марк Исаакович вот-вот готов был чмокнуть кого-то в щеку. На верхней губе у него была такая же несглаживаемая складка, как и на лбу. Он даже губами хмурился.

В тот год весна пришла поздно. Воздух был студен, легок и чист. Только что сошел лед с Оки и Орлика, а в классах распустились ветки тополя и вербы, принесенные загодя и поставленные в молочные бутылки с водой. Родители уже договорились на своем собрании, кому из них мыть окна и выставлять зимние рамы. Была середина апреля, и мы кончали седьмой класс.

С неделю нас уже выводили после уроков заниматься шагистикой. Но это было так — пристрелка. Вместо Марка Исааковича командовал нами учитель физкультуры Юрий Львович Боровиков. Он был широкоплеч и сутул. Волосы курчавились и упругим черным каракулем обрамляли мужественное загорелое лицо. Юрий Львович и зимой ходил без шапки. Вообще-то, он был строгим, но мы знали, что маршировки ему обременительны. Юрий Львович дважды был чемпионом области по боксу и считал себя настоящим спортсменом. Если у него на уроках кто-ни-

будь делал то, чего нельзя было делать, Юрий Львович грозил указательным пальцем и говорил:

— Щас с левой как притараню!..

Когда не действовали слова, он подходил к провинившемуся и резко, не давая опомниться, отпускал подзатыльник. Такие подзатыльники Юрий Львович называл «волжаночками». Было не больно, но стыдно, потому что удар сопровождался таким треском и последующим гулом, точно не по голове били, а по пустому чемодану. И волосы потом вставали дыбом.

Юрий Львович вразвалку прогуливался вслед за нашими рядами и командовал без рупора:

— Раз, два... Левой, левой...

Рупор он держал под мышкой и иногда постукивал по нему пальцами.

Когда мы шли к воротам, то видели свои портфели, сваленные кучей вдоль глухой стены. На обратном пути видели окна школы и подвергались безответному унижению дежурных из других классов, которые строили рожи и передразнивали наши движения. Иногда, — это были старшеклассники, — они кидали в нас через форточки мелкие кусочки мела.

— Раз, два... — заунывно считал Юрий Львович, глядя себе под ноги.

Я маршировал во второй шеренге между Сашкой Панченко и Наташей Турлай. Мы были почти одинакового роста. Я видел, как при каждом шаге вздрагивала Сашкина щека, покрытая белым пушком, и подпрыгивал белобрысый чуб. Ухо его было малиновым. Сашка дышал ровно, как паровоз на хорошем ходу. Захотелось сделать ему подножку. Я оживился от этой мысли, но, вспомнив, что положенный для шагистики час начался недавно и даже не перевалил за середину, заскучал. Я подумал о том, что Первое мая не скоро, а маршировать мы будем дольше и усерднее; что для демонстрации предстоит собираться в школе часам к семи утра; что потом, расставив по шеренгам, нам раздадут флаги и ветки с настоящими клейкими листьями и бумажными цветами, прикрученными проволокой; что самым рослым старшеклассникам вручат нести впереди колонны транспарант с номером школы; что понтонный мост через Оку будет скрипеть, плавно покачиваться и всхлипывать под нами, а после начнется подъем по булыжной мостовой в гору, между ветхими домиками, сараями, заборами; что задолго до трибуны нас будут то останавливать, то подтягивать бегом; что воздушные шарики будут скрежетать от трения между собой и часто лопаться, неожиданно и звонко, как поцелуй в ухо, так, что сначала вздрагиваешь и зажмуриваешься, а потом с опаской открываешь глаза и видишь сморщенный лоскуток на нитке; что на балконах украшенных флагами и транспарантами домов обязательно бу-

дут торчать веселые люди; что на площади мы выровняемся, подтянемся, возьмем интервал и переложим свой отчеканенный Маркизом шаг на музыку военного оркестра, а мужчина в шляпе, один из многих, стоящих на трибуне, будет кричать сквозь почти несмолкаемое «ура» все новые и новые приветствия; что, миновав площадь, оглохшие ото всех сразу звуков, измученные собственным старанием, мы уже не в ногу возвратимся в школу, чтобы сдать флаги, транспаранты и прочий инвентарь до следующей демонстрации; что вообще-то самый лучший праздник — это Новый год...

— Раз, два... Раз, два, три... Стой! Кругом! Шагом марш. Подтянись. Раз, два... Левой...

Мне захотелось есть. Сашка Панченко совсем покраснел от натуги и прилежности.

— Сколько времени? — спросил я у Наташи Турлай.

Часы в седьмом классе носить не позволяли, поэтому ей пришлось чуть ли не до локтя задрать рукав пальто, расстегнуть кнопки на манжете платья и лишь тогда взглянуть на спрятанные высоко на руке часы.

— Пятнадцать минут осталось...

С Наташей мы сидели за одной партой. В классе считали, что у нас любовь и прочая там канитель, потому что после уроков нас часто видели вместе. Мне даже пришлось подраться с Генкой Макарычевым, который безответно претендовал на Наташу и трепался об этом по поводу и без повода.

Как-то под конец занятий Генка подошел ко мне со своим приятелем Серегой Лопусевым, по прозвищу Лопух, и сказал:

— Я хочу с тобой за Натаху поговорить!

Поговорить вовсе не значило обменяться фразами. Поговорить у нас ходили на стройку, через дорогу от школы. Я сказал Генке, что нам не о чем говорить, так как между мной и Наташей просто дружба, все равно что с любым мальчишкой. Но Генка, переглянувшись с Лопухом, заявил:

— Раз я говорю, значит, надо!

— Зря ты... — хлопнул я его по плечу.

— Завязывай руками махаться! — оттолкнул меня Генка.

Лопух тоже надвинулся.

— Во-во!.. — сказал он грозно и состроил зверскую рожу.

— Чтоб я тебя с ней не видел!.. — обнаглел Генка. — Посек?!

— Ладно... — сказал я. — Будем говорить...

После этого я нашел Шурика и Колю — мы дружили втроем — и отправился с ними на стройку.

На разговоры обычно собирались все мальчишки из класса. Так было и в тот раз. Нам с Генкой освободили место.

— Ногами деретесь? — поинтересовался Лопух.

Мы с Генкой переглянулись, оценивая возможности друг друга, и одновременно согласились:

— Нет!

Вмешался Шурик:

— Значит, только кулаками. И ничего с земли не поднимать!

Мы с Генкой опять посмотрели друг другу в глаза и уже молча кивнули друг другу.

Когда после разговора мы отмывались у колонки, я с удовольствием отметил, что левый глаз у Генки заплывает и делается фиолетовым, а из носа течет кровь. У меня была шишка на лбу. Еще разнесло верхнюю губу. Однако ребята считали, что победил я и Генке крепко перепало. Лопух суетливо прикладывал к Генкиному носу мокрый платок и ворчливо грозился, что в следующий раз сам займется мною. Но я знал, что он трус, и сказал ему об этом. Лопух показал мне вслед кулак.

Каким-то таинственным образом классная руководительница Тамара Николаевна всегда в подробностях знала содержание наших разговоров на стройке. Нас с Генкой она на следующий же день отругала и написала замечания в дневники.

От Наташи мне тоже влетело, но по тому, как она ненароком улыбалась, отчитывая меня, я понял, что она довольна. Я давно заметил, что девчонкам нравится, когда из-за них дерутся.

Самое смешное, что у нас с Наташей действительно ничего не было. Просто я посредничал между ней и Сашкой Плаховым с нашего двора. Они через меня обменивались записками, а после встречались и даже ходили в кино.

Марк Исаакович появился неожиданно, пронесся ястребом через двор и взял рупор у Юрия Львовича. На маршировках он общался со всеми только с помощью рупора.

— Р-р-рыс, два-ы... Р-р-рыс, два-ы... Стой! Кру-угом! Смир-р-рна-а! Контр-рольный пр-роход. Юр-рий Львович, вы наблюдаете сзади, я — сбоку. Пр-ройдете хор-рошо — по домам. Р-р-равнение на-пр-р-раво-а! Шигам ар-р-рш!..

Снова я видел пунцовую Сашкину щеку, вздрагивающую, словно пугающуюся литых одновременных ударов сорока пар башмаков по асфальту.

— Дер-р-ржать дистанцию! Р-р-рыс, два-ы...

Где-то на середине контрольного прохода щека у Сашки сделалась синюшной и покрылась белыми точечками мурашек. Чуб уже не взлетал в такт шагам, а прилип к мокрому бледному его лбу. Я почувствовал, что вдоль моего позвоночника скатываются прохладные щекочущие ручейки. Затекли плотно прижатые к туловищу руки.

— Р-р-рыс... Р-р-рыс...

Не знаю, как это вышло. Я проморгал начало. Может быть, Сашка Панченко переусердствовал? Я увидел уже, что он ткнул-

ся носом в спину впереди идущего, все еще держа руки по швам, что засеменили его ноги, сбившись со счета, и он издал виноватый хриплый вздох:

— О-о-ох-х...

Потом он выправился, нашел ритм, но те, что шли следом, так и не смогли оправиться от столкновения. Это было слышно.

Когда остановились, все тревожно и обреченно уставились на Марка Исааковича. Он молчал, хмурил брови, смотрел, как всегда, поверх наших голов. Обе складки его лица — на лбу и на верхней губе — стали свирепее и глубже.

— Юр-рий Львович, — наконец прорычал он в рупор, — еще полчаса упр-ражнений! Они глину месят, а не пер-ред тр-р-рибуной идут. Продолжайте!

И тут появился Сыч. Он был маленького роста, поэтому стоял в задней шеренге. Сыч спокойно, не обращая ни на кого внимания, поплелся, насвистывая, к куче портфелей. Я удивился, что он вообще среди нас. Сыч был из тех, которых еще держали в нашей образцовой школе, хотя постоянно грозили выгнать. Он мог в самый разгар урока встать из-за парты и прошаркать к выходу. И если учителя удосуживались полюбопытствовать, куда это он намылился, Сыч или вовсе молчал, или честно признавался:

— Покурить...

Мы тут же начинали смеяться. Тогда Сыч оборачивался и говорил:

— Извините, но сил моих больше нет!..

Так же невозмутимо, покурив, он возвращался и усаживался на свое место у окна. На уроках Сыч любил глазеть на улицу.

Впрочем, не на всех уроках... На математике и физике Сыч себе такого не позволял. Там его будто подменяли, и он внимательно слушал, тянул руку, чтобы ответить первым, и даже смел поспорить с учителем. За это наша математичка Надежда Тихоновна в нем души не чаяла, а преподаватель физики Сергей Викторович прощал ему все другие грехи и вслух сокрушался: как это могут в одном человеке уживаться куча пороков и такая добродетель?! Под добродетелью Сергей Викторович, конечно, подразумевал любовь Сыча к точным наукам.

А когда я однажды относил в учительскую наглядные пособия по зоологии, то стал свидетелем очень любопытного спора между Тамарой Николаевной и Сергеем Викторовичем.

Наша классная ругала Сыча почем зря за то, что тот прогуливает, а физик страдальчески прикладывал руки к сердцу и поминутно перебивал ее.

— Этот мальчик!.. Этот Сычев!.. — взахлеб лепетал он в приливе восторга и несогласия с Тамарой Николаевной. — Мы его просто не понимаем!.. Вы его не понимаете!.. Он такой

нестандартный! .. Так свежо, так необычно мыслит! .. А вы говорите, что он олух... Это, может быть, он у вас олух...

На этом Сергей Викторович замялся и замолчал, заметив меня. Их спора я так и не дослушал.

Тамара Николаевна имела в виду, говоря о прогулах Сыча, те случаи, когда кто-нибудь из учителей не выдерживал Сычевой нестандартности и выгонял его с урока. Тогда Сыч не появлялся в школе неделями. И всегда его приход в школу после таких вот перерывов был в нашем классе событием. Я знал, что мальчишки завидовали его смелости и раскрепощенности. Я тоже завидовал.

Когда Сыч вытаскивал из груды портфелей свою худосочную папочку, раздался жестяной голос Марка Исааковича:

— Куда, Сычев?

Зря Маркиз задавал этот вопрос, потому что после Сычева ответа поднялся такой хохот!

Сыч сказал:

— Домой...

Мне капельку жалко стало Марка Исааковича. Его залысины заострились, покрылись пятнами, а нос зло и обиженно скрючился. Марк Исаакович вдруг сорвался, чего и вовсе не следовало делать в общении с Сычом, и заорал в рупор:

— Кто тебя отпускал? Вер-р-рнись!

Сыч продолжал, не оборачиваясь, шаркать к воротам. Он держал папочку под мышкой, руки в карманах пальто и сутулился, как маленький старичок.

— Я кому пр-р-риказал?! — ревел уже Марк Исаакович.

Сыч остановился, развернулся всем телом, и его веснушчатое белое лицо расползлось в ехидной улыбочке. Он всегда так щерился, прежде чем выкинуть что-нибудь дерзкое.

— Не кричите, пожалуйста, — сказал Сыч негромко, но все его слышали. — Мне надоело пылить здесь. Глаза щиплет. А дома хорошо!

Марк Исаакович аж почернел.

— Что-о-о? .. — сдавленным от гнева шепотом спросил он через рупор и зачем-то взглянул на наши шеренги.

Мы притихли, боясь шелохнуться, но внутренне вздрагивая от переполнявшего нас, едва сдерживаемого хохота. Мы были правильными детьми и хорошо помнили, что можно, а чего нельзя.

— Есть хочу, — объяснил Сыч. — И курить.

Марк Исаакович даже рупор ото рта отнял и беспомощно опустил руки.

Тогда Сыч добавил, обращаясь к нам:

— А вам что, нравится? Хлюпики, кто со мной?

— Тоже мне — герой! .. — прошептал Сашка Панченко.

Мысленно я рванулся было из строя, но ноги остались верными общей упорядоченной скованности. Было так тихо, что заломило в переносице. Я решил, что я и вправду хлюпик, и покраснел.

Кто-то усмехнулся совсем рядом, сбоку от меня. Я вздрогнул и резко обернулся. Юрий Львович стоял, заложив руки за спину, и исподлобья смотрел на меня.

Ноги мои пошли. Сначала на месте, а после понесли меня из строя, мимо застывших шеренг, мимо Марка Исааковича с опущенным рупором, в сторону сваленных у стены портфелей.

— Ты-то куда?..— с усталым раздражением, как-то даже, как мне показалось, растерянно прохрипел Марк Исаакович.

— Я тоже...

Марк Исаакович быстро пришел в себя:

— Назад! В стр-р-рой, Колмаков!

Но я уже видел улыбающуюся физиономию Сыча. Ноги несли к ней, как к маяку.

— Возьми портфель,— посоветовал Сыч, когда я приблизился.

Я так и сделал.

— Погоди-ка!..— оглядел Сыч сомкнутые шеренги, словно что забыл там.— Я сейчас...

Он не спеша подошел к Юрию Львовичу, встал на цыпочки и зашептал ему что-то на ухо.

Марк Исаакович нервно посмотрел на часы. Делал он это всегда особенно — высоко поднимал локоть и одновременно резким движением высвобождал часы из-под манжеты рубашки. Затем сердито жмурился, потому что был близорук, и, разглядев циферблат, так же резко опускал руку.

Юрий Львович наклонился, чтобы лучше слышать. Сыч показал рукой в сторону школьных ворот. Юрий Львович замотал головой, не соглашаясь с чем-то. Упругие завитки его волос не шелохнулись. Снова Сыч стал доказывать что-то свое. Он уже размахивал свободной рукой, пританцовывая на цыпочках. Лицо Юрия Львовича было непроницаемо. Сыч замолчал и посмотрел на него снизу вверх выжидательно. Тогда Юрий Львович распрямился и громко, растягивая слова и глядя поверх головы Сыча на Марка Исааковича, сказал:

— Собрался уходить — катись! Других не задерживай. Моя бы воля!..

Левая рука Юрия Львовича сжалась в кулак.

— Дело ваше...— пожал Сыч плечами, отвернулся и зашагал ко мне.

Мы направились к воротам, вон со школьного двора.

— Колмаков, без р-родителей в школу не пр-р-риходи! — напутствовал Марк Исаакович.

На мой вопрос, о чем был у них с Юрием Львовичем разговор, Сыч не ответил.

Только позже я узнал кое-что от Наташи Турлай. Она стояла рядом и слышала.

Оказалось, Юрий Львович курил. Но, наверное, он настолько боялся потерять репутацию настоящего спортсмена, что занимался этим втайне ото всех, на стройке, через дорогу от школы. Может быть, он и себе не мог до конца признаться, что никакой он уже не спортсмен, если курит?

А Сыч, видимо, выследил его или случайно заметил.

Так вот, Наташа рассказала, что, подойдя к Юрию Львовичу, Сыч шепотом заявил, будто бы знает, где тот прятал сигареты, и уже выкурил без разрешения начатую пачку, а две оставшиеся перепрятал в другое место. По всей видимости, после этого-то сообщения Юрий Львович и наклонился к Сычу, заинтересовавшись. А Сыч предложил ему пойти вместе с ним и обещал показать, куда переложены сигареты. Юрий Львович отказался. Сыч согласился, что не обязательно это делать сразу, пускай марширует. Можно пойти и потом. Он даже заверил Юрия Львовича в том, что сигареты лежат в надежном сухом укрытии и кроме него, Сыча, никто их не найдет. На это, как я слышал, Юрий Львович посоветовал катиться подобру-поздорову.

Все происшедшее со мной на маршировке за какие-то полчаса было совсем не похоже на прежнюю мою жизнь. Я ничего не замечал вокруг. Голова кипела отрывочными, смелыми, отчаянными мыслями. То я думал, как ко всему отнесутся мать с отцом; то мечтал, чтобы Сыч предложил мне удрать из дома куда-нибудь далеко-далеко; то представлял победное лицо Марка Исааковича, когда мы с мамой будем стоять у него в кабинете; то хотел забросить портфель в Оку и потопить камнями с берега.

Сыч что-то говорил, выпуская клубы папиросного дыма, тут же рвущиеся и тающие у нас за спинами. А я отвечал ему что-то, не слыша собственных слов. И еще я решил, что никогда больше не буду ходить на маршировки...

Сыч с силой рванул меня за руку. Красный трамвай, дребезжа сигнальным звонком, пронесся в полуметре от моего лица. Кожу обдало волной плотного осязаемого воздуха. Трамвай погромыхал дальше, и в его дрожащем смотровом зеркальце сбоку я различил испуганное и растерянное лицо вагоновожатой.

— Дурак! — крикнул Сыч. — Обалдел, что ли?!

Я обернулся. Его лицо было бледнее обычного, а веснушки сделались отчетливее и многочисленнее.

Сыч потянул меня на тротуар, все еще больно сжимая руку выше локтя. Он выругался и, поставив ногу на урну, стал вытирать пустой пачкой из-под папирос грязь на ботинке. Вероятно, это я наступил, когда он дернул меня от трамвая.

— Прости... — сказал я, краснея, и признался: — Что-то в голову вступило.

— Вступило, вступило... — беззлобно уже ворчал Сыч, поплевывая на носок ботинка. — Сашку Панкрата, помнишь, хоронили?..

Я вспомнил, что много раз видел Сыча и мальчика Александра вместе, да как-то не придавал этому значения. Сыч еще носил его портфель.

Тогда меня удивляла их дружба. Что общего имели маленький калека и известный на всю школу ослушник и шкодник? Разве что — чувство одиночества?..

Мы поднимались по улице Пушкина, а навстречу, вдоль тротуара, скатывался мутный ручей, размалеванный бензинными пятнами и несущий на своих крошечных тягучих волнах окурки, гнилые веточки, прошлогодние листья, обгорелые спички. Обрывки промасленных тряпок волочились, то и дело застревая на булыжнике мостовой и создавая запруды.

Сыч рассказал, что мальчик Александр решал задачи по физике и математике из учебников для старшеклассников, что дома у него был аквариум на двенадцать ведер с водорослями, улитками, гротиками, желтым песком и всевозможными рыбками. Мальчик Александр мечтал жить у моря. А когда его схоронили, родители разбили аквариум и роздали рыбок, чтобы не вспоминать.

Мы свернули в грязный узкий переулок, по обе стороны которого вросли в набухшую от талой воды землю серые деревянные домики с палисадниками под окнами. Сыч шел осторожно, как кот, старательно задирая ноги и делая аккуратные рассчитанные прыжки с одного сухого места на другое. Часто он останавливался, мысленно прокладывая предстоящую дорогу, оборачивался, ища меня глазами, и, прижав покрепче папочку, продолжал путь.

Наконец мы преодолели тесный проход между двумя дощатыми заборами и очутились на сухом асфальте улицы Московской. Здесь Сыч хорошенько оббил от неминуемой грязи ботинки, закурил и как-то приосанился.

— Заскочим на минуту? — кивнул он на большой дом с высокой, в два этажа, аркой. — Знакомая у меня тут. Дело есть...

Мы поднялись на третий этаж по каменной лестнице. На крашенной синей краской панели было выцарапано:

«Вера — дура!»

Я ухмыльнулся, показывая Сычу на надпись.

— Сами они дураки! — раздраженно буркнул он, останавливаясь возле одной из дверей и прикуривая погасшую папиросу.

На звонок открыла женщина, молодая, с красивыми бегающими глазами. Она посмотрела на меня, на Сыча, опять на меня и улыбнулась.

— Здравствуйте, тетя Юля! — сказал Сыч, вынув папиросу изо рта.

— Здравствуйте... Здравствуйте... — как мне показалось, растерянно пробормотала тетя Юля и шире растворила дверь. Улыбка на ее лице на мгновение увяла, но тут же снова расцвела. Только теперь тетя Юля улыбалась как-то натянуто, через силу. — Проходите... Разувайтесь...

— Мы не помешали? — поинтересовался Сыч, снимая пальто.

Тетя Юля пододвинула нам тапочки.

— Как мама? — спросила она Сыча.

— Наверное, дома, — Сыч расшнуровывал ботинки. — А мы шли мимо... Заскочили...

«Хорошенькое мимо!.. — подумал я. — Такой крюк сделали...»

Тетя Юля провела нас в комнату и усадила в кресла. Потом, извинившись, зачем-то вышла. Сыч встал, подошел к окну и затушил папиросу. Стеклянная пепельница стояла на подоконнике. Я разглядывал свое отражение в черном глянцевом брюхе пианино.

— Мы здесь надолго? — спросил я, когда мне надоело это занятие.

Сыч меня не слышал.

Я повторил вопрос.

— А? — вздрогнув, отозвался он. — Да нет... Не знаю... Я сейчас ничего не знаю...

Мне показалось, что Сыч покраснел, но разобрать этого толком я не смог. Сыч стоял у окна, на фоне яркого неба. Его фигура рисовалась почти силуэтом, и цвета лица не было видно.

— Хотите чаю? — появилась тетя Юля.

Теперь она улыбалась свободно и даже как-то снисходительно.

Я обрадовался чаю, но Сыч сказал вдруг:

— Мне надо поговорить с вами.

— Со мной? — удивилась тетя Юля.

Красивые черные ее брови изогнулись капризно.

— А что тут такого? — подошел к ней Сыч, и я увидел, что уши его горят.

— Нет... Ничего... — помрачнела тетя Юля.

— Выйдем в другую комнату, — предложил Сыч. — Хотелось бы наедине...

В это мгновение Сыч выглядел неожиданно собранным, резким, порывистым. Ноги его не стояли на месте, а как-то пружинисто переступали из стороны в сторону. Сыч был похож на прыгуна в высоту, готовящегося к борьбе с планкой.

— Какая разница? — опасливо улыбнулась тетя Юля, отступая назад и загораживая собой дверь. — Здесь... Там... Саша, ты какой-то странный сегодня!

Но Сыч будто не замечал нежелания тети Юли уходить из комнаты.

— Нужно! — решительно заявил он и, прошмыгнув мимо настороженной тети Юли, юркнул в коридор.

Тетя Юля кинулась следом. Дверь осталась открытой.

— Саша, прекрати свои загадки! Зачем?.. — раздраженный, капризный голос тети Юли ничего хорошего не предвещал.

— Вот здесь и поговорим... — голос Сыча дрогнул. Очевидно, не хватило Сычу решительности.

Потом наступила тишина, недолгая, но томительная. Секунда, две, три... Руки мои вцепились в подлокотники кресла. Побелели ногти от напряжения. Я чувствовал, что Сыч затеял что-то даже для него не совсем обычное, может быть опасное, но пока не понимал что и сильно волновался за него.

— Здравствуйте... — услышал я потерянный, слабый голос Сыча.

Но тут же голос его окреп, сделался почти железным, холодным, как у Марка Исааковича, когда тот рычал в свой рупор:

— Нам надо поговорить с тетей Юлей! Наедине! Разве непонятно? — рыкнул Сыч. — Вы нам мешаете!..

Там был кто-то третий. Кто?

— Конечно, конечно... — насмешливо сказал третий. Это был мужчина. — Я выйду, и вы поговорите. Что же делать, если надо?..

Шаги приблизились, и в комнату, где я сидел, вошел парень с ухоженной рыжей бородкой. Он подмигнул мне и, разведя руками, сказал:

— Такие пироги, старик...

Я встал ему навстречу.

— Пошли на кухню чай пить? Это, кажется, надолго... — обратился он ко мне, будто мы уже были давно знакомы. — Как тебя, кстати, зовут, старина? — спохватился он. — Меня Гришей...

Я представился.

Проходя мимо комнаты, где находились Сыч с тетей Юлей, я разглядел через неприкрытую дверь Сыча. Он стоял в профиль ко мне. Лицо его было красным и сосредоточенным. Что-то шепотом говорила ему тетя Юля, но слов нельзя было разобрать. К тому же Гриша, шедший за мной следом, тут же прихлопнул дверь. И уже ничего не стало слышно.

Гриша усадил меня на кухне в самый укромный уголок, между белым обшарпанным буфетом и столом, покрытым старым шерстяным одеялом. На столе стоял носом кверху утюг, и шнур от него спускался до пола. Кипел на плите зеленый эмалированный чайник.

Гриша по-хозяйски надел желтый клеенчатый передник, свер-

нул одеяло со стола, составил утюг на подоконник и стал заваривать чай.

— Юля гладить собиралась... — пробормотал он, споласкивая кипящей водой фарфоровый чайничек и насыпая в него заварку.

Я кивнул.

Гриша залил чайничек кипятком и сел напротив меня за стол. Мы помолчали, глядя друг на друга. Но вдруг Гришу прорвало. Он затараторил что-то необязательное, что-то о том, что чай — полезный, хорошо утоляющий жажду напиток, еще про сосуды сердца и мозга, про работоспособность и общий обмен веществ...

— Да, старик, чай — это тебе не кофе! — говорил он. — Кофе напиток грубый. А чай, если это цейлонский или индийский!.. Я тебе сейчас заварю, сам попробуешь! — и ни с того ни с сего спросил: — Вы с Сашей одноклассники?

— Да.

— У него прекрасная мама, — сказал Гриша и принялся нарезать хлеб и мазать его маслом.

Я не знал матери Сыча, поэтому промолчал.

— Шесть минут прошло, — зачем-то посмотрел Гриша на часы, что висели над холодильником. Это были ходики с гирьками на цепочках. — Ты, старик, вприкуску или как все? Я сахар имею в виду...

— Как все, — сказал я.

Гриша разлил чай по чашкам, придвинул ко мне тарелку с бутербродами.

— Когда чай сладкий, — назидательно объяснил он, — не слышно его аромата. На Чукотке заваривают сразу три пачки чая на трехлитровый чайник и пьют без сахара... Я там шабашил два лета.

— Что такое шабашил? — спросил я.

Гриша не ответил. Он вдруг привстал с табуретки, перегнулся через стол ко мне и тихо спросил, изобразив на лице нечто таинственно-комическое:

— Не знаешь, что там задумал твой дружок?

Я разглядел его бородку близко. Волосок в ней был уложен к волоску, аккуратно до приторности. На носу у Гриши красовался такой же аккуратный красный прыщик. Прыщик был маленький, блестящий.

Гриша нетерпеливо тоненько хохотнул, словно заблеял. Щеки его зарумянились, залоснились в улыбке. И даже прыщик как будто тоже еще сильнее засиял. Я подумал, что Гриша похож на него, на свой прыщик.

— Не знаешь?.. — переспросил Гриша все с той же таинственной ухмылкой. — А я, кажется, догадываюсь!.. Он Юле в любви объясняется! Я давно заметил, как Саша на нее смотрит... Странно

как-то... Ревностно. Ты понимаешь, старик, что такое — ревностно? Ну да — неважно! Неужели твой дружок думает, что Юля к нему может относиться как-то иначе, чем как к сыну своей подруги, как к школьнику?.. Скажи ему, что он ошибается... Что он смешон, наконец!

Гриша, кажется, начинал злиться.

— В самом деле, старик... — зашептал он уже сердито. — Ей двадцать лет... А ему сколько? Сколько, я тебя спрашиваю?!

Я промолчал, потому что мне ужасно не нравился этот Гриша и было обидно за Сыча.

— Ему четырнадцать!.. Или пятнадцать... — перешел Гриша с шепота на крик. — А туда же мне!.. «Вы нам мешаете...» — передразнил он Сыча. — «Нам наедине нужно поговорить!..» От горшка два вершка! А ты что не ешь ничего?

Мне так захотелось чем-нибудь поддеть Гришу, что я встал и выпалил:

— Не хочу я ваши бутерброды! И чай не хочу вприкуску! И как все не хочу!..

Тут в кухню стремительно вошел Сыч, и я не успел посмотреть, как подействовали на Гришу мои слова. Лицо у Сыча было свекольного цвета. Я только заметил боковым зрением, что Гриша опустился на табуретку.

— Пошли отсюда! — сказал мне Сыч.

— А как же чай? — сдерживая смех, спросил Гриша.

Сыч подошел к столу, открыл крышечку заварочного чайника, понюхал поднявшийся пар и сказал:

— Чай расширяет сосуды. Так, кажется, вы всегда говорите? Он тебя уже просветил, — обратился Сыч ко мне, — что лучше всего цейлонский, а уж на крайний случай — индийский?..

Мне стало смешно, потому что Гришину улыбочку как ветром сдуло. Он стал мрачным, и какая-то мелкая, мстительная гримаска скользнула по его лицу.

— Он сказал, что шабашил на Чукотке, — в тон Сычу проговорил я. — А что такое шабашить, не объяснил...

— И что чай там ведрами глушат? — уточнил Сыч. — Так это Андрей Палыч рассказывал. Что же вы, Гриша, присваиваете чужие слова?

Гриша покраснел, и теперь его прыщик совсем нельзя было отличить. Он слился по цвету с красным Гришиным лицом.

В коридоре стояла задумчивая тетя Юля. Она улыбалась чему-то своему, глядя застывшими глазами в одну точку. Я проследил за направлением ее взгляда и уткнулся в одежную щетку, висевшую на стене.

Мы с Сычом обулись и оделись. Появился из кухни Гриша в переднике и с чашкой в руке. Он уже оправился, остыл, побледнел. Выражение его лица было зверским.

Открыв дверь, Сыч пропустил меня вперед.

— До свидания, — сказал я тете Юле.

Она промолчала.

И тут случилось неожиданное. Сыч подскочил к тете Юле, которая все еще пребывала в томной задумчивости, сложив руки на груди, встал на цыпочки и поцеловал ее в щеку.

— Саша! . . . — испуганно вскрикнула тетя Юля, но мы уже были на лестничной клетке.

Мельком я успел посмотреть на Гришу. Чай из наклоненной чашки проливался ему на передник, на брюки.

Тетя Юля захлопнула дверь.

Спускаясь, Сыч заметил чье-то умозаключение: «Вера — дура!» — и остановился. Он порылся в карманах пальто, достал гвоздь и нацарапал рядом:

«. . . и Юля тоже!»

Лишь на улице сошла краска с его лица и проступили веснушки.

Сыч жил с матерью в двухкомнатной квартире недалеко от железнодорожного вокзала. У них был большой тростниковый кот с сиреневыми глазами, который так и не дал мне себя погладить. Он с птичьей легкостью взлетел с пола на диван, с дивана на бельевой шкаф и вообще вел себя самостоятельно и непокорно, как и его хозяин. Впрочем, у такого кота и хозяина-то было трудно предположить. Он всем видом своим говорил, что живет сам по себе. Кота звали собачьим именем Тобик. Сыч объяснил, что кота ему подарил друг их семьи Андрей Павлович, привез из очередной поездки. Я так и не понял, кем был этот Андрей Павлович по профессии, а спросить не решился.

— Ма, мы ушли с маршировки, — сказал Сыч матери после нашего с ней знакомства. — Дай поесть.

Я думал, обедать будем на кухне, но Антонина Павловна накрыла в комнате. Все было чинно, торжественно, как в ресторане, когда родители брали меня с собой. Только там мама то и дело шикала на меня за то, что я неправильно себя вел. Здесь мамы не было, а ресторанные мои познания ограничивались тем, что вилку почему-то, видимо для большей чопорности и неудобства, надо держать в левой, а нож в правой руке до тех пор, пока не кончишь есть. Больше ничего я не вспомнил и стал наблюдать за Сычом.

Тот на удивление лихо обходился со столовыми приборами. Борщ исчезал у него во рту бесшумно ложка за ложкой, тогда как я свистел, булькал и чавкал. Мне было стыдно, но я ничего не мог поделать. А как Сыч съел салат, лучше и не вспоми-

нать. Потому что с моей вилки лук и нарезанные листья салата все норовили соскользнуть на скатерть. Что там норовили — они только и делали, что соскальзывали, оставляя на белой скатерти жирные пятна сметаны. Я краснел, лепетал что-то, даже один раз попробовал слизать упавшую зелень. Пришлось оставить салат недоеденным. Сыч как будто не замечал моих мучений, и от этого было легче. В моих руках массивные серебряные ложка, вилка и нож выглядели, наверное, неповоротливее набухших гребных весел.

— Вообще-то ты мне давно нравишься, — заявил Сыч доверительно. — Ты не трус! Я видел, как вы с Генкой Макарычевым дрались. Он ведь здоровый...

Антонина Павловна вышла на кухню, и я спросил:

— Мать знает, что ты иногда не ходишь в школу?

— Привыкла. Ма, что на второе?

— Утка, — крикнула Антонина Павловна.

Мы с Сычом уплетали борщ со сметаной. Возможно, из-за обилия салфеток, тарелок и тарелочек, из-за того, что мы сидели вдвоем за большим овальным столом и все сильно смахивало на ресторан, мне показалось, что вкуснее борща я в жизни не ел. А тут еще намаялись с этой дурацкой шагистикой...

С уткой все обошлось просто. Мне понравилось, что ее надо есть руками.

Антонина Павловна сидела на диване и беспрестанно курила папиросу за папиросой. Дым поднимался и уплывал в открытую форточку. Диван был какой-то особенный, с гнутыми ножками, с резным деревянным ободком по спинке. Такой или наподобие я видел в городском краеведческом музее. Мебель в квартире Сыча была старинная. Я это сразу отметил, как вошел.

— Саша, ты сегодня бледный, — сказала Антонина Павловна неожиданно громко.

Я совсем забыл, что Сыча зовут Сашей. Сыч да Сыч... Но теперь он был таким домашним, что это звучало естественно. Сашей его, конечно, называли и тетя Юля, и Гриша, но они произносили его имя скороговоркой, и звучало оно в их устах все равно что — Сыч. А Антонина Павловна сказала с теплом и тревогой в голосе.

— Я рыжий, — усмехнулся Сыч, — на мне не видно бледности.

— Ты плохо растешь, потому что куришь, — сделала вывод Антонина Павловна и закашлялась. — Вы курите, Виктор?

Я ответил, что не курю, и покраснел. Ко мне обращались на «вы» второй раз в жизни. Первым был одноногий тирщик Никитыч. Его тир размещался в старом автобусе на спущенных колесах у кинотеатра «Победа».

«Задерживайте дыхание, молодой человек, когда на спусковой крючок нажимаете, — сказал мне тирщик, когда я пришел к нему в первый раз. — Берите под яблочко».

Тогда я тоже покраснел, так как считал обращение к себе на «вы» чем-то непристойным. «Что такое яблочко?» — спросил я тогда, чтобы замять неловкость.

Позже я узнал, что Никитыч ко всем обращается на «вы», и успокоился.

— Поэтому вы на голову выше Саши, — заключила Антонина Павловна.

Сыч вытер губы салфеткой.

— Спасибо, — сказал он матери. — Мы пойдем гулять.

— На улице, кажется, свежо, — сказала Антонина Павловна. — Надень кашне, Саша. И возьми с собой ключ. Я забегу к тете Юле и, возможно, останусь ночевать у Андрея Палыча...

— Тетя Юля умерла! — зло выпалил Сыч и весь подобрался, спружинился на стуле. Его губы распрямились в узкую бледно-розовую полоску.

Антонина Павловна, принявшаяся было убирать со стола, поставила поднос с посудой и испытующе взглянула на Сыча.

— Нехорошо так шутить, Саша... — сказала она, видимо совсем не уверенная в том, что Сыч шутит.

— Ее уже нет! — выдавил Сыч сквозь стиснутые зубы. — Нет! Нет!.. Там не пробиться! Там теперь заправляет этот Гриша. В фартуке...

— О, господи!.. — выдохнула Антонина Павловна, опускаясь на диван. — И сон мне сегодня был... Плохой...

Она вдруг вскочила, побежала в прихожую, зачем-то вернулась, хромая в одной туфле, стала рыться в бельевом шкафу.

— Ты понимаешь, что говоришь? — почему-то посмотрела на меня Антонина Павловна. — Что же ты сразу не сказал? Как пришел?..

Сыч молчал, и я отвел взгляд.

Кот Тобик созерцал происходящее безучастными сиреневыми глазами.

Антонина Павловна снова кинулась в прихожую и через минуту появилась уже одетая, с клетчатым зонтиком в руках.

— Прощайте, мальчики... — выпалила она, задыхаясь. — Бегу!

— До свидания... — промямлил я, краснея. Для меня все эти слова, беготня, причитания были не совсем понятны. Было в них что-то стыдное. А главное, Сыч так сказал матери про тетю Юлю, что даже я на мгновение поверил, что она умерла. Или у них там была еще одна тетя Юля?

Сыч кивнул матери, не поднимая головы.

Антонина Павловна забыла закрыть наружную дверь, и сквозняком подняло занавески на окне. Слышно было, как каблуки

пробарабанили по ступенькам и громыхнула дверь парадной внизу. Кот спрыгнул со шкафа на диван, с дивана на пол и уверенно, с независимым видом направился в прихожую. Вероятно, решил податься на улицу.

— Пошли и мы... — сказал Сыч устало и поднялся из-за неубранного стола. — Портфель тут оставь. После заберешь.

Когда мы одевались, я спросил:

— Зачем ты наврал?

— Но ведь ее нет! — вскрикнул Сыч. — Правда, нет! Понимаешь?

Он с ожесточением начал зашнуровывать ботинки. Я заметил, что пальцы его дрожали. Он долго возился, и я, уже одетый, стоял в ожидании. Он вдруг поднял голову и как-то просительно посмотрел мне в глаза. Я даже растерялся от этого взгляда.

— Ты уже любил кого-нибудь? — спросил Сыч, сидя на корточках. — По-настоящему?..

Я пожал плечами, потому что не знал, что ему ответить.

— Любил? — спросил Сыч настойчивее.

— Маму... — сказал я.

— А-а-а... — отмахнулся он. — Я не о том!

Мы отправились на вокзал смотреть, как маневровый паровоз собирает вагоны в состав. Нашу железную дорогу давно электрифицировали, и черные, измученные одышкой паровозы трудились только в пределах станции.

Сыч сел на корточки на еще не совсем просохшем пригорке и закурил. Пальцы его по-прежнему дрожали, и он долго не мог попасть концом папиросы в трепетное спичечное пламя.

— Будешь? — мрачно спросил Сыч, щурясь от дыма.

Я отказался.

Когда мне было шесть лет и отец еще жил с нами, я уже пробовал курить. Отец предложил сам, заметив, что я с интересом поглядываю на его папиросы.

— Это гадость, — сморщился он. — Можешь проверить.

Я решил проверить.

Отец объяснил, что надо выпустить весь воздух из легких, зажать в губах папиросу и втянуть дым.

Я даже не закашлялся, как обычно рассказывают, а тихо сел на пол и тут же стравил только что съеденный обед. Когда о случившемся узнала мама, в доме состоялся очередной скандал. Но отец оказался прав, — я до двадцати лет терпеть не мог табачного дыма.

Паровоз, скрытый от нас составами и станционными постройками, толкал вагоны, и они почти бесшумно катились под горку, разбегались по разным путям, чтобы неожиданно и пронзительно, с трескучим ступенчатым эхом столкнуться с другими ваго-

нами и стать звеном угрюмой грязно-коричневой цепи. К месту сцепления подходил рабочий в оранжевой фуфайке и громыхал какими-то железяками.

Я чувствовал, что Сыч мается чем-то, но спрашивать не решился. Он сам начал, неожиданно и некстати, — просто глухо забубнил что-то, не глядя на меня. Только сосредоточившись, я вник в смысл его слов.

Оказалось, тетя Юля год назад подружилась с матерью Сыча. Она была студенткой и приносила Антонине Павловне что-то перепечатывать на машинке. И Сыч втюрился в нее по уши.

— Всего на шесть лет старше меня... — пробурчал он, попыхивая папиросой.

И вот сначала у нее никого не было, и Сыч ходил к ней почти каждый день. Тетя Юля здорово разбиралась в математике и физике, потому что училась в машиностроительном институте. Сыч даже с ее помощью стал подбираться к высшей математике. Но потом появились ее однокурсники, а главное — какой-то Петя. Тетя Юля перестала заниматься с Сычом. Потом Петя исчез. Сыч снова зачастил к ней. Но не тут-то было!.. На прошлой неделе, когда они с матерью и Андреем Павловичем пришли к тете Юле в гости, застали уже этого Гришу с рыжей бородкой. Гриша работал в газете и сильно этим гордился. Правда, перед Андреем Павловичем, который объездил весь белый свет, он сник, но это ничего не спасало. Тетя Юля смотрела на Гришу широко раскрытыми глазами. Сыч понял, что у них все только начинается, поэтому решил опередить Гришу, объясниться. Да все никак не мог отважиться...

— Опоздал... — заключил он, вставая, выбросил окурок на шпалы и сплюнул сквозь зубы. — Мне не везет... Пошли к паровозу.

Машинист был седой, засаленный и чумазый и казался частью большой шумной машины. Мы приблизились, и он махнул Сычу рукой. Потом крикнул что-то, но голос растворился в шипении, скрежете и хрипе. Возле паровоза было страшно. Сыч взял меня за руку и потащил к лесенке, ведущей в будку. Поручни, за которые я хватался, поднимаясь вслед за Сычом, оказались маслянистыми, скользкими и отполированными, точно из никеля. Внутри еще один прокопченный коренастый человек, значительно моложе машиниста, швырял совковой лопатой мелкий уголь в разинутую пасть топки. Казалось, он с ложки кормит ненасытное разъяренное чудовище, и если на мгновение прекратится эта трапеза, произойдет нечто ужасное и смертельное, вроде землетрясения. Пламя в топке было красно-зеленым, и свежие угольки прощально мерцали, отбрасывая своими гранями этот зловещий утробный свет.

Машинист протянул нам серую руку, и мы с Сычом по очереди пожали ее. Рука, как и поручни, покрыта была тонким слоем масла и тоже выскальзывала.

— Лешка! — крикнул машинист. — Уймись.

Отставив лопату, парень улыбнулся нам. Сверкнули его белые зубы на смуглом чумазом лице.

Огненная пасть топки захлопнулась, но внутри нее продолжалось напряженное тревожное урчание.

Лешка крикнул Сычу на ухо:

— Привет, рыжий! Друга привел?

Сыч кивнул.

— Страшно? — спросил меня машинист.

Я отрицательно замотал головой.

— Чего ж застыл и побелел весь?

— Гудит! — скосился я на топку.

— Живая! — крикнул машинист и потрепал волосы на моей голове.

Сыч взял лопату и, нажав педаль внизу, открыл топку. Лопата была велика, и ручка ее торчала из-под мышки. Сыч стал кидать уголь. Все выходило у него ловко и даже изящно. Сыч был своим среди этих больших, чумазых, бесстрашных людей.

Я приблизился к топке, и ноги обдало жаром. Лешка достал откуда-то медный чайник и пил прямо из носика, подставляя рот под тоненькую витую струйку. Машинист, высунувшись в окно, на ощупь нажимал, подкручивал, отпускал разные блестящие рычаги, краны и вентили.

Мы съездили на другие пути, подхватили несколько вагонов и повезли впереди себя. Высунувшись в другое окно, я увидел, как дым валит из широкой трубы, а тень от него рваными пятнами мчится, не поспевает за нами по шпалам соседнего пути. Паровоз остановился, и дальний вагон стал быстро уменьшаться в размерах, убегая от нас под горку. Мы подали назад и снова вперед. Еще один вагон отделился в момент остановки и побежал уже по другой ветке. Сцепщик в оранжевой фуфайке с флажком в руке спрыгнул с последнего вагона на землю и, зажав флажок под мышкой, стал закуривать.

— Нравится? — спросил, наклонившись, Лешка.

— Во! — показал я большой палец.

Машинист остановил паровоз, и они с Лешкой сошли на землю покурить и размять ноги. Машина утробно гудела и временами вздыхала, выбрасывая клапанами небольшие порции пара. Мы с Сычом остались в будке. Честно говоря, я хотел тоже выйти, но Сыч задержал меня за руку, и пришлось сесть на лавочку под окошком.

— А хочешь, вдвоем поедем? — спросил Сыч отчаянным голосом.

— Не надо, Сыч! — вскочил я с лавки. — Влетит...

— А-а-а!.. — Сыч воровато зыркнул в окошко на седого машиниста, Лешку и сцепщика, которые расположились на штабелях черно-бурых, пропитанных битумом шпал. — Была не была! Смотри-и-и!..

Паровоз затрясся, выдохнул под колеса тугое непроницаемо-белое облако и тронулся с места. Побагровев от напряжения, Сыч тянул на себя рычаг и одновременно другой рукой нажимал на блестящую рукоятку. Я рухнул на лавку, вцепился руками в ее края и заорал что было мочи что-то непонятное и страшное.

Облако осталось позади и быстро таяло. Из него выскочил Лешка. Паровоз набирал ход. Завибрировала лавка подо мной, уши заложило. Но Лешка все-таки сокращал расстояние и неумолимо приближался. Я орал на одной ноте. Сыч смотрел вперед. Его рыжий чуб встал козырьком под напором встречного воздуха. Сузились глаза.

Лешка вскочил на подножку, подтянулся на поручнях, поднялся в будку и, оттолкнув Сыча, кинулся к рычагам управления. Я перестал орать. Движение замедлилось, прекратилась вибрация. Затихло шипевшее, гудевшее, скрежетавшее старое тело паровоза. Машина стала, тяжело отдуваясь клапанами после неожиданного пробега.

— Сволочь ты, рыжий! — крикнул Лешка, оскалив зубы. — Какого черта машину уродуешь? На манометр погляди, на манометр!.. Давление под завязку!..

Сыч стоял опустив голову. А я-то плохо о нем сначала подумал, решил, что он теперь убежит. Сыч не двигался с места.

— Малого вон перепугал, — кивнул Лешка на меня. — Спросить не мог? Тебе что, запрещали тут много?

Машинист тяжело поднялся по ступенькам, молча подошел к Сычу и влепил ему подзатыльник. Сыч вздрогнул, но головы не поднял.

— Больше не приходи! — сказал машинист и закашлялся.

Обойдя паровоз сзади, мы поплелись через пути к зданию вокзала. На мои вопросы Сыч не отвечал и глядел себе под ноги. Так и дошли до его дома.

Сыч открыл дверь, и тут же откуда-то снизу появился Тобик. Он опередил нас и, задрав хвост, прошествовал в квартиру.

В комнате стрекотала пишущая машинка, но, когда Сыч прихлопнул дверь, она смолкла.

Антонина Павловна вышла в прихожую.

— Мальчики? — спросила она дрожащим голосом. — Проходите, Виктор. У меня срочная работа подвернулась... Но Саша вас накормит...

Я сказал, что тороплюсь, что мама, наверное, волнуется, и взял с пола портфель.

— Ма... — сказал Сыч глухо, не поднимая головы, — ты прости меня за сегодняшнее. Я не нарочно...

— Саша, я просто не заметила, что ты вырос. Господи, все повторяется... Все повторяется.

Антонина Павловна всхлипнула, достала из рукава халата маленький кружевной платочек и промокнула глаза.

— Простите, Виктор... — сказала она торопливо и ушла в комнату.

Сыч проводил меня до остановки автобуса. Не знаю почему, но мне очень захотелось побыстрее уехать, оказаться дома, а там — будь что будет. Я понял, что устал от Сыча.

— Где твой отец, Сыч? — спросил я, чтобы не молчать.

— Не знаю. Может, его вообще не было?.. У меня Андрей Палыч...

Мы больше не разговаривали.

— Пока... — сказал Сыч, когда подошел мой автобус.

Я помахал рукой уже со ступенек.

Ирина Моисеева

* * *

Как прожить, не считая чужого
Или собственного не тая?
Разве вправе потребовать я
Однозначного честного слова?

Разве так уж мой голос заметен,
Чтоб бояться мне чьих-то затей?
Я уверена: в мире без сплетен
Жить безрадостней, чем без страстей

Посидеть, ни о чем посудачить,
Дорогое свое потолочь.
Что-то белою ночью назначить!
То, что вычеркнуть в черную ночь.

* * *

Все знаю я о нем,
Но радоваться рано.
Заговорю — запнусь на пустяке.
Проснусь, а он стоит
У той стены, где рама,
То в темном облаке,
То в светлом пиджаке.

* * *

Что ни день — да пройдет этот день.
Что ни час — минет нас эта чаша.
Да падет пресловутая тень
На бесценные головы наши.

Да воздастся добром за добро,
Всех мерзавцев погубит простуда.
Расточаем свое серебро,
А берем неизвестно откуда.

* * *

Сольный вечер выходит мне боком,
Не желает сбываться судьбой.
Разве женщина может пророком
Быть, когда и самою собой
Не решается? Кажется, рано,
Все отхлынет и перегорит.
Ищет выгоды или обмана,
А сама о любви говорит.

* * *

Оранжевый закат.
Густо-зеленый лес.
Никто не виноват,
Что в нас вселился бес.
Никто не виноват,
Что лес перегорел.
Никто не виноват,
Что бес переболел.

* * *

Кто как от шаблона спасется.
Я знаю, что вечно свежа
Высокая тема банкротства!
И мелкая суть платежа.

Марина Взорова

Бег

Наконец раздевалка опустела, ушла и Кира, а Алла по-прежнему сидела, откинувшись на спинку кресла, положив на стул и слегка массируя ноги. Хотелось расслабиться до предела, ни о чем не думать, чтобы выйти на дорожку с легкими мышцами и чистой головой. Не удавалось. Слишком тяжело дался ей предварительный забег. Внутри затаилась тупая, каменная усталость. Непрошеные мысли лезли в голову. Она вспоминала, какой была раздевалка десять лет назад. Знала, что нельзя отвлекаться перед стартом, и все-таки вспоминала.

Тогда они с Кирой переодевались среди обшарпанных скамеек, стульев с продавленными сиденьями. Душ работал только холодный. Им было все равно. Впервые они выступали на самом большом в городе, знаменитом стадионе. Ради этого их сняли с уроков — послали в школу письмо на блестящей белой бумаге с орденами. Они сразу стали важными персонами. Мальчишки без разговоров уступали дорогу в коридоре, смотрели вслед.

Теперь здесь удобные кресла, шкафчики чистые, выкрашены веселой краской, душевые отделаны голубым кафелем, а в буфете можно выпить чашку двойного кофе. Сервис.

В тот раз, кое-как натянув потрепанные костюмы, они с Кирой разломили пополам толстую плитку шоколада, назывался «Золотой якорь». Кирина мама говорила, что это самый лучший шоколад, он придает силы. Кирина мама всегда болела за них, и сама по себе она тоже болела. Алла не помнила чем. Когда бы Алла ни пришла к Кире, ее мама лежала в постели. Потом она умерла.

Усердно двигая челюстями, они съели шоколад и вышли на поле, которому полагалось быть зеленым. Оно было серым. Накрапывал дождь. Они не замечали. Играл духовой оркестр. Му-

зыканты надували щеки, и по щекам скатывались капли дождя. Было торжественно, незнакомо и страшно.

Бежали детскую дистанцию — шестьдесят метров. Стартовые колодки выдали разные, металлические и деревянные. Допотопные. Алла деревянные не любила. Они ставились на дорожку без крепления, и при старте кто-нибудь придерживал их сзади ногой, чтобы не отъехали от толчка. Этот «кто-нибудь» вечно забывал о своих обязанностях. Деревянные достались Кире. Алла взяла металлические и долго качалась на них, рискуя подвернуть ступню, пока шипы со скрежетом не вонзились в черную крошащуюся гарь.

Пистолет им слышать не приходилось, и Кира застряла на старте («я все ждала, чтобы прошел звон в ушах»). Когда звон прошел, остальные пробежали половину дистанции. Алла от выстрела взвилась, скользнула ногой по мокрой колодке и, потеряв равновесие, едва не растянулась посреди дорожки, но устояла чудом и кинулась вдогонку. Куда там. Во рту пересохло от страха и шоколада, нога подозрительно хрустела, и, примчавшись (как она полагала) к финишу, Алла не застала на месте судьи, записывающего результаты. Он уже спрятался от дождя под трибуну. Сзади бежала только Кира.

На несколько лет они с Кирой разошлись. Алла училась в девятом классе, Кире нужно было зарабатывать. Тренировались порознь, выступали за разные общества, но в сборной снова оказались вместе, у тренера Рябинина.

Они специализировались на средних и длинных дистанциях и всегда финишировали в одном порядке, как будто тем осенним днем повернулся ключ в машине, срабатывающей безошибочно. Новым было то, что из хвоста забега обе переместились в начало.

«Забег выиграла Алла Скобелева».

Сколько раз над стадионом разносились эти слова. Скобелева не могла не выиграть. В самой фамилии ее звучала победа.

«Второй пришла Кира Тимохина».

У каждой была своя тактика. Алла со старта вырывалась вперед и не позволяла соперницам приблизиться, финишируя в одиночестве.

Кира бежала в основной группе, второй или третьей, и лишь на последней прямой мощным толчком выбрасывала тело из-за чужих спин и, неправдоподобно удлиняя шаги, устремлялась к финишу, почти догоняя и никогда не ровняясь с Аллой.

— Тебе бы Аллину выносливость, а ей твою мощь, — вздыхал Рябинин, — цены бы вам не было.

— Нам и так цены нет, — говорила Алла.

Себе она цену знала, знала, как трудно быть первой, не прячась и не приспосабливаясь, задавая темп, вытягивая на лучший результат остальных. Но и цена Киры была высокой, рывком

она могла обогнать любую. Алла привыкла к тому, что Кира на финише страхует сзади, и, выступая без нее, не чувствовала такой уверенности.

Кире и в самом деле чего-то не хватало, чтобы побеждать. Никто не мог определить, чего именно.

Рябинин говорил — спортивного характера, а Алла думала, что секрет прост — первой может быть только одна, и, поскольку существует она, Кирино место — второе.

У Аллы характера хватило бы на двоих. За характером следовала удача. Надежная удача. Алла побеждала так часто, что ее спрашивали:

— Миссис Скобелева, не надоело ли вам быть первой?

— Нет. И не надоест. Я жадная.

Репортер иностранного журнала написал потом, что «Скобелева побеждает только потому, что никому не хочет отдать своей победы». Доля правды в этом была.

— Не вредит ли постоянная настроенность на первенство вашей личной жизни? Какие отношения у вас в семье, с друзьями?

Алла смеется:

— О, я очень добра вне стадиона («я женщина слабая, беззащитная»), но муж мне подчиняется (ничего другого ему не остается).

Кокетничала Алла с удовольствием.

— О чем вы думаете, когда бежите? Два круга тянутся долго. Вам не скучно?

На совсем глупые вопросы Алла не отвечала. Не объяснять же каждому, что на дистанции за тебя думает твое тело и скучать ему некогда.

В коридоре послышались шаги, низкий говор, шарканье. Кончился мужской забег. Мужчины любили эту дистанцию, им она казалась короткой. Алла же предпочитала четыреста метров, но результаты на более длинных были лучше, а конкуренция меньше. Собственно, в сборной только Кира могла с ней бороться.

Алла спустила ноги на пол, переменила позу. Полнее расслабиться. Сделаться тестом, без ощущений, без мыслей, без желаний, чтобы на разминке вылепить из себя то, что нужно.

«Ноги мягкие, мягкие, мягкие», — стала внушать она. Внушалось плохо. Алла закрыла глаза. Она знала, в чем тут дело, и дело было несложное — к началу соревнований ей не удалось войти в форму. То ли потому, что соревнования с июля перенесли на начало лета, то ли последнее время она слишком много тренировалась, — результаты были средние. Для нее средние. Какая-нибудь перворазрядница, жадно следящая украдкой, как Алла разминается у прыжковой ямы, могла только мечтать о них.

Впервые за много лет Алла не получала удовольствия от бега. Движения были прежними, за свою технику она не краснела, но полета не ощущалось, дорожка казалась жесткой, ноги свинцовыми, даже голова потяжелела, словно в ней прибавилось мыслей.

— Тебе не выиграть финала, — сказал вчера Рябинин. — Не сможешь уйти в отрыв. Формы нет. Это я виноват.

Будто легче оттого, что он взял вину на себя. Добренький. А зачем ей такая доброта? Как он смел не поверить в нее после стольких побед? Теперь она просто обязана выиграть. И сможет. Если сильно захотеть, все возможно, так учили в детстве, Нужно лишь удачно размяться, чуть-чуть, чтобы мышцы сделались теплыми и послушными, но не устали. Выиграла же она предварительный забег, правда среди соперниц не было ни Киры, ни длинноногой итальянки Лючии — Джеммы, они попали в другую группу. Итальянка опасна. Алла познакомилась с ней два года назад на чемпионате Европы. С тех пор Джемма повзрослела и стала еще красивее. Единственная женщина, которую украшал бег. Глядя, как она летит над дорожкой, с развевающимися черными волосами, далеко выбрасывая вперед ноги, Алла вспоминала картинку из школьного учебника истории, изображавшую древнегреческих бегунов. Учить историю дома было некогда, Алла возила учебник на соревнования и вместе с Кирой читала в раздевалке. Обе они хотели бегать, как греки на этой картинке.

Джемма славилась молниеносным рывком, не оставлявшим надежд соперницам, но отнимавшим много сил, поэтому первую половину дистанции бежала небыстро, даже лениво. «Изнеженная южанка», — думала Алла, однако не могла не любоваться Джеммой. Сама Алла оба круга шла на высокой скорости, рассчитывая на свою, успевшую стать легендарной, выносливость, за которую иностранцы прозвали ее «русской лошадкой».

Борясь с дистанцией один на один, она, не жалея, тратила казавшиеся безграничными силы, в то время как остальные берегли их, пристраиваясь за спинами друг друга. Между ней и группой существовало силовое поле, всякое изменение в его напряженности Алла чувствовала спиной. Никто не мог приблизиться незаметно. Она изучала тактику соперниц, просматривая видеозаписи каждых соревнований. Главным для нее на дистанции было — не прозевать чужого броска. Большинство стремилось увеличить скорость на предпоследней прямой (надеясь за полкруга догнать ее), менее выносливые — чуть позже, на выходе из виража. И те и другие, если вовремя заметить, не представляли большой опасности, финальные восемьдесят метров Алла могла бежать как спринтер. Тренеры сборной не раз предлагали ей перейти выступать на стометровку, но она отказывалась, потому что на короткой дистанции не успевала ощутить борьбы и своего бес-

спорного лидерства, своего труда и усталости. Без этого победа казалась неполной.

Алла не согласилась бы отдать из нее ни одного камешка. Ей необходимо было любопытное спокойствие трибун в начале забега и нарастающий неудержимо рев, когда одновременно с соперницами или чуть позже их она начинает последний рывок, и видит перед собой пустое пространство в восемь дорожек, и знает, что пройдет его первой, и чувствует, как сзади приближаются тени, как делают отчаянные усилия, от которых могут разорваться мышцы, как сверху видно, что они очень торопятся и бегут быстрее, но догнать ее не могут, будто что-то невидимое мешает им приблизиться, и, пересекая белую черту, она вскидывает вверх руки, отдавая остатки сил, и, уже ничего не видя и не слыша, окунается в грохот аплодисментов, вбирая их телом, и ради этого мгновения можно отказаться от всего.

Потом руки безвольно опускаются, виснут на поясе, и Алла идет, не думая куда, лишь бы двигаться, грудь вздымается, от дыхания больно, ноги тяжелые, налиты замедляющей бег кровью, а сердце колотится, словно еще бежит, и хочется упасть сейчас же и никогда не вставать.

Но она идет и смотрит в землю, не имея сил отвернуться от назойливых кинокамер, слушает витающее в воздухе, среди гаснущих аплодисментов, свое имя, и одной рукой обнимает Киру, которая, догнав ее за финишем, поздравляет первая и целует.

А потом — горячий душ, и кресло в раздевалке, и блаженная, блаженная усталость, и внутренняя легкость, когда кажется, что паришь над землей, а на самом деле едва передвигаешь ноги.

Все это было победой.

Однако побеждала Алла не всегда. Случалось и раньше выступать не в лучшей форме, и, зная, что не готова, она не лезла вперед, держалась в середине забега, уступая первенство другим, смиряя самолюбие. Бежала для команды. И это не было поражением, просто собственная победа переносилась на следующий раз. Алла не сомневалась, что возьмет свое.

Такие неизбежные послабления дозволялись на мелких соревнованиях. Все было рассчитано на сезон вперед — когда бороться за победу, а когда добывать очки.

План тренировок Алла составляла самостоятельно. Здесь был вопрос престижа и доверия самой себе. Она закончила физкультурный институт и продолжала учиться в аспирантуре. Рябинин не вмешивался, признавая ее теоретические способности, наблюдал со стороны, время от времени давая советы, всегда приходящиеся кстати.

Теперь и Рябинин оказался бессилен. Удача изменила Алле. Именно в родном городе, на стадионе, где все так знакомо и все ее знает и помнит, даже бледное небо и флаги, хлопающие на ветру. Проиграть здесь невозможно.

На старте Алла замешкалась, что бывало редко, и не сумела убежать вперед. Место у бровки пришлось занимать с боем.

Затылок давило чужое дыхание. Сразу за ней, плотно вбивая ступни в тартан, шла Кира, чуть дальше, по второй дорожке, похоже, уже намечая бросок, итальянка. Джемма не имела постоянной тактики, импровизировала на ходу, бороться с ней было трудно. Иногда она любила увеличить скорость в конце первого круга и уйти как можно дальше от группы, делая запас на финиш, иногда держалась в хвосте до последнего виража. Сейчас, видя отсутствие лидера, она явно хотела стать им сама.

Ничего не выйдет. Алла ускорила темп. Кира с Джеммой не отставали. Бежали слаженно, в ногу, дышали в одно дыхание. Будто сговорились.

Совсем с ума сошла, подругу подозреваю. Нужно оторваться. Вести их за собой — значит, проиграть.

Алла рванулась слишком резко и сбила дыхание. Ноги потяжелели. Спокойнее. Глубоко дышать. Не все потеряно. Сил еще много. Не думать. Уходить постепенно, шаг за шагом, широко, свободно... Не получается. Ноги не бегут. Двое сзади как привязаны. Не уйти. Позор. Но так не может быть. Не может быть, чтобы она проиграла. Разве она плохо бежит? Нужно убавить скорость, сберечь силы. Победа важнее результата. Все равно за ее спиной они сберегут силы лучше, на финише обойдут. Или раньше. Запаса нет. Не выиграть. Конечно. Прав был Рябинин. Зачем тогда возглавлять бег? От нее ждут победы. Отойти назад. Спрятаться. Все поймут. Может ведь она себя плохо почувствовать?

Кто же выиграет? Кира? Робкая, стеснительная Кира? Это не для нее. Она не сумеет быть победительницей. Можно ли представить, что Кира бежит по дорожке, гордо вскинув руки? Абсурд. Ей не нужно победы, она не привыкла. И забег вести не сможет, а если поведет, не хватит сил на финиш.

Кто же тогда? Джемма? Невозможно. Мы два года не проигрываем этой дистанции. Значит, Кира, больше некому. Надо остаться. За ее спиной Кира сохранит силы. Но и Джемма тоже сохранит и сделает рывок раньше. Ей удобнее обгонять.

Алла вошла во второй вираж и краем глаза увидела, что Кира приотстала — она всегда неважно брала виражи. Выгодный момент. Сейчас Джемма начнет обгон. Через пятьдесят метров, сорок, тридцать... Кира не сможет броситься следом, потому что Алла загораживает путь.

Дорожка, плавно закругляясь, переходила в прямую. Пора. Усилием воли Алла заставила себя прибавить скорость, сдвинулась вправо и оказалась прямо перед Джеммой. От перебоя ритма заколотилось сердце. Обгонит? Нет, не рискует. Удивлена. Еще бы, освободить ни с того ни с сего первую дорожку. Пока она соображает, что бы это значило, успеть добраться до следующего виража. Никогда не бегалось так трудно. Успела. Теперь не страшно. На вираже по третьей дорожке обходить не станет. А если хочет, пусть попробует. Она хорошая бегунья.

Джемма не пробовала. Бежала по пятам, не выходя вперед и не отставая. За левым плечом шла Кира, Алла чувствовала щекой частые толчки Кириного дыхания. Первая дорожка была свободна для нее. Метров через двести самое позднее нужно отрываться. Кира должна выиграть. Поймет ли она?

Снова прямая. Когда же они кончатся? Может, уже лишний круг? Последнее ускорение отняло силы. Ноги едва поднимаются над дорожкой. Грудь распирает воздух, который не выдохнуть. Непонятно, с какой скоростью она бежит. Кажется, очень медленно. Все перепуталось. Ориентиры потеряны. Не сосредоточиться. Перестала ощущать свое тело. Только тяжесть в нем. Движение невыносимо. Ноги не хотят. Ничто в ней не хочет бежать.

Вираж. Вошла слишком круто. Занесло. Два раза споткнулась. Качнулась перед глазами зеленая кромка поля. Не упала. Все еще первая?

Мягко приблизилась тень слева. Наверно, Кира. Нет сил посмотреть. Поравнялась. Обходит. Ушла вперед. Молодец.

Прямая. Новая тень над дорожкой. Желтая майка. Джемма. Идет рядом. Дышит громко. Волосы развеваются. Задевает локтем. Уходит. Не упускать. Прийти третьей. Быстрее. Тело неуправляемо. Не заставить. В глазах ничего. Воздуха. По какой дорожке я бегу? Обходят и справа и слева. Не могу больше. Только бы добежать. Не могу совсем. Финиш. Белая черта под ногами. Боль.

По инерции Алла бежит дальше и оседает, но не на землю, а на кого-то. Кира. Ее руки. Красная майка. Все.

Скользкие капли падают на щеку. Плачет. Кира плачет. Почему? Она же выиграла. Они выиграли.

Аллу усаживают на траву. Не сидит. Валится навзничь. Трава теплая. Слышен стрекот кинокамер. Наплевать.

«С новым всесоюзным рекордом победу одержала Кира Тимохина», — разносится над стадионом. Голос, знакомый с детства.

Кира что-то говорит ей, трогает за руку. Колени припекает солнце. Боль в груди успокаивается, можно дышать. Кирин голос отчетлив, но смысл слов не доходит. Обволакивает тепло. Тело тяжелое. Давит на землю лопатками, затылком и почему-то пятка-

ми. Пахнет травой, как в лесу, на поляне. Она не замечала этого раньше.

Она приоткрывает глаза и видит небо. Руки раскинуты. Хорошо. Никогда она не сделает ни одного движения. Будет лежать вечно.

Что за топот возникает рядом? Ах, это другой забег. Бегут. Ну-ну. Она-то уж больше не побежит. Нет.

На лицо падает тень.

— М-м, — слабым голосом мычит Алла. — Отдайте солнце.

Тень исчезает. Алла улыбается. Она загорает. Очень устала. Часа два уже они с Кирой тренируются вдвоем на маленьком, заросшем бурьяном стадионе, и вот легли отдохнуть. Где-то трещат кузнечики. Никого нет. Тренер ушел, ребята разъехались. Лето. Каникулы. Когда это было?

Кира все еще бормочет рядом. Счастливая. Всесоюзный рекорд. Выходит, я не так уж плохо вела забег.

— Вставай, — говорит Кира и тянет ее за плечи, — вставай, простудишься.

Алла не возражает против того, чтобы сесть, если кто-нибудь посадит. Майка насквозь мокрая. Зябко. Не очнувшись от полудремы, она с помощью Киры встает на четвереньки, выпрямляется. Внутри все дрожит. Трибуны покачиваются. Она повисает на Кире и идет, осторожно ступая неслушающимися ногами, удивляясь, как Кира выдерживает.

Со всех сторон подходят, жмут руки. Знакомые, незнакомые, вовсе чужие. Зачем они мне жмут? Ах да, у Киры ведь руки заняты: она меня держит. Но все равно, почему мне?

Возле судейского столика Рябинин. Видеть его не хочется. Злой, должно быть. Нет, улыбается. Хлопает Аллу по спине так, что бедная Кира склоняется до земли. Потом молча подхватывает и взваливает себе на плечо. Голова кружится, Алла закрывает глаза. Со стороны, наверно, Рябинин похож на грузчика в южном порту, несущего на плече мешок, например с кофе. Вот бы сейчас чашечку.

— Снесите меня в буфет, — говорит она.

— Хорошо, — отвечает он серьезно.

Вокруг смех.

Первый раз ее несут с поля на руках.

Ирина Михайловская

* * *

Под перевернутой лодкой удобно.
Нас трое — мальчишка, собака и я.
Над нами дождище выплясывал дробно.
Мальчишка — салага. Собака — ничья.

А рядом залив громыхал и кидался
На камни, на лодки, на ржавый песок,
Слизнуть чей-то брошенный мячик пытался,
И вскоре слизнул и к себе уволок.

А дождь покрывал все вокруг, словно козырь,
И наша непрочная лодка была
Средь этого моря грозы и угрозы —
Как маленький остров любви и тепла.

Мальчишка влюбленно глядел на собаку,
Собака блаженно виляла хвостом.
Глаза их угадывая в полумраке,
Я думала с тихой любовью о том,

Что под перевернутой лодкой удобно,
Нас трое — мальчишка, собака и я,
Над нами дождище выплясывал дробно,
Мальчишка — салага, собака — ничья.

* * *

Еще теплится лето в глубинах лесов,
И малинник спешит поделиться последним,
Но веселый птенец — лебединый наследник —
В неизвестные дали умчаться готов.

Он не знает еще ни потерь, ни любви,
Перелетное лихо ему незнакомо.
Если крылья даны — вон скорее из дома!
За леса, за моря! Перелеты — в крови!..

А потом, а потом, по весне голубой,
Не птенец — умудренная, гордая птица
В свой младенческий стан заспешит, устремится,
Безоглядную верность являя собой.

И такою же, знать, лебединой тоской
Наши души болеют в отлете от дома.
Воротиться, приникнуть к рябине знакомой, —
Это — родина, детство, блаженство, покой.

Ветка вербы

Веткой вербы перечеркнут
Вид зимы в окне моем.
Белый наст, кустарник черный...
Взгляд, в блаженстве уличенный, —
В перечеркнутый проем!
Ветка вербы, дрожь свирели,
Предрассветный блик судьбы...
Милая, ты вся — в апреле!
Ну какой там, в самом деле,
Глаз вороньей ворожбы!
Вьюга воет, сатанеет,
А душе — светлеть и петь:
То, что март еще не смеет, —
Ты решаешься посметь!

* * *

Превратностям судьбы не прекословь.
Когда с душой разлад необратим,
Придумай себе новую любовь,
Как за перо жар-птицу ухвати.
Почувствуешь неведомый ожог
И на мгновенье исцелишься им.
А кажется, и жить уже не мог,
Когда с душой разлад необратим.
Придумай себе новую любовь,
Как в лодку ненадежную шагни, —
Увидишь, как былой любови вновь
Береговые полыхнут огни.

Нобаткули Реджепов

Зима

Снежинок равномерный ток
сегодня кружит голову,
и вновь урюка лепесток
в ногах у сада голого.

Необычаен первый снег
прикосновеньем хлопковым.
И в белом снеге белый свет
с дорогами и тропками.

За утро сотканная гладь
из хлопьев первозданных
повелевает обувь снять
в морозном мироздании.

В просветах пены высь ясна —
большая стирка неба,
там очищается весна
для хлопка и для хлеба.

Перевод с туркменского
Владимира Фадеева

Имена туркменских девушек

Хумай, Боссан, Дилбер, Ляля́...
Как будто в горле соловья,
что ночью заклинает сад,
родился этот звукоряд.

Из этих слов поэт бы мог
сложить поэму в сотню строк.
И только тот к ним будет глух,
кто не зажегся иль потух,
кто не познал хотя бы раз,
как меркнет свет без черных глаз.

Перевод с туркменского
Владимира Фадеева

Владимир Филиппов

* * *

Нет хаоса в сплетении ветвей,
В узорах троп, в изгибах тихих речек.
А пыль дорог, запутавшись в траве,
Ложась цветам на узенькие плечи
И застилая синие глаза,
До той поры бездумно торжествует,
Пока, ударив ливнями, гроза,
Освобождая плоть земли живую
И молниями небо расколов,
Не пронесется, сея чистый воздух.
И в ясных взглядах промелькнут светло
Луга России. А над ними — звезды.

* * *

Не всегда проспекты просек
Повстречаешь на пути.
Зашуршит дождями осень,
Снег нежданно налетит
И тропу тоской завьюжит —
Подожди своих друзей.
Соли пуд в лесу не нужен.
В бурю, вьюгу, при грозе,
Незаметно лес научит
Понимать тепло весны,
Поднимать рюкзак на кручи,
Забывать дурные сны,
Не стаканом мерить радость,
Презирая облака,
А руками, как награду,
Воду брать из родника.

Никита Перепеч

С утра до вечера

Моросило. Пассажиры вываливались из троллейбуса, как спрессованные финики. Они ударялись об асфальт и рассыпались, поднимая воротники и раскрывая зонтики.

Клюквин натянул капюшон и побежал, перепрыгивая через лужи. Рядом с ним несся в школу хмурый, сосредоточенный мальчуган. Искоса поглядывая на длинные ноги Клюквина, мальчуган пыхтел и что было сил старался не отстать. И Клюквин немного сдерживал себя, чтобы дать ему эту возможность.

— Проспал? — на бегу спросил его Клюквин.

— Не-е, — сказал мальчуган. — Зачитался.

Клюквин понимающе кивнул.

— В класс-то пустят?

— Пустят. Только замечание накатают.

— Плохо дело.

— Плохо, — согласился мальчуган. — Мне отец последнее предупреждение сделал.

— Мне тоже сделано предупреждение, — сказал Клюквин. — Давай-ка поднажмем.

Они бежали рядом, не отставая друг от друга и не вырываясь вперед, и на каждый шаг Клюквина мальчуган делал три своих.

— Дядь, сколько время? — спросил мальчуган, когда они добежали до угла.

— Без трех минут.

— Успеваем, — серьезно сказал мальчуган и повернул направо, к школе, а Клюквин — налево, к поликлинике.

За углом Клюквин увидел Ксению. Она стояла возле лужи, отражаясь в ее мутной воде. Над головой Ксения держала зонтик цвета выгоревшего брезента. Издали она напоминала цистерну «Молоко», поставленную на попа.

Ксения стояла на узком перешейке асфальтовой дорожки между лужей и раскисшим от дождя газоном. Она смотрела в другую сторону. Клюквин хотел было проскочить мимо и уже начал думать, куда ему выгодней ступить — в воду или в грязь, но в этот момент Ксения повернулась и заметила его.

— Михаил Николаевич! — завизжала Ксения и махнула Клюквину сумкой.

Клюквин поморщился, но перешел на шаг — по опыту он знал, что теперь проскочить мимо Ксении ему не удастся.

— Нехорошо опаздывать. Ай-яй-яй. — Ксения лукаво погрозила Клюквину пальчиком и улыбнулась.

Свою улыбку Ксения сильно переоценивала. Один веселый человек сказал ей когда-то, что она улыбается, как француженка. И с тех пор бантик Ксениного рта стал развязываться на ее плоском лице гораздо чаще, чем этого требовали обстоятельства. Насчет француженки — это была шутка. Но чувство юмора находилось у Ксении в зачаточном состоянии, шуток она не понимала. Ее редкие зубы выступали вперед, как снегоочиститель у паровоза.

— А я слышу: кто-то бежит, — стрекотала Ксения, кокетливо поводя плечиком. — Ну, думаю, доктор Клюквин, не иначе. И правда! Запыхались-то, запыхались! Зря вы так торопитесь, ей-богу. Подождут, ничего с ними не случится.

Ксения тараторила всю дорогу до поликлиники. Она семенила рядом с Клюквиным своими короткими толстыми ножками и цепко держалась за его рукав.

Клюквин опоздал на десять минут. Он отдал гардеробщице свою студенческую куртку из ткани «болонья», услышал чей-то окрик в спину: «Куда без очереди!», но не обернулся — некогда, взбежал на третий этаж и сквозь толпу больных быстро прошел к двери, на которой висела табличка с его фамилией.

Медсестра Зина складывала в стопку амбулаторные карты.

— Доброе утро, — сказал ей Клюквин.

И Зина согласилась:

— Доброе.

Клюквин надел халат, вымыл руки и влажной ладонью провел по разгоряченному лицу. Когда он сдергивал с крючка полотенце, Зина сказала:

— Только что заведующая звонила. Вас спрашивала. Так я ответила, — вы вышли.

По утрам Клюквину хронически не везло с транспортом. Он часто опаздывал, и поэтому заведующая имела на него зуб.

— Спасибо, — сказал Клюквин. — Вы меня выручили

— Чего там!

«Черт бы побрал эту Ксению», — прошептал он.

— Что говорите?

— Говорю, пора начинать. Много сегодня?

— Так понедельник, — вздохнула Зина.

— Серьезно, доктор, выписывайте меня, а? — басом канючил монтажник Коробков, стягивая свитер. — Незачем слушать, серьезно...

— Это мы сейчас посмотрим.

— Не, ну правда... Кашля у меня нет, температура нормальная. Вчера ребята из бригады приходили, яблоки принесли. Думали, я больной...

— А ты и есть больной.

— Какой же я больной! Здоровый я, серьезно...

— Подыши-ка поглубже, — Клюквин переставлял стетоскоп по широкой, бугрившейся мускулами спине Коробкова, слушал его могучее дыхание, искал остатки хрипов. — Хорошо. Одевайся.

— Ну, как, выпишете, а?

— Подержать бы тебя на больничном еще денька два, чтобы уж наверняка, да ведь не высидишь...

— Не высижу!

— Ладно, пойду навстречу рабочему классу. Только постарайся первое время поменьше бывать на сквозняках.

— Да какие у нас сквозняки, — сказал монтажник Коробков, — на высоте-то... — И улыбнулся широко и белозубо.

Старик заглянул в кабинет и, увидев склонившихся над писаниной людей, остановился на пороге:

— Можно?

— Можно, — сказал Клюквин, не поднимая головы. — Садитесь.

— Фамилия вам как будет? — деловито спросила Зина.

— Гусев, — сказал старик. — Гусев моя фамилия.

— Гусев, Гусев, — забормотала Зина, перебирая карточки.

Клюквин задал свой обычный вопрос «на что жалуетесь?», и старик рассказал, что третьего дня возвращался из бани и, видать, простыл. Теперь вот кашляет, грудь ломит и температура. А вчера еще и простуда на губе выскочила...

— Герпес, — компетентно заявила Зина.

— Да нет, дочка, что ты, — мягко возразил старик. — Обыкновенная простуда.

— Я не дочка, — строго сказала Зина. — Я сестра.

Клюквин послушал, как хрипит у старика в груди, и попросил Зину выписать направление на рентген.

— Что же вы на дом врача не вызвали?

— Да неудобно вроде... Я бы и сюда не пришел, да старуха репьем пристала: сходи да сходи...

Одеваясь, старик сильно закашлялся, потом виновато посмотрел на Клюквина и проговорил, оправдываясь:

— Вот ведь прихватило.
— У вас воспаление легких, — сказал Клюквин. — Вам в больницу надо.
Он набрал номер заведующей и, услышав ее уверенный баритон, сообщил, что у него больной с крупозной пневмонией и что хорошо бы его срочно госпитализировать.
— Так госпитализируйте, — сказала заведующая.
— Есть одна загвоздка...
— Возраст? — догадалась она.
— Да.
— Сколько?
— Семьдесят два.
Заведующая немного помолчала.
— А вы уверены, что крупозная?
— Уверен.
— Рентген делали?
— Да, — соврал Клюквин.
— Диагноз подтвердился? — на всякий случай спросила заведующая.
— Подтвердился.
— Ну что ж, вызывайте сантранспорт.
— Если что — вы поспособствуете?
— Поспособствую, поспособствую, — проворчала заведующая и, посопев в трубку, спросила: — Где это вы бываете в рабочее время?
— А что? — дипломатично ответил Клюквин.
Заведующая немного подумала и не стала развивать затронутую тему.
— Федякина заболела, — сказала она.
— Имеет право.
— Врач не имеет права болеть. Это лишает его авторитета среди больных и дорого обходится коллегам, — изрекла заведующая. — Парочку вызовов возьмете?
— Возьму, что делать... — сказал Клюквин.
Пока он заполнял талон на госпитализацию и вызывал сантранспорт, старик беспокойно ерзал на стуле:
— Может, не надо в больницу? Может, лучше дома? Горчичники, чай с малиной...
— Мало вам горчичников и малины. Вам уколы нужны и постоянное наблюдение врача. Сейчас подниметесь на четвертый этаж, сделаете рентген, потом возвращайтесь домой и ждите — за вами приедут.
— У меня старуха одна останется. Кто ей будет в магазин ходить? — Старик сдвинул кустистые седые брови, задумался. А потом твердо сказал: — Не поеду.
Клюквин отложил ручку. Он потратил на уговоры минут десять. Убеждал, доказывал, пугал и наконец уговорил.

Когда старик вышел, Зина сказала:

— Это же надо, а! Вон Фокина из восьмого дома третий месяц из больницы не вылазит — пенсию на телевизор откладывает, а этого силком не затащить.

Клюквин набрал номер рентгеновского кабинета.

— Алло? — Голос, отфильтровавшийся в телефонных проводах, все равно оставался мелодичным.

— Марина Евгеньевна? — спросил Клюквин.

— Михаил Николаевич?

Несколько секунд Клюквин прислушивался к голосу, затихающему среди щелчков и шорохов недр телефонной сети.

— Я к вам больного направил. Фамилия — Гусев. Седой такой, высокий старик. Похоже, с крупозкой. Вы уж пропустите его без очереди.

— Хорошо. . .

Клюквин хотел сказать еще что-то, но, поймав заинтересованный взгляд медсестры, посмотрел зачем-то на часы и положил трубку.

— Вот я и говорю, — продолжала Зина, — силком не затащить. И чего вы с ним бились, уговаривали? Написали бы в карточке; «от госпитализации отказался» — с вас и взятки гладки. А уж лечиться или нет — это его личное дело.

— Ошибаетесь, Зина. Это дело общественное. Давайте следующего.

Сухонькая старушка с печальным лицом присела на краешек стула, поставила на колени большую черную кошелку, а сверху сложила руки. Руки у нее были жилистые и коричневые — словно вырезанные из дерева.

— Что вас беспокоит? — спросил Клюквин.

— Да так-то ничего, доктор, не беспокоит.

— Сердце не болит?

— Нет.

— Руки, ноги, поясница?

— Не болит, сынок, ничего у меня не болит.

— Зачем же вы тогда пришли?

— Да помирать мне пора, — горестно вздохнула старушка и уставилась в угол.

— Так это не сюда идти надо, — усмехнулась Зина.

— А куда? — с надеждой обернулась старушка.

— Совсем в другое место.

— Вот что, бабушка, — сказал Клюквин, — давайте-ка я вас сначала послушаю, а уж потом мы решим, пора или не пора.

— Обидно, — сокрушалась старушка, расстегивая бесчисленные пуговицы, развязывая завязки, расцепляя крючки. — Только-только на новую квартиру переехали — и помирать.

— А вам сколько лет?

— Да восьмой десяток идет. Я и говорю, пора.

Клюквин слушал старушкино сердце и легкие и не верил своим ушам.

— Сто лет еще проживете, бабушка.

— Да сто не надо, — отмахнулась старушка. — Мне бы еще годка два протянуть.

— За два я вам головой ручаюсь. Вот попринимайте витамины и эту микстурку, — сказал Клюквин, выписывая рецепты.

— Спасибо, доктор, ой спасибо.

Старушка ушла, и, крича, что он только на минутку, только спросить, в кабинет ввалился румяный блондинистый парень.

— Как бабка-то, не помрет?

— Нет, — сказал Клюквин. — Все в порядке.

— Спасибо, — обрадовался парень. — Вот спасибо!

Он пожал Зине руку, а Клюквину пожать постеснялся, покраснел и, уходя, споткнулся о порожек.

После собравшейся помирать старушки приходили два бронхита, гастрит, ангина и обострение язвенной болезни. Потом — надоевший Клюквину студент-заочник сорока четырех лет, который вот уже три года ощущает у себя в желудке рак, а неучи врачи никак его обнаружить не могут.

За ним — гражданка неопределенного возраста, которая в прошлом году перенесла «инфаркт сердца» на ногах. У нее ничего не болело — так зашла, провериться.

— У вас выписка из больницы есть? — спросил Клюквин.

— Из какой больницы?

— Ну, где вы лечились.

— Не лечилась я.

— Постойте, вы что же со своим инфарктом так нигде и не лежали?

— Почему не лежала? — обиделась гражданка. — Лежала.

— Где?

— На лестнице.

— И долго? — поинтересовалась Зина.

— С полчаса...

Затем нанесли визит две седенькие благообразные пенсионерки, члены домового комитета, похожие, как близнецы. Пришли посмотреть на молодого доктора и заодно измерить давление.

Вслед за ними — усталая дворничиха с действительно тяжелой гипертонией.

Потом, лучезарно улыбаясь и стреляя по сторонам вострыми глазками, в кабинет без очереди проник велеречивый Клементьев, гардеробщик из комбината «Трудпром», инвалид третьей группы. Он направил на Клюквина свой проницательный взгляд и вкрадчиво предложил:

— Давайте знакомиться...

Аккуратно записал в разбухшую от сведений книжечку: «Клюквин Мих. Ник.» — и стал долго и обстоятельно рассказывать, как двадцать четыре года назад его контузило на трудовом фронте железной болванкой во время перекура. С тех пор он курить бросил и тяжелым физическим трудом не занимается. Однако ежели доктор думает, что у гардеробщика работа легкая, то здесь он впадает в ошибку, особенно зимой...

Клюквин спросил, не беспокоят ли его сейчас последствия травмы, и Клементьев ответил, что нет, его лично не беспокоят, а вот соседи жалуются. В ЖЭК. За глаза называют его контуженым и наводят поклеп, стремясь выжить с законной жилплощади. Но из этого ничего не выйдет, потому как он их давно раскусил и в скором времени на чистую воду выведет, можете не сомневаться. Сказал, что болит у него нерв. Когда Клюквин спросил, какой, ответил, что это уж его, доктора, дело определить, какой.

Доктор к Клементьеву отнесся со вниманием: послушал, постучал, тощий живот помял, а потом вежливо посоветовал обратиться к невропатологу. За номерком надо было спуститься в регистратуру. Это Клементьеву не понравилось. Он помахал у Клюквина перед носом инвалидным удостоверением и пошел к заведующей — жаловаться.

Следующим явился за больничным листом начинающий алкоголик Воробьев. Клюквин стоял на своем твердо и больничного не дал. Уходя, Воробьев заверил, что, когда доктору от него что-нибудь понадобится, он ему это припомнит.

Потом пришла Соня Стукалова. У нее все было по-прежнему: слабость и температура. Небольшая: тридцать семь и две — тридцать семь и четыре. Такая температура называется субфебрильной. Клюквин обследовал Соню уже вторую неделю, провел все исследования, которые можно было выполнить в условиях поликлиники, проконсультировал ее у нескольких узких специалистов. Исследования отклонений от нормы не показали, а узкие специалисты со стороны подведомственных им органов патологии не выявили. Чем больна Соня, Клюквин не знал. И не было ни одной зацепки, небольшие изменения в анализе крови — и все. «Госпитализировать! — приказала заведующая. — Там разберутся. У нас не клиника и даже не полуклиника, а поликлиника. Ощущаете разницу?»

Клюквин выпросил себе еще три дня. Если за это время он не остановится на чем-то определенном, то ему придется направлять Соню в больницу с расплывчатым диагнозом «неясный субфебрилитет» и ставить под ним свою подпись... В принципе, ничего зазорного в этом не было — возможности поликлиники ограничены. Участковый врач честно выполнил свою часть работы, а теперь дело за стационаром. Но Клюквину хотелось уйти от унизительной неопределенности диагноза; оттого, что к концу второй недели Сонин

субфебрилитет все еще оставался неясным, ему было немного стыдно. Заведующая объясняла это молодостью лет.

Клюквин выслушивал Соню внимательно и долго. Так долго, что под конец в кабинет просунула свою лисью мордочку пенсионерка по старости Жарикова.

— Можно? — спросила она елейным голоском.

— Закройте дверь, — сказала Зина. — Не видите, что ли, — доктор занят!

— Вижу, вижу, — пропела Жарикова. — Доктору на человека десять минут положено, а он с этой молодухой уже полчаса занимается.

— Ничего, подождете, — сказала Зина, захлопывая дверь. — Вам спешить некуда.

«Сегодня разделаюсь с вызовами пораньше и выберусь вечером в Публичку», — твердо решил Клюквин.

— Разберемся, Соня, — сказал он. — Обязательно разберемся.

И Соня улыбнулась ему бледными губами.

Потом он выписал пенсионерке по старости Жариковой очередной рецепт на аллохол и при этом подумал, что должен быть глубоко благодарен ей за то, что она пришла за рецептом в поликлинику, а то могла бы и на дом вызвать.

Затем в дверь тихо постучал бывший осужденный Эдвин Дзингилевский с обострением хронической пневмонии. Но болезнь его абсолютно не волновала. Он радовался всему: и двум часам, проведенным в очереди у кабинета, и своему кашлю, и плохой погоде. Клюквин уже выписал ему рецепты, а он все медлил, все рассказывал о суровых природных условиях Коми АССР, хрипло смеясь и кашляя. И Клюквин его не торопил...

«Надо уметь слушать, — думал Клюквин. — Это такое же лечебное средство, как камфора или пенициллин. У каждого человека, даже совершенно здорового, время от времени возникает потребность исповедаться. Это нормально, физиологично, это — выпускной клапан нервной системы. И кто-то должен его выслушать. Раньше для этой цели существовали священники. А теперь? Соседу — нельзя, разболтает. Близкому человеку — страшно, а вдруг предаст? И тогда придется либо жить рядом с предателем, либо искать другого близкого человека. И то и другое одинаково нелегко. Поэтому лучше не рисковать. Остаются случайные попутчики, которых никогда больше не встретишь, да врачи. Попутчики могут слушать, а могут и не слушать — в зависимости от настроения. А врач — должен. Такая у него работа».

— Тридцатый и последний, — торжественно объявила Зина, и в приоткрытую дверь юркнул маленький вертлявый человечек по фамилии Зундерман.

— Здравствуйте, доктор.

— Добрый день. Садитесь, пожалуйста. На что жалуетесь?

— Что вы, доктор! — испугался Зундерман. — Я ни на что не жалуюсь. Я только спросить. Понимаете, доктор, я занимаюсь йоговской гимнастикой. Уже восьмой год. Вот по этой схеме. — Он положил на стол несколько засаленных листков.

— Сколько вам лет?

— Мне? Семьдесят два, а что? Обратите внимание — это поза змеи. Я расстилаю коврик... У вас есть коврик? Нет. Ну ничего, я на полу покажу. Сюда можно повесить пиджак?

— Да пол-то грязный, — попыталась остановить его Зина.

— Что вы, сестричка, очень чистый пол. Я ложусь на живот, беру ноги в руки и делаю так... А-р-р-р-ум-пф-ф-ф...

— Как вы себя чувствуете? — вздохнул Клюквин.

— О, доктор, я очень хорошо себя чувствую.

— Что же у вас все-таки болит?

Выяснилось, что раньше все болело. Руки, ноги, грудь, спина, живот, печень, кишки, селезенка, ухо, горло, нос, резецированный желудок и вырванные зубы.

— Знаете, доктор, у меня аденома предстательной железы и грыжа белой линии, — неистово жестикулируя, продолжал Зундерман. — Но с тех пор, как я начал заниматься йоговской гимнастикой, меня абсолютно ничего не беспокоит. Обратите внимание, как я массирую сердце. Я снимаю джемпер, сорочку, белье. Сюда можно повесить? И делаю так... Ах-ох-ух-эх-о-о-о... Я правильно делаю? Теперь посмотрите, как я разрабатываю голеностопные суставы. Сейчас покажу, только сниму ботинки. Я берусь одной рукой за голень, другой — за большой палец и делаю так... Так-так-так-так... Сначала по часовой стрелке, а затем в обратную сторону. Слышите — хрустит, но это только последние два года. А еще я по утрам бегаю по лестнице. На девятый этаж и обратно. Как вы думаете, это не вредно? .. Доктор, вы мне что-нибудь выпишете?

— От головы? — спросила Зина.

— Нет, сестричка, с головой у меня все в порядке. Волосы — как у юноши. Можете проверить. Подергайте, не стесняйтесь. Мне бы какое-нибудь снотворное. Страдаю бессонницей. Правда, я никому не мешаю — живу совсем один... — Зундерман повел в сторону грустными, похожими на маслины глазами.

— Одевайтесь, — сказал Клюквин. — Простудитесь. Вот вам рецепт.

— Огромное спасибо, доктор, огромное. Как называется это лекарство? Ра-де-дорм. Какое красивое название. А оно не очень дорогое? ..

В кабинет колобком вкатилась Ксения. Она показала свои очаровательные зубки и заверещала с порога:

— Зиночка, вы знаете, в гастрономе напротив печень выкинули, и народу немного, — мне сейчас одна больная сказала. Вам не надо?

— Надо, — сказала Зина.
— А вам, Михаил Николаевич?
Клюквин от печени отказался.
— Может, вы сбегаете? — продолжала Ксения, обращаясь к Зине. — Заодно и на меня возьмете. Только побыстрее, а то закроют на обед.
Зина стала снимать халат.
— А халатик не снимайте, — посоветовала Ксения. — Вас тогда без очереди пропустят.
— Ко мне никого больше нет? — спросил Клюквин.
— Сидит какая-то женщина...
— Номерки — все, — отрезала Зина.
Клюквин выглянул в коридор:
— Вы ко мне?
Женщина сказала, что вообще-то она с другого участка, но ее врач уже окончил прием, а дежурный еще не начал, и в регистратуре ей посоветовали обратиться к доктору Клюквину — может, он согласится...
— Имейте совесть! — вмешалась Ксения. — Половина второго!
— Входите, — сказал Клюквин.
Женщина рассказывала торопливо, сбивчиво, косилась на насупившуюся Зину и, уходя, забыла сумочку, за которой потом вернулась, извиняясь и благодаря.
— Слишком вы добрый, Михаил Николаевич, — пробубнила Зина. — Как Айболит.
— Я обязан быть добрым.
— Скажете тоже! Сидеть здесь с девяти до часу — это вы обязаны, а принимать больных с другого участка, да еще без номерков, — это никто не обязан.
— Не ворчите — будут морщины, — посоветовал Клюквин. — Кстати, в магазин вы еще успеете. Только халат все же снимите.
С двух до четырех в поликлинике затишье. Утренний прием кончился, а вечерний еще не начался. В коридорах не слышно разговоров о болезнях, вздохов, шелеста справок и рецептов. Временно прекращается беготня из кабинета в кабинет. Эти два часа напоминают обеденный перерыв на какой-нибудь фабрике, когда ненадолго останавливается конвейер.

Распустив галстук, Клюквин сидел на подоконнике и слушал, как дождь стучит по железному козырьку за окном. Он перебирал в памяти прошедших перед ним за день людей и внезапно поймал себя на том, что почти не помнит их лиц. Легкие, сердца, печенки помнит, а лица — нет. Придет к нему на прием один из сегодняшних пациентов, приставит доктор Клюквин стетоскоп к его груди, услышит перебои усталого сердца, короткий шум на верхушке и тогда вспомнит: больной Иванов. А у другого хрипы под левой лопаткой — больной Лещенко...

Лиц много. Лица мелькают, как разноцветные зонтики под окном. Стоит немного прикрыть глаза, и все они покажутся одинаковыми...

Клюквин захлопнул форточку, вышел из кабинета и поднялся на четвертый этаж. На лестничной площадке он снова столкнулся с Ксенией. Она шагнула в сторону, уступая дорогу.

— К Марине Евгеньевне идете?

— Да, — сказал Клюквин. — В рентгеновский кабинет.

Несколько секунд Ксения смотрела в сутулую спину уходящего по коридору Клюквина, потом повернулась и стала тяжело спускаться по лестнице.

«Сколько сегодня? — думала Ксения. — Десять вызовов? Двенадцать? А может, больше? Проклятая работа, — думала она. — Проклятая, проклятая... Что я видела за последние годы? Ничего. Вечером возвращаешься домой — ноги гудят, как телеграфные столбы. И уже никуда не хочется идти. А утром — снова в поликлинику. А годы идут, и скоро тридцать...» На мгновение жизнь представилась Ксении тоннелем метро, а сама она — поездом, несущимся по этому тоннелю и не видящим ничего, кроме мелькающих в темноте фонарей...

Ксения подошла к окну и стала смотреть на дождь. Дождь был серый. Он сочился из низкого, плотного неба, оставляя на оконном стекле грязные разводы, и превращал увядший газон в бурую жижу. Ксения почему-то вспомнила свою темную, неуютную комнату в коммуналке, нелепую зеленую лампу над столом, стул, у которого третьего дня отломилась ножка, и неожиданно для себя заплакала.

Марина Евгеньевна Мухина сидела в полутемном кабинете за большим письменным столом и рассматривала рентгеновский снимок, укрепленный на негатоскопе. Она водила по снимку левой рукой, а правой описывала его в истории болезни. Строчки бежали по грубому голубому листу, спотыкались на мелких щепочках и, добежав до края, поворачивали вниз, не желая заканчиваться на полуслове. Клюквин этого не видел, но он хорошо знал, что со строчками именно так все и происходит.

Он стоял в маленьком тамбуре, прислонившись спиной к обитой железом двери, и из-за плотной портьеры смотрел на Маринин затылок.

Волосы, не сдерживаемые ни лаком, ни заколками, лежали так, как им было удобно. Затылок был лохмат и сосредоточен. Он переходил в шею, по-детски тонкую и длинную, с остатками летнего загара.

Клюквин смотрел на ее затылок, шею и плечи, и в груди у него щемило от нежности. Это было похоже на ощущение, которое испытываешь на качелях в парке, когда падаешь с высоты в раскрашенной люльке, и мир превращается в яркое размазанное пятно...

Клюквин резко хлопнул тяжелой дверью — как будто только что вошел. Марина вздрогнула и обернулась.

— Миша! — выдохнула она. — Ну нельзя же так.

— Извини, я не нарочно.

— Знаешь ведь, какая я нервная.

— Элениум, — посоветовал Клюквин. — По одной таблетке три раза в день.

— Пробовала. Не помогает. Только спать хочется. Садись,— Марина смахнула со стула закрученные в трубочку пленки. — Ты насчет Гусева пришел?

— Ага, — сказал Клюквин. — Насчет Гусева.

— Надо бы госпитализировать. Пневмония в средней доле справа по типу крупозной и немного жидкости в плевральной полости.

— Примерно так я и написал в направлении.

— Уже?

Клюквин кивнул. Марина посмотрела ему в лицо и сказала шутливо:

— Не понимаю, коллега, зачем вам нужен рентген, — вы и так всех насквозь видите.

Глаза у нее были серые и немного зеленые по краям, похожие на остановившийся у запруды весенний ручей.

— Рентген мне нужен как повод для разговора с рентгенологом, — признался Клюквин.

— Да ну тебя, — грустно улыбнулась Марина.

Клюквин достал сигареты. Они молча стряхивали пепел в чашку Петри. Потом Марина спросила:

— Как дела?

— Нормально, — сказал Клюквин. — А у тебя?

— Как в сказке, — сказала Марина. — Чем дальше, тем страшней.

— Погода сегодня... — сказал Клюквин.

— Осень, — согласилась Марина.

«Осень, — подумала она. — У Мухина ботинки порвались. Отдать в ремонт или новые купить?»

Мухин был очень одаренным физиком. Его научные работы отличались точностью формулировок и безупречной логикой. Мухин ощущал в себе способность сказать свое слово в науке, поэтому он много работал и старался не растрачивать себя по пустякам. Он уходил из дома рано, а возвращался поздно. Утром он говорил: «Я сегодня задержусь», — и целовал Марину в лоб. Вечером он целовал Марину в лоб и спрашивал: «Что у нас сегодня на ужин?» Марина стирала мужу рубашки, жарила котлеты и ждала. «Вот защитит кандидатскую, — думала она, — и все изменится». Мухин защитил кандидатскую и тут же принялся собирать материал для докторской.

Временами Марина казалась себе бесплатным приложением к

кооперативной квартире перспективного ученого. Она слонялась по комнатам, натыкаясь на стулья, потом выбегала из дома, покупала в булочной торт и ехала в гости к школьной подруге, у которой было трое детей и муж пьяница. Подруга жаловалась на свою жизнь и завидовала ее, Марининой, жизни. Но в последнее время и это средство перестало ей помогать. Марина возвращалась домой ночью и укладывалась в постель рядом с безмятежно спящим Мухиным.

За завтраком она говорила ему:

— Почему ты не спрашиваешь, где я вчера была?

— Где ты была? — спрашивал Мухин, не отрываясь от газеты.

— Слушай, так нельзя жить, — говорила Марина.

— Почему? — искренне удивлялся Мухин.

— Потому что так нельзя жить.

— Как — так?

— Как мы живем.

— Можно, — говорил Мухин и обстоятельно, как ребенку, доказывал, что можно. От его «допустим», «отсюда вытекает» и «следовательно» Марину била нервная дрожь.

Она закрывала глаза и начинала тихо плакать.

— Опять, — вздыхал Мухин. — Ну чего тебе не хватает?

— Счастья.

— Слишком общо, — говорил он. — Что конкретно нужно тебе для счастья?

— Любви.

— Я тебя люблю, — устало говорил Мухин и уходил делать открытия.

Марина пристально смотрела на пуговицу пиджака худого и нескладного человека, который сидел напротив. Пуговица болталась на одной нитке.

— Что-нибудь случилось? — спросил Клюквин.

— Нет, — сказала Марина, очнувшись. — Все в порядке. Только вот пуговица у тебя отрывается.

— Действительно, — удивился Клюквин.

— Хочешь, пришью?

— Да не надо, ничего страшного...

— Нет-нет, — сказала Марина с внезапной готовностью. — Пришью обязательно.

Она выдвинула ящик стола и стала суетливо искать в нем нитку-иголку.

Потом, нагнувшись, она пришивала пуговицу и почти касалась головой груди Клюквина. «Поцелуй меня, — мысленно просила она. — Поцелуй меня, Миша. Может быть, это что-то изменит...»

Клюквин смотрел на ее близкий красивый затылок и старался ни о чем не думать.

— Ну вот и все, — сказала Марина, перекусив нитку.

— Теперь крепко, не оторвешь, — бодро сказал Клюквин. — Спасибо.

Марина вколола иглу в катушку и убрала ее в ящик.

— Ну, я пойду, — сказал Клюквин.

— Ага, — сказала Марина. — Счастливо тебе.

В регистратуре он получил одиннадцать вызовов со своего участка и еще пять с участка доктора Федякиной, которая не вышла на работу.

— Почему так много? — возмутился Клюквин. — Два возьму, а остальные распределите среди других врачей.

— Все врачи уже разошлись, — сказала регистраторша. — Вы последний.

— Я вообще не обязан обслуживать вызовы с других участков, и то, что я беру хотя бы два, — уже большая любезность с моей стороны.

— Доктор, — мягко сказала регистраторша, — если вы не пойдете, то и никто не пойдет.

Регистраторша работала в поликлинике давно. Годы научили ее обращаться с людьми. Это был ее старый прием. Он неизменно будил чувство долга в душах молодых специалистов.

Она отдала Клюквину амбулаторные карты и с доброй улыбкой проследила, как он засовывал их в портфель.

Участок Клюквина находился на краю города. За его домами тянулось ровное поле с чахлыми одинокими кустиками — и все. Лишь на горизонте в солнечный день поблескивали стеклами теплицы отступающего под натиском города совхоза.

Клюквин пробирался по раскисшей глине, переступая с доски на доску, брошенные вроде мостков.

— Привет, док! — крикнул кто-то сзади.

Клюквин обернулся и увидел жизнерадостного водопроводчика Лешу.

— Что, тонешь?

— Тону, — сказал Клюквин.

— Ботиночки-то импортные?

— Да нет, наши, «Скороход».

— Скороход! — заржал Леша. — Сапоги надо. Тогда и будешь скороход. Вот! — Он показал Клюквину сапог.

— Пожалуй, — согласился Клюквин.

— То-то. Вам что, спецодежду не выдают?

— Не выдают.

— А ты поднажми. Местком, профком. Скажи — работать не буду. Дадут как миленькие! Ну, а вообще-то как жизнь? — поинтересовался Леша.

— Как в сказке, — сказал Клюквин.

— Во-во, — догадался Леша. — Чем дальше, тем смешней. Ты в какой дом?

— В восьмой.

— И я туда же. А квартира какая?

— С сороковой начну.

— Ну да! И мне в нее. Там кто живет?

— Старушка одна. С гипертонией.

— Выходит, не одна, — хохотнул Леша. — Посмотрим, что там у нее за гипертония.

Они шли по участку рядом, плечо к плечу. Почти единомышленники, почти коллеги. Цель у них была одна — помогать людям. И только средства разные.

— Кто там? — из-за двери спросила старушка.

— Водопроводчик!

— Из поликлиники! — в один голос крикнули Леша и Клюквин.

— Кто-кто? — переспросила старушка.

— Ладно, бабка, открывай, — сказал Леша. — А то уйду.

Старушка зазвенела цепью, заскрежетала засовом.

— Ой! — удивилась она.

— Ну, чего стряслось-то? — спросил Леша.

— Да вот, давление опять, — изумленно пролепетала старушка, переводя взгляд с одного на другого.

— Давление, говоришь? — усмехнулся Леша. — Ну-ну.

— То есть кран, — поправилась старушка. — На кухне.

— А давление? — спросил Клюквин.

— Давление тоже. Да проходите.

Леша прошел на кухню, а Клюквин со старушкой в комнату.

— Значит, давление, — сказал Клюквин, доставая тонометр.

— Оно, — кивнула старушка. — Прыгает опять.

— Сейчас посмотрим...

— Тазик подайте! — заорал с кухни Леша.

— Вы извините, доктор, я на минутку — водопроводчику рубль дам, а то ведь, стервец, плохо сделает... Прыгает, говорю, — сказала старушка, вернувшись. — То ничего, а то и за двести. Я головой чувствую.

— Вы лекарство, что я прописал, принимаете?

— Принимаю, — замялась старушка.

— По три таблетки в день?

— Да по три, доктор, не выходит.

— Почему?

— Дорогое оно, а у меня пенсия маленькая. Так я по одной.

— Ладно, — вздохнул Клюквин. — Я вам другое выпишу, подешевле. Только вы уж принимайте, как скажу.

— Хорошо, доктор, хорошо.

Клюквин выписал рецепт, Леша сменил прокладку. На лестницу они вышли вместе.

— Ну как, док, давление-то?

— Не стыдно со старухи деньги брать?

— А чего стыдного-то? — удивился Леша. — Я ж не за здорово живешь — за работу. Пословицу знаешь: дают — бери, бьют — беги. А ты что, не берешь, если дают?

— А мне не дают.

— Значит, плохо работаешь, — Леша сочувственно покачал головой и умчался вниз на лифте, оглушительно хохоча.

Дверь открыл широкоплечий кряжистый парень лет двадцати пяти.

— Врача вызывали?

— Вызывал, — сипло сказал парень. — Заходите.

Вешалки не было, и Клюквин повесил куртку на спинку стула.

— На что жалуетесь?

— Горло болит. Со вчерашнего дня еще. Вечером температура была.

— Высокая?

— Не помню. Тридцать восемь, что ли...

— А сегодня?

— Не знаю, не мерял.

— Чайную ложечку принесите.

— Чего?

— Чайную ложку. Горло посмотреть.

Парень ушел на кухню и долго гремел посудой в раковине.

— Столовая не подойдет? — крикнул он.

— Давайте столовую.

После осмотра парень сказал:

— Что у меня?

— Ангина, — ответил Клюквин, делая запись в карточке.

— Серьезное заболевание? — заинтересованно спросил парень, и Клюквин не понял, с иронией он говорит это или без.

— Само по себе не очень. Но могут быть осложнения. Дайте паспорт.

— Зачем? — насторожился парень.

— Вам что, больничного не надо?

— А? .. Ну как же без больничного-то, доктор...

Клюквин выписал больничный лист и рецепты.

— Вот номерок, в среду, если будете себя хорошо чувствовать, придете в поликлинику, если неважно — не ходите, я вас сам навещу. И рецепты. Есть кому в аптеку сходить?

— Найду.

— Таблетки принимайте, как написано. И горло полощите теплой водой с содой. Чайную... — Клюквин запнулся, — треть столовой ложки на стакан.

— Лады, — сказал парень.

На улице Клюквина окликнула старуха Тупорылова:

— Доктор, вы, часом, не к нам ли?

— Нет, — на ходу ответил Клюквин. — К вам попозже. Кстати, зачем вызываете? Случилось что-нибудь?

— Так ведь он, отец-то, мне не сказывает. Сходи, говорит, в полуклинику, вызови его, вас то есть.

— Значит, ничего срочного. Я у вас через часик буду.

— Ой! — взмолилась старуха. — Счас зайдите, а, доктор! Он же меня встречать послал. Чтоб без вас, сказал, не возвращалась. Зайдите! ..

Клюквин остановился. «Ладно, — решил он, — все равно придется».

Гражданин Тупорылов возлежал на широкой, как проспект, кровати с никелированными спинками и смотрел на Клюквина злобным мутноватым глазом.

— Забывать стали, — проскрипел он. — С той недели не заглядывали.

— Вам что, похуже стало?

— Хуже мне уже не станет, — желчно сказал Тупорылов. — Хуже некуда.

Нет, не уделили медицинские работники должного внимания гражданину Тупорылову, не ублажили, не уважили. Ну, продержали его два месяца в больнице, ну, уколы там всякие, массажи, процедуры делали, а толку — чуть! Как была рука-нога отнявши, так и осталась. Вон, доктора приставили. Название одно. Сопляк голопузый, а не доктор. Ему бы сидеть при нем денно и нощно, а он в неделю раз на минуту забегает, да и то ежели вызовешь. Одни девки, видать, на уме. Рази может он его болезнь понять? Да и кто из них, врачишек этих, может? Профессора очкастые, козлы бородатые — и те головами качали: мы, мол, не боги. За что им только деньги плотют? Ну ничего, они у него еще попляшут! Полетела, полетела жалоба на имя городского медицинского начальника, с его слов старухой накорябанная. Все, как есть, в ней указано. Так-то вот. Надо будет — и министру отпишет. Попомнят еще Тупорылова...

— Давление у вас хорошее, — сказал Клюквин.

— Хорошее, говорите? А чего ж рука не подымается, нога не ходит?

— Я вам уже говорил: движение можно вернуть только движением. Гимнастикой. А вы ею не занимаетесь.

— Гимнастикой? .. Ну, буду я делать эту гимнастику. А вы-то чего для возврату моего здоровья делать будете?

— Лекарства у вас не кончились? — спросил Клюквин.

— Этого добра у меня хватает. Ну-ка, принеси! — Тупорылов глянул на жену, и та быстро притащила доверху наполненный фанерный ящик.

Клюквин порылся в разноцветных коробочках.

— Откуда у вас все это?

— Невестка достает. Буфетчицей на пароходе в загранку ходит. Не наши, промежду прочим, средства. От наших-то, видать, толку не будет.

Клюквин достал из коробочки аннотацию и стал разбираться в английском тексте.

— Мочегон это, — шепнула старуха.

— А вы откуда знаете?

— Да уж знаю, — сказала старуха. — Отец ведь их сперва на мне пробует.

— Ну вот что, — сказал Клюквин. — Советую вам прекратить эти эксперименты и принимать только то, что вам прописано. В противном случае я за последствия не отвечаю.

Тупорылов в последний раз сверкнул на него глазом и отвернулся к стене.

«Аудиенция окончена», — подумал Клюквин.

— Доктор, рука-то у него будет таперича двигаться, нет? — тихо спросила старуха у двери.

— Вряд ли, — сказал Клюквин.

— Ну и пущай! — сказала старуха, помолчав. — И ладно. Тяжелая она у его. Ох и помордовал он меня этой рукой-то, ох и помордовал...

Выйдя за дверь, Клюквин облегченно вздохнул. «Теперь на неделю хватит», — думал он, спускаясь по лестнице.

В шестом доме он навестил больную Синицыну со стенокардией.

В квартире было прибрано. Пахло чистотой и яблоками.

— Замечательный у вас запах, Анна Ивановна, — сказал Клюквин, раздеваясь.

— Урожай собрали, — объяснила Синицына. — Проходите, пожалуйста.

Клюквин прошел к столу по одной из полосатых дорожек, веером расходящихся от порога.

— Как ваше сердце?

— Что вам сказать, Михаил Николаевич... Лежу — ничего, а встану, похожу — поджимает. Сядешь, валидола пососешь — вроде отпустит. А бывает, и ночью схватит.

«Теперь еще и ночью», — отметил Клюквин.

— Прилягте, я вас послушаю.

— А как моя кардиограмма, что в среду снимали?

— Честно говоря, не лучше. Но зато и не хуже.

— Ничего, — с тихой улыбкой сказала Синицына. — И так жить можно.

Клюквин слушал ее сердце. «Как это пишут в историях болезней, — думал он, — тоны сердца приглушены? Не тоны это — стоны...»

— Можно-то можно, — сказал он. — Но хотелось бы получше, верно?

— Ну так что ж поделаешь? Болезнь — ведь я понимаю...

— Вот что, — сказал Клюквин. — То лекарство, что вы принимаете, по-видимому, вам не очень подходит. Я другое выпишу. А дней через десять кардиограммку снимем — посмотрим. Хорошо?

— Хорошо, доктор. Все сделаю, как посоветуете, — сказала Синицына и добавила: — Я вам верю.

Пока Клюквин выписывал рецепт, она, медленно ступая, вышла из комнаты.

Прощаясь, Клюквин поднял оставленный в прихожей портфель и почувствовал непривычную тяжесть. Он открыл замок. Из кожаного нутра портфеля пахнуло свежестью осеннего сада.

— Ну зачем вы, Анна Ивановна! — Клюквин стал выкладывать яблоки на столик.

— Пожалуйста, доктор, возьмите.

— Я в магазине куплю, — жестко сказал Клюквин.

— Таких в магазине не купите.

— И тем не менее.

— Хоть одно возьмите, — упрашивала Синицына. — Вот это, самое красивое. Ну пожалуйста!

— Хорошо, — смягчился Клюквин. — Одно возьму. В качестве сувенира. Спасибо вам.

— Господи, да мне-то за что?

— За яблоко. И за то, что верите.

Он стоял на лестничной площадке с яблоком в руке. «Чертов этот стенозирующий атеросклероз, — думал он. — Ничто его не берет. Сколько еще можно тянуть? Месяц? Полгода? Максимум год. А потом — неизбежно инфаркт. И обширный».

Он посмотрел на яблоко. Яблоко было крупное и красивое, с темно-вишневым боком и маленьким сухим листочком на длинном черенке. «Такое действительно в магазине не купишь», — подумал Клюквин.

Пенсионерка Оселькова проводила заслуженный отдых в коллективе сверстниц на скамейке у подъезда. Обсуждалось поведение зятя Фаины Александровны из сто двенадцатой квартиры. Обвинительную речь произносила сама Фаина Александровна. Она закончила ее словами: «Все они, зятья, одинаковые», — и теперь наслаждалась наступившей тишиной.

— А мой не такой, — прервала паузу Кузьминична из сто двадцать четвертой. — Мой добрый. Он мне той зимой кальсоны свои подарил. Теплые! Я их, когда холодно, на манер колготков ношу.

Фаина Александровна взглянула на Кузьминичну возмущенно и уже набрала в грудь воздуха, уже открыла рот, чтобы подвергнуть справедливой критике ее неуместное замечание, как вдруг пенсионерка Оселькова заметила приближающегося Клюквина и вскочила ему навстречу:

— Вы ко мне?

— К вам.

— Здравствуйте, доктор, — красивым голосом сказала Фаина Александровна и улыбнулась загадочно и интеллигентно, обнажив кончики пластмассовых зубов. — Ах, как меня измучили эти постоянные прострелы в плечо, — томно добавила она, ни к кому не обращаясь.

— А у меня все в хрястцы колет, — вздохнула Кузьминична. — Нагнусь — и кольнет, беда...

— Пойдемте, Оселькова, — сказал Клюквин и быстрым шагом пошел к подъезду.

В дверях пятилетний часовой терроризировал местное население.

— Пароль?! — грозно вопрошал он пытающихся проникнуть в подъезд и брал наизготовку деревянный автомат.

Клюквин нагнулся и громким шепотом сказал:

— Звезда. Подходит?

— Угу, — ответил часовой, подумав.

— Звезда, милый, звезда, — повторила пенсионерка Оселькова, резво поспевая за доктором.

— Зачем вызываете? — спросил ее Клюквин в лифте.

— Давление смерить, — простодушно призналась Оселькова.

— Для этого не обязательно вызывать врача на дом. Вы себя достаточно хорошо чувствуете, чтобы стоять в очереди в магазине, — он кивнул на ее продовольственную сумку, — можете прийти и в поликлинику.

— Так туда ж ехать надо. На двух транспортах.

— Вам что, двадцать копеек жалко?

— Двадцать копеек — тоже деньги, — заметила пенсионерка Оселькова.

— А времени моего вам не жалко?

— Так я ж ненадолго. Смерить только давление. Вам все одно мимо идти.

Выходя из лифта, Клюквин почувствовал усталость.

Потом он зашел к тридцатилетнему слесарю с радикулитом, потом к дорабатывающему последний год до пенсии учителю с высоким давлением, к старушке с удивительно ясным для ее возраста умом, но почти полностью обездвиженной полиартритом, к десятикласснице, которой надоело ходить в школу, затем к пожилой даме, по вызову «боли в сердце».

— Давно болит? — спросил ее Клюквин.

— С вечера, — сказала дама. — Кино по телевизору показывали. «Дела сердечные» называется. Бабушка там одна умерла... С тех пор и болит.

— Зачем же вы смотрите такие фильмы?

— Я думала, про любовь...

Около часа он бегал по участку доктора Федякиной и, переходя через моря грязи по шатким мосткам, мечтал о скорой зиме — хоть подморозит...

Напоследок он оставил активное посещение больного Васильева. Васильева В. А., шестидесяти лет с неоперабельным раком предстательной железы. Он послушал его сердце — до обидного здоровое сердце, измерил давление, поговорил с ним о футболе и шахматах. В прихожей он минуту помолчал с его худенькой морщинистой женой и унес с собой усталый взгляд ее выцветших глаз и приторный запах перебродившей мочи.

Все. Клюквин стоял у лестничного окна и тупо смотрел на дождь, который начался с утра, и вот уже вечер, а он все моросит, и конца не видно.

Усталость к концу дня больше всего скапливалась в ногах. И еще в позвоночнике. Она стекала по нему вязкой струей от затылка. «Остеохондроз, — машинально поставил диагноз Клюквин. — Надо по утрам зарядку делать. Вставать на пятнадцать минут раньше и делать. А еще хорошо бы купить абонемент в бассейн и ходить плавать хотя бы раз в неделю — по воскресеньям. С утра в бассейн, а потом — часа на два в Публичку: совсем не читаю, забывать начал, чему в институте учили. В Публичку надо попасть сегодня. И за картошкой надо сходить — мама утром просила...»

Мимо дома шли с работы люди. Женщины проходили прямо, а мужчины поворачивали к пивному ларьку. «Выпить, что ли, пива? — подумал Клюквин. — Вызовы кончились, и очередь небольшая».

Он вышел на улицу. Дождь усилился, и Клюквин натянул на голову капюшон. «Пора купить что-нибудь посолиднее. Плащ какой-нибудь. И зонтик. А то внешне я как врач не внушаю доверия. А по существу? Внушаю я им доверие или так, терпят очередного участкового?.. Сапоги тоже не помешали бы», — думал он, оскальзываясь на мокрой глине протоптанной к ларьку тропинки.

Он занял очередь за коренастым парнем в синем плаще и бездумно уставился на его розовый шарфик, выглядывающий из-под воротника. «Знакомый шарфик,— вертелось в голове у Клюквина.— Где-то я видел точно такой же».

Когда парень повернулся в профиль и попросил две больших, Клюквин вспомнил:

— Игонин!

Парень резко обернулся. Несколько секунд он настороженно вглядывался в лицо Клюквина, а когда узнал, расплылся в нагловатой улыбке:

— А, доктор! Тоже употребляете?

— Не в этом дело, — сказал Клюквин, сдергивая свой дурацкий капюшон.

— Да я ж не осуждаю, — еще шире улыбнулся Игонин. — Даже приветствую. Сделал дело — гуляй смело...

— У вас ангина, — оборвал его Клюквин. — Вам дома сидеть надо, а вы пиво холодное пьете!

— Так все ж для здоровья, доктор. — Игонин отхлебнул из кружки. — Все ради него. Сижу я дома, чувствую — организм пива требует. Разве ж можно перечить своему организму, тем более больному? Нельзя. Надо делать то, что ему хочется, иначе может сформироваться комплекс. Так? А это для здоровья очень неполезно. Еще хуже ангины. Рыбки хотите?

— Я вас завтра же выпишу за нарушение режима, — сдерживая раздражение, пообещал Клюквин.

Глаза у Игонина сделались узкими, как бритвы.

— А я тебе морду набью, — тихо, но отчетливо сказал он.

— Плесень ты, — не выдержал Клюквин. — Плесень вонючая.

Игонин сжал зубы. Его лицо приняло пятиугольную форму. На лбу расползалось красное пятно. Он весь напрягся и, кажется, стал меньше — сложился с тайной силой сжатой пружины, дернул щекой...

«Сейчас я не врач, а он не больной, — мысленно твердил себе Клюквин. — Сейчас у нас совсем другие социальные роли». И, думая так, он искал в себе злость и не находил...

— Ну, — медленно проговорил Клюквин. — Сделай, что тебе хочется, организм.

— Доктор! — крикнул кто-то за спиной Клюквина.

Семеныч, грузчик магазина номер тридцать два, был уже слегка под мухой. После поллитры, что он принял в обед пополам с напарником, утренняя дрожь в руках унялась, мир из черно-белого стал цветным и звенящая душевная пустота заполнилась тихой беспричинной радостью и желанием благодарить.

— Как вы меня, а! — воскликнул Семеныч. — От радикулита-то! Как он меня! — поделился Семеныч с Игониным. — Вылечил-то! Прям это... Теперь сгибаюсь, разгибаюсь — и хоп что!

Клюквин повернулся к Игонину, но тот уже расслабился, обмяк, плеснул на землю остатки пива.

— Ладно, доктор, извиняй, — негромко сказал он. — Не со зла я, нервный просто.

Он повернулся и быстро зашагал к дому, спрятав голову в плечи. А Клюквин вдруг увидел все со стороны: покосившийся ларек среди втоптанной в грязь рыбьей чешуи, кучку пьющих пиво мужчин, себя в нелепой курточке, с кружкой в руке, пьяненького Семеныча и уходящего по лужам больного Игонина... Он поежился, сунул недопитую кружку в окошечко и пошел к троллейбусной остановке.

В обратный путь Клюквин садился на кольце. Здесь троллейбус был пуст и просторен. Клюквин проходил между рядами кресел и выбирал себе мягкое, продавленное тысячами ягодиц сиденье с потрескавшимся от времени дерматином. И двадцать минут, которые он проводил в неторопливом троллейбусе, были похожи на привал после долгого пути, когда скинешь рюкзак, и плечи ноют легкой, приятной болью, и усталость кладет на колени мягкие лапы.

Клюквин протер ладонью запотевшее стекло, достал из портфеля недочитанную утром газету, пробежал глазами заголовок и тут же заснул — как в яму ухнул.

И приснился ему сон.

Будто он водитель троллейбуса. Будто сидит он за баранкой и смотрит вперед, на дорогу. А дорога, гладкая от дождя, как спина тюленя, убегает вдаль, плавно изгибаясь. И светит Клюквину из туманных сумерек зеленая звезда — то ли Альтаир, то ли светофор...

Люди входят в троллейбус, от остановки к остановке заполняя его все больше, занимают свободные места, стоят в проходе, скапливаются у дверей, устраивая пробки. И Клюквин время от времени просит их проходить в середину салона, потому что желающих много.

Он смотрит на пассажиров в зеркало над лобовым стеклом и видит, что все они ему знакомы: и щуплый мужичонка с ящиком стеклотары на плече, слегка хмельной и благодушный; и старушка у кассы — в кулачке четыре копейки зажаты, сама вся в раздумье: опускать — не опускать; и тщедушный человечек в чалме из вафельного полотенца — глаза грустные, как старые колодцы; и востроглазый тип, с инвалидным удостоверением в руках отстаивающий свое законное право на место для сидения; и бабушка с печальным лицом; и высокий старик, виновато кашляющий в кулак; и белозубый парень в брезентовой робе; и девушка с бледными губами...

И все они одинаковые: две руки, две ноги, на плечах голова, на голове шляпа. И все они разные. Клюквин понимает это очень хорошо и с каждым днем узнает все лучше.

Смотрит он на недолгих своих спутников, временных жителей не очень чистого и не очень светлого дома на колесах, который он ведет сквозь морось и мглу, смотрит и холодеет от странного чувства. Ищет Клюквин ему название и никак не может найти. Но вот, кажется, нашел, кажется, догадался, понял и замер, возвышенный и удивленный...

— ...или в окно уставятся, или в газету уткнутся, или делают вид, что спят. Утомилися. А что возле них старуха какая стоит или женщина усталая с работы — им плевать. Шибко культурная у нас нынче молодежь стала, — вещала полная дама в свалявшемся морковном парике, глядя через голову Клюквина.

Клюквин очнулся, понял, что все сказанное относится к нему, и встал, подхватив портфель под мышку:

— Садитесь.

— Спасибо! — язвительно поблагодарила дама.

— Пожалуйста, — по инерции ответил Клюквин и, окончательно проснувшись, стал пробираться вперед — подальше от осуждающих взглядов.

Он стоял у кабины водителя и в зеркале видел его угрюмое лицо. Водитель почувствовал на себе взгляд Клюквина и тоже посмотрел в зеркало. Клюквин показал ему часы — мол, поторопитесь. Водитель поднес ко рту микрофон.

— Правильно и своевременно оплачивайте проезд, — сказал водитель, продолжая смотреть на Клюквина, — карточки предъявляйте.

Клюквин предъявил водителю карточку и стал смотреть в окно. «За картошкой я сегодня не успею, — думал Клюквин. — А в Публичку должен выбраться обязательно. Надо что-нибудь почитать по больной Стукаловой. Хотя бы Хегглина. Главу «Неясный субфебрилитет».

Игорь Рыбинский

Снимали бой

Снимали бой, и небо было мглисто,
юлой крутился яростный помреж.
Набрав таких же, как и я, статистов,
повелевал, оглаживая плешь:
— Ты упадешь в лесу, ты в поле, там пониже,
ты у кустов... Живей! Пора снимать!
Без фокусов! Ты что, не понял, рыжий?
Я не могу все время объяснять!

За трешку помереть?..
Нет времени для спора!
Я из окопа выпрыгнул рывком.
Как жаль, меня убьют уже так скоро,
за этим вот зеленым бугорком!

Упасть ничком в траву, на незабудки...
Ну как смириться с эдакой судьбой?
Нет, не умру! Я повоюю! Дудки.
И я бежал, и продолжался бой!
Забыв совсем про фильм и про оплату,
один уже, но я бежал вперед
и кинул бутафорскую гранату
во вражеский станковый пулемет.

Ну где ж вы, гады! Налетайте скопом!
За мной, ребята! Бей, коли и режь!
Но все враги бежали по окопам,
и самым первым яростный помреж...

Что говорить, бой удался на славу!
Я победил, я смерти глянул в пасть.
Но вот артистом никогда не стану,
раз по команде не сумел упасть.

Комендантский аэродром

Дверями захлопали дальние дачи,
Толпа торопилась испытывать страх.
Мужчины при галстуках — как же иначе?
И дамы собачек несли на руках.

Пускай уж другие за пару понюшек;
Все веет тревогой — разуйте глаза:
И конское ржанье из жарких конюшен,
И вечер так душен — знать, будет гроза.

«Фарман» — этажерка — фанерная птица
На поле конкурном. Застыл ипподром...
Вдруг молния блицем ударила в лица,
Залаяли шпицы. И ливень. И гром.

Взлететь в темноту — хоть какой-нибудь лучик!
И ливень штрихует пилоту очки.
Пропеллер биплана все круче и круче,
Гремучие тучи кроша на клочки.

Ну что тут увидишь, ведь это не в зале!
К тому же грозы низвергается вал.
Мужчины, собачки и дамы бежали...
А утром читали в газетах: упал...

Птичий рынок

Из медного таза, пропахшего тиной,
Достанут вам рыбок по рубль с полтиной;
Найдутся для вас попугайчики ара,
И жук-носорог из Мадагаскара,
И селезень есть — предводитель утиный, —
Все рубль с полтиной, все рубль с полтиной.
И тут же бульдоги сидят и дворняги,
Мальчишки висят на хвосте у коняги,
Торгует цыган полудохлую клячу,

На зубробизона глазеют зеваки,
Но есть и такие, что ходят и клянчат:
«А мне б родословную, но без собаки».
На рынке животных был раз моим гидом
Один старикашка с профессорским видом.
Он мне говорил: «Нет для рынка проблемы —
Тут люди найдутся поопытней Брема:
Слона вам достанут иль хоть трясогузку,
И Красную книгу добавят в нагрузку,
И очень довольным уйдет посетитель.
А вы хомяка приобресть не хотите ль?»
Во мне в ту же ночь копошились кошмары:
Мне снились торги на унылых базарах.
Я в клетке сижу под зонтом паутины
И с биркой на шее — мол, рубль с полтиной.

* * *

Удавы здесь едят морковки,
А кролики едят ботву, —
Здесь ни единой нет размолвки
На всю звериную братву.

Здесь для острастки львы и львицы
Уныло продирают зев;
А молодняк пока резвится
В своих уютных КПЗ.

Здесь кружится в своих забегах
Карикатура на коня...
Твои глаза — как два ковчега,
Где нету места для меня.

Наталья Боенко

* * *

Возьми на память дом,
Все запахи и краски.
Пусть расставанья в нем
И встречи были кратки.

Возьми на память тень
Мою — пускай маячит
И целый белый день
Все ничего не значит.

А я, пока еще
Не высохли чернила,
Возьму на память все,
Что между нами было.

Одесские базары

Люблю одесские базары!
Горят арбузы, как пожары.
А в винограде — неба осыпь,
И небо пробуешь из рук.
Здесь за прилавком правит осень.
И ты — как пьяный на пиру.
Здесь все плоды — в масштабах мифа,
А миф раздули, как могли.
Здесь, как закон, царит над миром
Разгульный, грешный дух земли.
Он сластолюбец,

Он проказник.
Здесь будней нет.
Здесь вечный праздник.
Забудь печаль!
Развей в пыли!
Торгуй плоды!
Меняй рубли!
Здесь все так просто достается:
Отдашь монету — и тяни.
. . .Здесь начинаешь то ценить,
Что никогда не продается.

Елена Менщикова

* * *

За обновленьем зелени листвы,
за удивленным взглядом пробужденья
как вспышка чувств — мелькнет стихотворенье,
заполнятся невнятицей листы. . .

А мне бы только поспевать за ним,
не отставать перу от вдохновенья
в минуту счастья, молнии мгновенье —
все, отчего безудержно горим.

Засеребрятся осенью снега,
зажжется клен под опереньем снега, —
спекаются надежно быль и небыль
на раскаленной плоскости стиха.

Гимн знакомым

Опять стихотворение не начато,
последний луч играет на домах.
Порог мой обивают чьи-то мальчики,
подружек растерявшие впотьмах!

И говорить, наверное, нам не о чем,
и песни перепеты все давно.
Ко времени подумывать о девочках,
о танцах, о вине и о кино.

Любимый мой шатается по городу,
меня ревнуя к каждому юнцу.
А мальчики отращивают бороды
и думают, что это им к лицу!

Владимир Семенов

* * *

Дождя такого мы еще не знали...
Тревогу нам к полуночи сыграли.
В сплошной воде бежим до танкодрома,
Моторы завели — теперь как дома.
Пусть дождь, пусть снег, пускай гудит пурга,
Теперь-то что, хоть к черту на рога!

Выходные дни в деревне

Встречается в деревне молодежь.
— Здорово, друг!
— Здорово!
— Как живешь?
Что нового случилось на заводе?
Ты на Балтийском?
— Да!
А ты на стройке вроде? .. —
И вечером на танцах в сельском клубе
Рабочий люд кружиться в вальсе будет.
А в воскресенье в город все умчатся,
Зови, село, кричи... Не докричаться.

Александр Новиков

Рубашка с рюшами

Без мысли, словно бы задумавшись, Виктор уставился неподвижным взглядом в одну точку, где-то далеко-далеко отсюда. Таня поймала его отрешенный взгляд и помахала рукой перед его глазами, потом совсем прикрыла их ладошкой и прижалась к нему всем телом, теплая, нежная.

— Зайка, ты меня любишь? О чем ты думаешь? — спросила она детским голосом.

Он очнулся, стряхнул с себя оцепенение и обнял ее:

— Любишь — не любишь, плюнешь — поцелуешь, к сердцу...

Она зажала ему рот, чтобы он не говорил про черта. Витя легко, как маленькую, подхватил ее на руки и закружил по комнате.

— Оставь, оставь сию минуту! — вырывалась она, пытаясь взять серьезный тон.

Смущенная, раскрасневшаяся, она наконец освободилась и, с трудом приняв строгий вид, подвела к окну и приказала не оборачиваться, пока она не оденется и не приберет постели.

Немного посопротивлявшись, он все же отвернулся к окну и стал глядеть на серенький двухэтажный домик детского сада, на кусты жимолости вокруг, на тощие деревца в ограде, разноцветные будочки, качалки...

Вот и случилось то, чего он так долго, месяцев шесть уже, добивался: Танечка, самая симпатичная на фабрике девушка... женщина, конечно, — у нее ребенок от первого мужа, но это все равно, — и Таня была только что с ним. Здорово он им всем нос утер, особенно этому Дутову с заготовительного участка. Был у них однажды мужской разговор после танцев, когда Дутов слишком часто стал приглашать Таню. Колька Большаков, Витин друг, кое-как помирил их тогда, но теперь Виктор очень хотел бы поглядеть на Дутова, когда ему передадут, что Танечка-то все-таки с ним, с Виктором... Ему очень захотелось вдруг пива. Он подумал, не сбегать

ли в ларек, пока Танька прибирается, но потом решил, что она обидится. Обидчивость — за ней это водится. Бывает, вспыхнет, накричит, убежит из-за пустяка какого-нибудь. А в остальном баба она ничего, веселая, не соскучишься. Уж это точно. Так его еще никто не любил... Даже Света...

Он попытался отогнать мысль о Свете и рассердился на себя за то, что вспомнил ее именно сейчас. Пива захотелось еще сильнее... Да ведь и не нравилась она ему больше. Танька куда лучше ее. Третьего дня — во, дает! — запонки подарила! Позолоченные! Сначала он даже не хотел брать, но Танька надулась и заявила, что обидится навсегда и что не принимать от женщины сувениры — это невоспитанность. И он принял, тем более что запонки ему здорово понравились, вообще он любил приодеться.

Двери детского садика вдруг распахнулись. Спеша, спотыкаясь, обгоняя друг друга, с крыльца посыпалась малышня в ярких цветастых кепочках, панамках, курточках, платьицах. Одна девчонка повыше других подбежала сзади к пухленькому мальчишке и с разгону толкнула его. Тот шлепнулся прямо носом в землю, желтая кепочка отлетела в сторону. Другой карапуз полез на забор и наверняка бы ушел на волю, если бы запыхавшаяся воспитательница вовремя не сняла его. Потом подняли и пухленького мальчонку, он продолжал орать во всю глотку.

Витя посмеялся над ним и вдруг вспомнил о Танином ребенке. Один или два раза он заставал у Тани дома эту круглолицую голубоглазую девочку, пытался даже с ней заговорить, но та дичилась и пряталась за мать. Таня обычно старалась пристроить ее то к родным, то к знакомым, а сейчас вообще отвезла на месяц к тетке, чтобы ребенок побыл на воздухе, но главное — чтобы не мешал. В общем-то Виктор был не против детей, наоборот даже — он хотел, чтобы их у него было несколько. И если вдруг придется жениться на Таньке... Он представил себя женатым, сидящим с газетой у цветного телевизора, вокруг — его дети. Таня на кухне готовит ужин. Дети начинают шуметь, толкаться... Впрочем, воспитание детей — это женское дело. Ладно, там видно будет.

— Не смотри, не смотри, — припевала между делом Таня. — Галка придет, а у нас как ничего и не было.

Очень хотелось пить.

— Тебе хорошо со мной? — Таня тихо подошла к нему сзади и положила голову на его крепкое плечо.

— Нормально! — отозвался он и снова привлек ее к себе.

Но она ловко вывернулась и потянула его к дверям, сияя счастливыми глазами:

— Бежим в парк на пруды! Там знаешь как здорово!

— Что ты! — испугался он. — Сейчас наши со смены пойдут...

— А кого это ты так боишься, уж не Светочку ли свою кучерявенькую? — прищурилась она.

Он не выдержал взгляда и покраснел:

— Скажешь тоже! Мне теперь до нее как до лампочки. Просто я отпросился у мастера, якобы дрова матери заготавливать.

Таня знала, что говорила: монтажница Света из приборного была прежняя любовь Вити, но, по ее сведениям, у них ничего не было. Тем не менее она не упускала случая кольнуть своего Витю, чтобы он, чего доброго, не вернулся. Но нет, она, Таня, своего счастья никому не отдаст! И Витенька хочет не хочет, а все-таки женится на ней как миленький. Зря, что ли, она вокруг него так хлопочет?

Да и то — сколько ей без мужа-то жить? Подумают еще, что не берет никто. Это было бы для нее самое ужасное: без мужей живут или дуры отпетые, или уж совсем крокодилы в юбках. А она... Лучше ее на фабрике ведь и нет никого. Мужики так и липнут, проходу не дают. Замуж, правда, зовут немногие — козлы они все! — но уж Витеньку она как пить дать окрутит, уж тут она ничего не пожалеет. Он ей подходит во всех смыслах, а Светочка пусть-ка другого кого поищет. Молодая еще. Ей, Тане, с ребенком, труднее найти кого-то. Она повернула к себе его голову и, глядя в глаза, твердо произнесла:

— Светке я тебя никогда не отдам!

Он снова потянулся к ее губам...

На пруды они все же отправились. Они шли кружным путем по залитой вечерним солнцем Подольской улице. Таня вела Витю под руку и то и дело поглядывала в темные окна первого этажа, чтобы увидеть в отражении, как они смотрятся со стороны. Смотрелись они отлично. Попадавшиеся навстречу прохожие, особенно девушки, оглядывались на них: до чего хорошая парочка!

Вот бы сейчас их увидел ее прежний муж, Ленкин отец, тогда бы он понял, кого потерял. Она-то найдет себе и получше его, а вот он спутался с дурой, которая и в подметки ей не годится. Но ничего, она докажет этому подлецу, что ее и с ребенком полюбят не хуже. Он еще приползет к ней на коленях, но она возьмет под ручку своего нового мужа — вот так — и укажет этому подонку на дверь...

Таня просто цвела от своего счастья, Витя тоже был доволен в общем.

На прудах и в самом деле было чудесно: день знойный, а здесь прохлада. Липы, клены, березки едва слышно шелестят листьями, в ольшанике весело трещат воробьи, свистит, поет на все лады разная птичья мелочь. У самой воды бегает трясогузочка: шмыгнет скоренько вперед, остановится, покачает хвостиком — и юрк дальше.

— Догоняй! — Таня скинула босоножки и помчалась по кромке суши и воды. Из-под ног ее веером разлетались брызги.

Он бросился за ней, она забежала в воду и плеснула ему в лицо пригоршней воды. Он смешно замотал головой, захохотал, быстро настиг ее, прижал к себе:

— Будешь хулиганить?
— Буду!
Он поцеловал ее.
— Будешь?
— Буду, буду, буду!
Потом они медленно шли по аллее, и она спрашивала:
— Я нравлюсь тебе, зайка? Очень-очень? — имея в виду, возьмет ли он ее замуж.
— Ты самая-самая красивая на фабрике, — отвечал он, думая: хорошо бы их сейчас видел Дутов.
— Моя Ленка тебя тоже любит, все спрашивает, когда придет дядя Витя... — лгала она.
— Таких, как ты, ни у кого нет...
— Для тебя мне ничего не жалко, все-все на свете я отдам тебе...
— С тобою хорошо, ты такая добрая...
— Никто нам с тобой не нужен...
— Как хорошо, что есть любовь...
— Они еще нас узнают...
Было уже далеко за полночь, когда влюбленные расстались. Виктор был бы совершенно счастлив, если бы ему еще удалось в этот день выпить пива.

Света справилась со стиркой, когда футбол по телевизору кончился, и отец, выкурив на ночь последнюю, мокро откашливался над раковиной.
— Зачем так много куришь, врач ведь сказал: нельзя, — строго выговорила ему Света.
Отец в последнее время стал очень нервный и более или менее спокойно мог переносить только ее замечания, даже матери он не прощал ни малейшего вмешательства в свои дела.
— Много чего нельзя, — пробурчал отец, недовольный проигрышем своего любимого «Локомотива», и, шаркая шлепанцами, пошел к себе укладываться.
Братик Игорь уже похрапывал безмятежно. Мать в желтом конусе света от торшера что-то подшивала на руках.
Света накрутила бигуди и подсела к ней.
— Кстати, — с нарочитой небрежностью начала она, — дай мне двадцать четыре рубля...
У матери аж очки с носа упали: дочкины расходы всегда выводили ее из себя.
— Это еще зачем? Забыла, что ли: тебе пальто в кредит взяли, портьеры купили... Не дам! .. Зачем тебе?! Только не ври!
— Подарок хочу одному человеку подарить... — Она отвернулась и насупилась.

— Что это за человек, такой дорогой? Уж не Витька ли Никонов?

— Ну, Витя...

— А много ль он-то тебе передарил? И что это за мода пошла — девки парням подарки дарить? Ну, парень — ладно: букет или там духи на Восьмое марта. А уж чтобы девки парням ботинки дарили...

— Хорошие ботинки сейчас не столько стоят. Я — рубашку. С рюшами. У нас все девочки, которые с парнями...

Ее охватила злость на непонятливую мамашу, было стыдно и обидно: работаешь-работаешь, а купить, чего хочется, не можешь.

— Да что ты, жена ему — рубашки дарить?! И давно он не кажется что-то...

Света вспыхнула, из глаз брызнули слезы:

— Так никогда и не стану женой! — и выскочила вон.

— Уж дала ей четвертной, — жаловалась наутро мать соседке по лестничной площадке. — Пусть бы у них все сладилось. Но ведь что это за век пошел: уж не платок или там кисет на память вышить — рубахи парням дарить начали... — Она горько вздохнула.

— Да, Нина, вот так, — посочувствовала соседка, — сейчас за все, за все платить надо. Я вот тоже толстой Галке полста отвалила, чтобы палас достала...

Толстая Галка была средоточием личной жизни всего Северного квартала, а значит — и фурнитурной фабрики «Утро», на которой работали почти все проживающие в Северном. К ней как-то сами собой стекались все местные новости, все сплетни, все сердечные тайны молодых и не очень молодых. К ней приходили со своими проблемами: кому жениха присоветовать или с кем познакомить, кому денег в долг взять, кому достать чего или кого на тепленькое местечко пристроить. Толстая Галка все знала и все могла. У нее водились денежки неизвестного происхождения. Сама-то она работала не то курьером, не то экспедитором при отделе сбыта, так что вся ее получка свободно помещалась в изящном бисерном кошелечке. Но зато у нее был свободный вход и выход через проходную и бесплатный проездной на все виды транспорта. Говорили, что сестра ее работает где-то в горторге, но саму сестру никто не помнил. Зато Галку знал каждый, и не раз мужики разживались у нее трешницей до получки, а их жены одалживались десяткой на насущный расход, кляня мужей, с которыми одно разоренье.

Толстая Галка постоянно что-то доставала, предлагала, сбывала, у нее всегда можно было купить модную юбку, сумочку, сапожки, правда приходилось приплачивать, но все понимали, что и самой Галке хорошие вещи не за красивые глаза достаются.

Все молодые женщины ходили у нее в подругах, и она охотно

принимала во всем участие. Конечно, знали, что за ней не задержится, но приходили поплакаться на свои горести и обиды. Она умела успокоить любого, доказать, что жизнь именно такова, и от этого на душе становилось как-то легче. На любой случай у Галки находилась похожая история, и она рассказывала ее, не стесняясь в подробностях и выражениях.

То ли из-за этой остроты языка, то ли из-за ее толщины (а толста она была сверх всякой меры) ни мужа, ни ухажера у нее не было. Казалось, впрочем, что это ее вовсе не расстраивало, и она жила себе припеваючи в своей однокомнатной квартирке, которая осталась ей после того, как сестра получила новую и съехала. Эта квартирка зачастую служила нетерпеливым влюбленным местом встречи.

— Ну что, заинька, поладили? — заговорщически стреляя по сторонам карими своими глазками, поинтересовалась Галка, поймав на следующий день Таню в столовке. — Как он, ничего парень? Ну, уж, я думаю, с такими плечами...

Таня покраснела, потупилась, ей не хотелось сейчас откровенничать с Галкой, но та не отпускала подруг так просто.

— Ладно-ладно, не дуйся, — Галка больно ткнула ее пальцем в бок. — Счастливая ты... Слушай, Танька, — без перехода затянула она, — дай мне твою водолазку вишневую поносить. Тебе ж она все равно велика...

Тане до смерти было жаль вишневой водолазки. Она вовсе не была велика, она так гладко обтягивала грудь, плечи, талию, и очень шла Тане, а Галка, туша этакая, растянет — и доставай потом новую. Все равно что выбросить.

Но сопротивление было бесполезно: не такой человек толстая Галка. Мимоходом она намекнула, что к ней просится пожить старая подруга, но ради Танькиного счастья она, конечно, откажет подруге.

Вишневая водолазка перекочевала в ее шифоньер.

Мать все просила Витю заготовить дров, пока еще не настали осенние холода. Витя с раза на раз это откладывал, его мучила совесть, и вот сегодня наконец большое дело было сделано: вместе с верным другом Колей Большаковым они привезли, напилили и накололи кубометра четыре. Сейчас они отдыхали, ощущая гудящую теплоту в натруженных плечах и ладонях. Мать была до смерти рада, угощала своих работничков обедом и даже выставила как поощрение бутылочку дешевой «Кубанской».

Друзья понемногу выпили и звучно, с аппетитом закусывали. Мать не могла наглядеться на своего красавца Витюшу. Он единственный остался с ней. Старший сын завербовался на Кольский полуостров на рыболовецкий траулер, деньги на квартиру зараба-

тывает. Дочка Лена, тоже старше Вити, после института уехала к мужу в Курск, детей у них пока не было. За старших мать была спокойна, а младший, Витюша, все как-то не устроен: слесарит на фабрике, получает немного, учился одно время в техникуме на вечернем, потом что-то не заладилось, а сейчас — не говорит — то ли нагнал с учебой, то ли вовсе бросил. Вот жениться бы ему, а то сбродится или сопьется с пути. Это мать страшило больше всего.

— Не пей много, Витюша, — говаривала она, — вишь, что водка с людьми делает: отца вспомни-ка...

— Ты бы, мама, пошла отдохнула, — перебил ее размышления сын, — тоже устала.

Она встрепенулась, собрала грязную посуду, наложила им в чистую картошки с мясом и захлопотала:

— И что это я с вами тут засиделась, ведь у меня дел еще по горло, да и вам без меня про свое говорить проще...

Когда дверь за матерью хлопнула, приняли еще по одной, и Витя — ему не терпелось поделиться с другом — завел разговор о своей новой любви. Снисходительно, свысока отвечал на вопросики, что подбрасывал ему любопытствующий друг. Наконец Витя понял, что его вышучивают, и надулся. Коля давно дружил с ним и уже знал: когда тот упирается хмурым взглядом куда-то в сторону, значит, он по-серьезному злится и шуточки пора кончать. Поэтому Колька оставил свои расспросы и сказал неожиданно:

— А с толстой Галкой ты зря связался: разнесет по всей фабрике.

— Пусть. Все равно я на Тане женюсь. Решил.

— Ну ты даешь! — изумился друг. — Она же с ребенком.

— Ну и что? Ребенок не мешает, его и не видно.

— Это сейчас не видно.

— Но у меня с ней любовь! Да ты опять смеешься, — снова набычился Виктор.

— Не смеюсь, а улыбаюсь, — возразил Коля. — Смеяться тебе можно, у тебя любовь, а я один как перст, и тот без перчатки, — сострил он, но продолжал уже серьезно, даже с грустью: — На праздники опять тащись на танцы, а там все девочки или при парнях, или такие, что вечером напугаться можно... — Колька от расстройства так глубоко затянулся «примой», что закашлялся до слез. — Познакомил бы с какой. Спроси у Таньки, пусть подружку приведет, вместе гулять будем, — подмигнул он.

Виктор не любил таких дел, он считал: пусть каждый устраивается сам, как может. Но тут ему стало жаль Кольку, который всю жизнь мотается по интернатам да общежитиям, и он неожиданно для самого себя вдруг предложил:

— Слушай, бери Светочку из приборного — девочка что надо.

— На тебе, боже, что нам не гоже? — криво ухмыльнулся Коля.

Виктор было обиделся, вспыхнул, но потом сообразил, что это

даже лестно: оказывается, он может распоряжаться девочками и дарить их друзьям. Он примирительно хлопнул дружка по колену:

— Не пыли! Кто-то теряет, кто-то находит, а у нас с ней ничего не было! Честное слово! Смотаем как-нибудь вместе в киношку, познакомитесь. А ты мне, слушай, устрой через инструменталку новый слесарный набор...

Колька вдруг как-то сник и совсем загрустил. Виктор предложил было сбегать еще за пузырьком, но тот сказал, что устал, и пошел спать к себе в общагу.

Случай помочь другу представился уже на следующий день. Получилось так, что Света почти одновременно с ним подошла к автобусной остановке после смены.

— Что-то вас давно не видно, товарищ Никонов, — начала Света, напряженно улыбаясь.

Виктор смутился, не нашелся сразу, что ответить, но потом вспомнил про Кольку, завел обычный треп и между прочим закинул крючок:

— Давай сходим как-нибудь в киношко.

Светочка засияла, порозовела и радостно кивнула. В этот момент Вите почему-то захотелось отыграть назад, но тут подошел автобус, Света втиснулась кое-как, и он помахал ей рукой.

В ближайшую пятницу Коля, подстриженный, выбритый, наодеколоненный и даже в галстуке, ждал Витю и Светочку у кинотеатра «Вперед», где шел фильм «Городской романс». В одной руке он держал букет красных гвоздик (цвет любви!), в другой — кассетный магнитофон «Маяк», который выдавал что-то модерное, сто двадцать пять ударов в минуту. Подошел Виктор, легонько ударил друга по плечу, снял воображаемую пушинку с лацкана его пиджака, втянул в себя аромат парикмахерской, витавший над Колькой, и похвалил:

— Выглядишь нормально!

Минут через пять подлетела Светочка, тоненькая, с завивочкой, в широкой голубой юбке, на каблучках, глаза счастливо сияют. В руках большой плоский сверток в газете.

— Мой друг, Николай, — глядя в землю, представил Виктор. — Билеты вот нам достал...

Тот галантно прищелкнул каблуками и протянул цветы. Света с некоторым недоумением посмотрела на Витю, но букет приняла. До начала картины оставалось еще минут сорок, и они пошли прогуляться по аллее, где вечерами собирался весь цвет молодежи Северного квартала. Света была разочарована: зачем он притащил этого кадра в салатном галстуке? И что это Витя все отлучается: то отстанет шнурки завязать, то убежит к ларьку за сигаретами, то с кем-то из парней остановится болтать?

— Витя, можно тебя на минутку? — отважилась наконец она. Николай тактично отошел в сторону покурить.

Смущаясь и глядя в его подбородок, она произнесла скороговоркой:

— Витя, послезавтра день Военно-Морского Флота... Ты, как бывший моряк... Вот, хочу подарить тебе подарок...

Она неловко сунула ему под мышку рубаху, завернутую в «Комсомолку», уголок отогнулся, на нем прочиталось: «Любовь, как песня».

Первым движением Виктора было отдать назад, не принять, но потом, смущенный, оглянувшись по сторонам, принял, сказал: «Спасибо», неопределенно усмехнулся и неуверенно взял Свету под руку. Она прижала к себе тоненьким холодным локотком его крупную теплую руку, и так они вернулись к заскучавшему уже Николаю. Он воспринял жест приятеля как знак и тоже осторожно взял Свету под другой локоток. Света, поглощенная только что свершившимся, едва ли это заметила.

С трудом сдерживая слезы, чтобы не разреветься при Николае, который увязался-таки ее провожать, не попрощавшись, Света взбежала по лестнице домой, влетела в комнату, по дороге сбила с ног ошеломленного и даже не заревевшего Игорька, кинулась ничком на свою кровать, закусила до боли в зубах угол подушки и зарыдала. Тщательно отпаренная утром юбка смялась, аккуратно завитые мелкие кудряшки растрепались. Игорек, потирая ушибленное место, побежал на кухню звать маму.

Мать насильно подняла ее, переодела, заставила выпить валерьянки, принесла крепкого сладкого чаю.

— Взял рубашку, — всхлипывала Света, — а сам с середины сеанса будто бы покурить вышел — и не вернулся... Этому недомерку Николаю меня подсунул...

— Подлец, подлец, — мать гладила ее плечи, — пил-ел у нас почитай год, а теперь гляди что вытворяет. Уж я его привлеку, привлеку... Мы ему рубашку за двадцать пять рублей, он к нам спиной...

— Да отстань ты со своими рублями — я ему любовь подарила, а ты... — И вновь залилась слезами.

— Ну, не плачь, — успокаивала ее мать. — Вот я и говорю: мы ему любовь подарили и рубашку с рюшами у Галки перекупили, а он, подлец...

До самого утра мать вздыхала и ворочалась на своей скрипучей кровати. Отец спал с открытым ртом и храпел на всю квартиру.

Света уже не плакала, а лежала, глядя в серый потолок, и слушала, как где-то у соседей веселились, играла музыка: по приглушенным звукам она все же узнала свой любимый ансамбль

«АББА». Записи, правду сказать, у этого Николая неплохие... Она слушала, и ей представлялись веселые, беззаботные, поющие мальчики в джинсах, в белоснежных рубашечках с рюшами: один за роялем, другой — с гитарой. Представлялись их подружки, самостоятельные, отлично одетые и причесанные, любимые и любящие. А она ведь ничем не хуже их... «Мани-мани-мани...»

Ее жгла перенесенная сегодня обида, было невыразимо горько за всю свою однообразную, неинтересную, скудную жизнь. Она молча стискивала зубы, и прохладные слезные дорожки ползли по вискам и ушам на подушку, она не вытирала их, и они медленно высыхали.

В воскресенье был день Военно-Морского Флота. С утра Виктор намылся и гладко выбрился, мамаша подала ему отпаренные брюки и робко спросила, не поздно ли он вернется.

— Году не пройдет, — весело отмахнулся он.

— Не пей много, Витюша, — попросила она.

— Ладно, не буду, — ответил он, влезая в еще теплые и влажные брюки.

Потом он надел новую рубашку с рюшами, вдел позолоченные запонки и с удовольствием погляделся в зеркало. Настроение было отличное. Вчера Колька принес ему в бытовку новенький, еще в масле, инструмент. Витя так и ахнул, чего там только не было! Чувствовалось, что Кольке самому было жаль расставаться с инструментом, — ему, мол, его в честь окончания ПТУ подарили. Перед тем как отдать ящичек, он поканючил еще, что, дескать, Света даже не попрощалась. Но Витя ему резонно заметил, что это уже не его забота.

Сегодня у него свидание с Танечкой. Они пойдут на гулянье, потанцуют немного, потом в парке, где потемнее, он обнимет ее за талию, она обхватит его шею, и он будет целовать... Может быть, она опять договорилась с толстой Галкой.

Скажи, зачем мы друг друга любим,
Считаем дни, считаем дни...

Мурлыкая слова популярной песенки, он вышел на зеленую улицу, залитую солнцем. В тени деревьев на лавочках спасались от жары пенсионеры. Нарядные, веселые парни и девушки, люди постарше — все двигались к парку. Среди них выделялись братцы матросики в белых парадных форменках с синими гюйсами, в отутюженных клешах. Витя вспомнил и себя на службе — вот точно таким же.

На прудах было полным-полно загорающих, вовсю купались. Витя с удовольствием окунулся бы и сам, но времени было не

много, к тому же опасался испачкать рубашку с рюшами и смять брюки.

Ровно в пять он стоял у Таниных дверей. Перед тем, как позвонить, он поправил рюши, встряхнул букет роз, сторгованный у цыганки за пять рублей пятьдесят копеек, разогнул смявшийся лепесток у одной из роз...

Таня открыла не сразу. Она мгновенно окинула его каким-то чужим взглядом и издала неясный звук. Потом, будто бы не заметив протянутого букета, повернулась и ушла в кухню, где слышался недовольный ноющий голосок дочки Лены.

— А я говорю: ешь сию минуту! — напустилась Таня на дочку.

Та выталкивала языком из набитого рта рисовую кашу, мотала головой.

— Ах ты мерзавка! — не выдержала наконец Таня, выдернула Ленку со стульчика, больно вытерла ей мордашку, тряхнула за шиворот, поддала по заду. Девчонка сморщилась, покраснела, завыла во всю мочь и вылетела из кухни.

Таня упала на стул, уткнула лицо в руки и на мгновенье замерла. Витя стоял в дверях кухни со своим букетом в полном недоумении. Его неприятно поразило присутствие этого несимпатичного ребенка, который мог сорвать ему праздник. Но еще больше поразило то ожесточение, на которое оказалась способна его нежная, ласковая Танечка. Но это были еще первые раскаты приближающейся грозы.

Незадачливый любовник не мог знать, что его новая рубашка с рюшами была приобретена у толстой Галки, а Галка, конечно, не упустила случая поделиться бесценными сведениями с подругой. Теперь Тане, которая до этого еще сомневалась, воочию представилось несомненное свидетельство. Оно легкомысленно топорщилось своими белыми волнами на мускулистой груди неверного возлюбленного.

— Тебе чего надо? — крикнула она, подняв красное от гнева лицо. — Обновочку пришел показать? Идет! Особенно к запонкам! А я, дура, верила! Душу отдавала! Галке водолазку отвалила!

Из глаз ее посыпались крупные слезы, она подскочила к нему, выхватила букет, больно хлестнула его шиповатыми стеблями по шее (до лица не достала) и снова заорала:

— Пошел вон, гад ползучий!

Ленка, разинув рот, наблюдала в дверях, как мама наказывает красивым букетом такого большого дядю, а у него из расцарапанной шеи красными капельками стекает кровь на красивую беленькую рубашку.

Витя опомнился, когда уже стоял на лестнице. Из-за двери донесся истошный визг Ленки:

— Мамочка, я больше не буду!!!

Он снова бросился к двери, вдавил кнопку звонка и долго не отпускал.

— За что? За что?! — повторял он вполголоса. Нужно было обязательно сейчас же узнать, что ей такого сделал он и чем перед ней провинился этот жалкий ребенок. Он должен сейчас же узнать и вернуть все-все назад, как было. Он стучал кулаком в дверь, звал глухим, каким-то не своим голосом. Но дверь не открылась.

Он сел на ступеньку и долго, скорчившись, сидел... Опустошенный, наконец спустился, вышел на улицу и побрел обратно в сторону парка. Когда он подошел к парку, ему вдруг померещилось, что у входа стоит Света под руку с Николаем. Но толпа тотчас скрыла их, он было двинулся к ним, но его окликнули: у ларька стояли несколько знакомых ребят с заготовительного участка, среди них был и Дутов. Дутов презрительно поглядел на него и отвернулся. Виктору протянули кружку:

— Ты что — как мышь проглотил? Запей, что ли...

— А на шее?.. Ну, брат, у тебя и бритва!

Он залпом проглотил пиво, внутри посвежело, но потрясение еще не прошло. Дружки отвели его на квартиру, дали чью-то желтую рубашку. С рюшами он брезгливо пихнул под ванну. Сунул голову под кран, вода была теплая. Потом появилась бутылка портвейна. Сегодня все было почему-то невкусно. Дутов снова потащил всех в парк.

Выстояли очередь на качели. От размаха качелей занимался дух, но Виктор кое-как держался. После сели на колесо обозрения. Сверху дома Северного квартала виделись смехотворно маленькими, а людишки — вообще как букашки. Виктор хохотал, вскакивал, пытался подтянуться на раме люльки, его удерживали...

Стемнело. Из всех динамиков понеслось истошное:

Лишь любовь во всем виновата,
Лишь любовь всегда виновата.
То-то и оно! То-то и оно!..

Потом каким-то образом он очутился на берегу пруда, один. Еще через некоторое время он с удивлением обнаружил себя в обществе толстой Галки. Крепким обхватом она держала его за талию. Его рука лежала на ее плече. Плечо было круглое и теплое под тонкой шерстяной тканью. Виктор силился вспомнить, откуда ему знакома эта шелковистая гладкость.

— Они, дуры, не знают, какой ты хороший, — жарко шептала она, прижимаясь к нему мягким боком и грудью.

— Но она ведь ребенка до смерти забьет, — возбуждался Виктор, — такая и убить может...

— Успокойся, зайка, ну, успокойся...

Мать давно накрыла на стол, но отец был не в духе и все не начинал.

— Нет, уж ты послушай меня, дурака необразованного, — не унимался он. — Думаешь, я устарел и ваших дел не понимаю?

Света шумно выдохнула и недовольно помахала перед лицом рукой с перламутровыми ноготками: едкий дым от отцовой сигареты ударял ей в нос и щипал глаза.

— Ты вчера когда пришла? Молчишь? То-то!

— Не волнуйся, заинька, тебе вредно, — попыталась сыграть Света. Обычно на отца ее ласка действовала безотказно, но сегодня он взвился:

— Какой я тебе, к чертям, заинька! — Он повысил голос и закашлялся. — Это тебе по ночам вредно шляться с кем попадя.

— Это мое дело! — Света вспыхнула.

— Оставь, отец, — вступилась мать, уже досадуя на себя за то, что поделилась с ним дочкиными делами. — Дело молодое — им замуж надо.

— Замуж? — вскинулся отец. — Замужа от блудни не бывает!

У Светы уже окончательно пропал аппетит, она едва сдерживала слезы.

— Замуж... — начал остывать отец. — Вот Николай вчера опять целый вечер у парадной с букетом продежурил, а что духов тебе передарил... Вот и шла бы замуж, чем родителей изводить.

— Да ешьте вы, щи вовсе остыли, — мать вконец расстроилась.

Отец принялся за щи, а Света вдруг двинула стулом и пошла из комнаты.

У дверей остановилась, крутнула юбкой и громко, срываясь голосом от волнения и обиды, заговорила:

— Да, я знаю, вам надо, чтоб я с глаз долой! Хоть замуж, хоть куда! Вот и пойду сейчас к этому недомерку, вот и скажу: согласная. Сами потом жалеть будете...

И выскочила вон.

— Светочка! — кинулась за ней мать.

— Вот дура! — отец бросил ложку, она ударилась об стол и звонко упала на пол.

Коля хотел незаметно перейти на ту сторону улицы, но было поздно — Виктор увидел его и окликнул:

— Колька, привет! Ну и друг, называется: слышал, женишься, а на свадьбу кто звать будет? Не ожидал.

Голос Виктора стал тоже, как и он сам, какой-то мясистый. Виктор за этот год заметно раздался в талии и в бедрах.

— Забываешь, забываешь старую дружбу. А кто вас познакомил? От меня не отвертишься — все равно приду. — Он приобнял

Колю за плечи. — А как там у вас, то есть у нас, — он хохотнул, — на фабрике? Все корпим: план, заказ, наряд?

— Да, заказ-наряд, — Коля глядел в сторону.

— А я теперь на базе, учетчиком, — работа непыльная. Машину вот купил, приходи со Светочкой — покатаю.

— Хорошо, у кого все есть... — Коле почему-то захотелось врезать ему.

— Да уж неплохо, точно. За Галкой, знаешь, как за каменной стеной. Пойдем коньячку треснем, я тебе расскажу, как мы машину сделали.

— Коньяк мне врачи запретили, — прищурился Коля, глядя в его довольное лицо. Он представил, как сейчас врежет в эту пухлую щеку, как тот зашлепает своими губищами. Ему сделалось противно, и он не стал бить.

Как бы шутя, он натянул ему шляпу на глаза, повернулся и пошел:

— Привет Галочке, любовь да совет. Главный совет: бегать больше — от ожирения помогает.

Ирина Сидорова

* * *

Полдень в степи.
Обмелели крики птиц,
а утром так разливались.

Вода клубками
перекатывается во фляжках
и тянется от губ к губам.

Полдень.
Солнце спицами
вяжет нам жажду.

* * *

Безмятежный и сонный
этот июль в степи,
где в небе раскрытая птица
долго чернеет.

С картошки снимают женщины
жестких жуков,
как серьги,
а я убаюкиваю
маленького ребенка.

Дни сворачиваются
в кульки,
и в каждом из них
по солнцу,
как по абрикосу.

Елена Шварц

Из цикла «Кинфия»*

К Купидону

Боль всегда с тобой, сосунок крылатый.
Хоть и разлюбишь — проститься больно.
У тебя в колчане стрел всегда вдоволь, —
Так зачем, жадный,
В горло упершись,
Стрелку рвешь так сильно
Из засохшей ранки?
Или мстишь, что больше мне не хозяин?
Лучше уж запусти другую,
Не тяни эту, не рви, не трогай —
Запеклась кровь уж.
Так лети себе, не жадничай, мальчик.

* * *

Как я вам завидую, вакханки,
Вы легко несетесь по нагорьям,
Глаз белки дробят луны сиянье,
Кобылицами несетесь вы степными.
Как-то раз в сторонке я стояла —
Привела меня подружка — мы смотрели —
Вдруг она, не выдержав, забилась
Тоже в пьяной пляске и рванулась
Вслед за вами, про меня забывши.

---

* Кинфия — римская поэтесса, жившая в I веке до н. э., героиня элегий Проперция. Ее стихи не дошли до наших дней. Изучив эту эпоху, автор попыталась «перевести» их на русский язык. (Прим. Е. Шварц.)

Я смотрела — ваши рты кривились
И съезжали набок ваши лица,
Будто бы с плохих актеров маски,
Вы быка живого растерзали
И, давясь, его сжирали мясо
И горячей кровью обливались.
Разум выплеснули, как рабыня
Выливает амфору с размаха.
И на вас в сторонке я глядела.
А домой пришла — смотрю — все руки
Расцарапаны, в крови до локтя...
Вот удел твой, Кинфия, несчастный —
На себя ты страсть обрушить можешь,
На себя одну, и ни страстинке
Улететь вовне не дашь и малой.
За быком не побежишь нагая...

* * *

Кто при звуках флейты отдаленной
Носом чуть поводит, раздувает ноздри,
Кто на помощь слуху зовет обонянье,
Тот музыку тонко понимает.
Кто, поставив пред собою блюдо,
Сладкий запах, острый дым вкушает,
Наклонив к нему слегка и ухо,
Толк тот знает не в одной лишь пище.
И любому чувству из шести — какому
Ни нашлось бы дело и работа —
Смежное он тотчас приплетает,
Тотчас же их все зовет на помощь.
Поступает он как грек умелый,
Управляющий большою виллой, —
Хлынет дождь — он выставит кувшины,
Не один, а все, что только в доме.

Евгений Сливкин

Облако

Не знал я, что моя рука
творила. Все ребячий пыл!
Под небом я снеговика
из снега горного слепил.

Он ничего не выражал —
он был как белое яйцо,
и корнеплод не унижал
его безносое лицо.

Он без улыбки горевал,
навзрыд смеялся.
Вот так смех!
А я ушел на перевал,
упрятав руки глубже в мех.

Я был с друзьями,
он — один,
меня трепали по плечам,
к нему — лишь фауна Хибин
в метелях жалась по ночам.

Я позабыл снеговика,
отмыл загар в долине рек.
Наверное, не велика
потеря — снежный человек.

Весной, не ведая само,
куда — зачем — по чьей вине,

его посмертное письмо
приплыло по небу ко мне.

Пуля

Хмельной пастух!
В кого он метил?
Из карабина выстрел с гор.
И пуля,
как гребенка,
ветер
причесывает на пробор.

Летит, свинцовая,
хохочет,
освистывает бытие!
И нет на свете одиночеств —
лишь одиночество ее!

Солистка,
не сольется с хором.
По воздухам протяжный всхлип:
она снижается над морем,
и тень ее пугает рыб.

Три окна

Хозяйка домом трехоконным
была довольна, как дворцом:
сдавала комнату влюбленным
в придачу с кухней и крыльцом.

Мы жили молча, и никто к нам
не приходил надоедать.
С постели я бросался к окнам,
чтоб вдохновенью пищу дать.

И сквозь опущенные шторы
я видел в первое окно,
как перематывают горы
дождя цветное волокно.

Окно второе открывало
пляж цвета мокрого пшена:
из-под кипящего обвала
волны —
            вставала тишина.

А в третье взгляда я ни разу
не бросил, — что там ни смотри,
все, что еще хотелось глазу
увидеть, —
            было здесь внутри!

Валерий Гобозов

* * *

Дни нашей жизни... Где они?
Едва пришли, уж нет их вскоре.
Так удаляются огни,
Когда корабль уходит в море.

Но если время — океан,
В нем судьбы стран — всего лишь реки.
И мы, народы этих стран,
Друг с другом связаны навеки.

Взлетают к солнцу наши дни
Стремглав, когда мы спим ночами.
А возвращаются они
На землю теплыми лучами.

Перевод с осетинского
Владимира Приходько

Юность

Вспомнив юность, не грусти,
Горьких слез не лей.
Для других поет, свистит
В роще соловей.

Пусть звезда, хотя б одна,
Светится во мгле.
Юность каждому дана,
Как полет стреле.

То, что помнится с трудом,
Вовсе не жалей.
Не забудь построить дом
В юности своей.

Перевод с осетинского
Владимира Приходько

Зерна

Вспахано поле под озимь.
Ветер гуляет сквозной.
Но не страшатся морозов
Зерна, укрывшись землей.

Что им порывистый ветер!
В завтрашний день влюблены,
Зерна — счастливые дети —
Видят зеленые сны.

Перевод с осетинского
Владимира Приходько

Владимир Рекшан

Домра

Говоря без кокетства, я человек совершенно обыкновенный. И лицо, и руки обыкновенные, и сорок второй размер обуви. А с недавних пор обычные складочки жира стали обволакивать торс. Должность-то и вовсе ординарная, как и оклад. Но я стараюсь в «Гипродоре», насколько позволяет отсутствие талантов... Нет-нет, я не переношу кокетства! Я — ИТР, или, как у нас любят говорить в лаборатории, «белый воротничок». У нас в лаборатории все «белые воротнички», и Николаев шутит по этому поводу каждое утро.

— Ты, Кириллов, — говорит мне, — не белый, а серый воротничок. Кто тебе так рубашки стирает?

Николаев знает прекрасно, что я холост и от прачечной давно отказался. Говорят, машины быстро изнашивают белье. Николаев любит поддеть шуткой, но это не расстраивает. Ведь мы почти друзья! У нас одна тема, столы по соседству, мы обмениваемся книжными новинками и говорим о фильмах.

В холостой жизни ничего хорошего нет, как многие, наверное, думают. Правда, судя по разговорам в «Гипродоре», и в семейной жизни мало удивительного.

Но зато у меня есть домра. Этот музыкальный инструмент старинного производства украшает комнату. Я люблю его, люблю на него смотреть, люблю вытирать пыль и перебирать струны. Медная обмотка кое-где стерлась, струны дребезжат. Но инструмент хороший. Видимо, вышел из-под руки настоящего мастера. Очень хочется верить в это, поскольку домра в нашей семье давно. Так гласит семейное предание. На свете от Кирилловых остался только я. И — домра. Ее держали в руках отец и дед. Думаю, так же вытирали пыль и любовались. Говорили мне в младенчестве: «Прадед был замечательным домристом. И отец прадеда, и его отец». А при мне на домре никто не играл, но все равно она мне очень дорога. Делает меня, в какой-то степени, не таким уж обыкновенным. Она темно-вишневого цвета с перламутровой инкрустацией.

Перламутр переливается на свету, напоминая утренние облака детства. Когда впервые обращаешь на них внимание и понимаешь, до чего же хороша жизнь...

А какие необыкновенные колки! Три костяных колка, пожелтевших от прикосновений и времени.

Я не играю на домре. У меня никогда не возникало такого желания. Это странно, конечно. Даже при полном отсутствии упорства и музыкального слуха. Но когда мне попадается на глаза заметка или какая статья о домре и домристах, обязательно прочту ее. Иногда вырезаю понравившееся и вкладываю между страниц самоучителя игры на домре. Не подумайте, будто я пытался учиться. Самоучителю тоже бог весть сколько лет.

По радио и телевизору домру услышишь не часто. К чему скрывать — такое положение вещей тревожит. Таким образом проявляется во мне свойственный человеку эгоизм: ведь, чем меньше людей интересует домра, тем менее интересным становлюсь я сам. По возможности стараюсь с собой бороться.

Утром я встаю не впритык, но пораньше, чтобы не спешить, вытираю с домры пыль мягкой замшевой тряпочкой. С ужасом посматриваю на гантели, при мысли о пользе гантельной гимнастики нервный холодок пробегает по спине. Гантели лежат возле батареи, словно две почерневшие от времени берцовые кости... Их мне Николаев подарил два года назад на Восьмое марта. Сами понимаете теперь, что он за шутник.

Живу я в малонаселенной квартире. Кроме меня ее населяет единственная соседка — Любовь Анатольевна. Она пенсионерка и человек очень заботливый. Похожа на самую обыкновенную старушку. Поднимается каждое утро чуть ли не с гимном, кипятит чайник, варит яйцо «в мешочек», намазывает маслом ломтик хлеба и ждет моего пробуждения. Мы с ней «жаворонки» и ладим замечательно. Супруга она схоронила давно, вспоминает его редко, но уважительно. Сын же работает где-то на Курилах вертолетчиком. Приезжал год назад, когда я в командировке мотался. Бездарнейшая, надо заметить, получилась командировка...

— Сон мне снился страшенный, — говорит Любовь Анатольевна, когда я появляюсь на кухне, взбодренный водными процедурами и бритьем.

Сажусь за стол, отколупываю с яйца скорлупу и смотрю в окно, за которым на время прекратился дождь, улица тут же взбодрилась, потекли людские ручейки. Чувствуя себя причастным к этому вечному круговороту жизни, начинаешь забывать про обидное одиночество и думать: жизнь прекрасна!

— Что за сон? — спрашиваю я соседку. — Что-нибудь этакое? Как всегда?

Любовь Анатольевна посмотрела недавно фильм о приключениях Одиссея, и ей, согбенной и одинокой, снится сон: из-за пригорка выскакивает на белом скакуне в белых одеждах Одиссей, размахивая коротеньким мечом, а вместе с ним греки скачут. Торопятся ее, Любовь Анатольевну, от кого-то защитить.

— ...А потом вижу, будто по небу летят журналы пестренькие, а на каждом мое лицо! — дорассказывает она свой сон. — А лицо молодое такое, румяное. Стыд просто.

Подобные истории прослушиваю частенько, и они бодрят лучше всякой гантельной гимнастики.

Сегодня я проснулся с любопытным ощущением. Не скажу точно, какое это чувство, но что-то тревожащее, щемящее. Оно преследовало меня, пока я спускался по лестнице, пока ежился под дождем, вновь заморосившим из низких туч, направляясь к троллейбусной остановке.

У меня есть некоторые правила. Например, когда жду транспорт, читаю объявления. Их всегда приклеивают на фонарный столб. Объявления случаются удивительные. Чего только с людьми не происходит! Они теряют хромающих болонок с подпалинами на боках, ключи, кошельки, желают обменять комнату в пригороде на квартиру в центре, желают учиться макраме и предлагают подготовить к поступлению в любой вуз.

Сегодня первые объявления оказались пустяковыми: «Продам (далее неразборчиво)... пятьдесят четвертого размера». «Куплю Майн Рида и Булгакова». «Одинокая учительница средних лет снимет квартиру за любые деньги». Но когда прочел следующее объявление, оно по-настоящему потрясло. Вот какое было предчувствие! Я раз двадцать перечитал объявление, смоченное дождиком. Оно гласило: «Срочно требуется домра». Вряд ли получится передать ту гамму чувств и оттенков, что вмиг взбудоражили душу. Объявление невероятное! Кому-то срочно требуется домра. Человек взывает к людям с просьбой, с мольбой: «Дайте мне домру! Этот музыкальный инструмент сделает жизнь мою наполненной и счастливой. Дайте мне ее, дайте!»

Кто писал его? Молодой ли, старый, мужчина, женщина, девушка? Хотя разве столь важно это? Важно другое — человеку нужна домра. Он живет в доме двадцать четыре, квартира восемь.

...В троллейбусе, пока он медленно катился по октябрьским улицам, я думал: «У меня есть домра. Я не играю на ней нисколечко. Может, она портится, когда на ней не играют? Но ведь моя домра — реликвия. И речи быть не может, чтобы отдать ее». Однако какой-то второй, неожиданный и более сильный голос заговорил во мне: «Кириллов, ты обыкновенный человек, ты просто заурядный человек, и домра тебя от этого не спасет. У тебя есть

счастливый случай возвыситься над своей заурядностью, и ты хочешь пройти мимо него?» Он говорил во мне рокочущим басом. «Но что же я стану делать? — спрашивал я себя. — Кого стану любить? За кем ухаживать? Да, я возвышусь над своей обыкновенностью. Но после жизнь моя станет во сто крат обыденней. Без домры-то!» — «Не аргумент это! Ты и сам знаешь, — повторялось рокочущее. — То есть аргумент. Да. Но слабого человека. А вся твоя обыденность от слабости».

Совершенно разволновавшимся пришел я в «Гипродор». Было тоскливо одному торчать в лаборатории. И я вышел на лестничную площадку перекурить. Обычно лень вставать из-за стола, чтобы толкаться на лестнице. Поэтому почти не курю.

— ...Да «Зенит»... Да знаешь!.. Да Казаченок!..— слышался спор.

Мое волнение не осталось без внимания. Николаев сказал:

— Не иначе как влюбился наш Кириллов. Влюбленных я вижу за три версты. Пора-пора, Кириллов. И так своим холостым состоянием порождаешь смуту в мужском коллективе.

Наши рассмеялись, им только дай повод. Но я даже не улыбнулся.

Я чертил, рассчитывал, обедал, курил. А во мне спорили голоса. Каждый приводил свои доказательства, и к пяти часам они меня совершенно запутали.

Я вышел из «Гипродора» вместе с Николаевым. Он сто раз предлагал: «Рванем по кружке пива и разбежимся». Но я сказал, что у меня к нему важный разговор и если он считает меня товарищем и хоть чуточку уважает, то пусть выслушает.

— Конечно влюбился, — сказал Николаев, и мы зашли в пирожковую. Пока Николаев жевал и нахваливал пирожки с луком, я рассказал ему об объявлении и своих сомнениях.

— И все?! — удивился Николаев.

— Все. Мне нужен совет товарища.

— А я-то думал, ты влюбился. Лучше на девушек смотри, а не на объявления.

— Но мне нужен совет товарища, — настаивал я.

— Не понимаю тебя, Кириллов, — сказал Николаев. — И здесь тебе требуется подсказка. Домра у тебя без дела болтается? Без дела. А тебе подворачивается возможность загнать ее. Или отдать. На твое усмотрение! Никому она не нужна была, и вот, на́ тебе, понадобилась.

Весь вечер я провел дома. Не включая света, сидел в кресле и смотрел на домру. В темноте она почти не различалась. Больше никогда не стану читать объявления, подумал я. Мое одиночество

может стать совершенным, то есть совершеннейшим. Так у меня имелся почти одухотворенный предмет, который мне принадлежал и которому принадлежал я. Что станет со мной, если я останусь один?

В дверь постучали. Это соседка.

— Дома кто? — спрашивает она.

— Входите, Любовь Анатольевна.

Она вошла в комнату.

— Чего в темноте сидишь-то? — Любовь Анатольевна включила торшер и поглядела на меня пристально. — Заболел, что ли?

— Легкое недомогание, — соврал я.

Мне хотелось сочувствия.

— Так ты ляг, — сказала Любовь Анатольевна. — Я тебе чайку принесу. У меня и медок припасен. К утру и выздоровеешь.

Не хотелось мне выздоравливать к утру. Наоборот, хотелось заболеть и спрятаться за болезнь, как за дверь.

Роль больного играть приятно. Я лег, укрылся одеялом, а Любовь Анатольевна поила меня чаем и рассказывала, какой у нее отличный сын, какой он смелый вертолетчик, какие у него двое пацанов — все в отца! Но с женой его не сошлась. Хотя вроде делить нечего. Потому и никак не поехать на Курилы. А поехала б! Да и сын не зовет.

Меня убаюкивала речь соседки, и я заснул.

А утром я как бы заболел. Если признаться, то температура не поднялась, но я чувствовал себя совершенно разбитым. Обложился подушками и таблетками, попросил соседку вызвать врача.

Полдня лежал в постели, почитывая «Современный французский детектив». «Второй голос» опять пробовал говорить со мной, но я пресек его навязчивые попытки убедить в своей правоте.

В три часа явился доктор — большеголовый мужчина с волосатыми властными руками. Он осмотрел меня. Словно лошадь покупал — заставил разевать рот, вдыхать и выдыхать.

— Черт с вами, — сказал после осмотра, выписывая бюллетень. — Сидите дома три дня. Все равно толку от вас не будет, если работать не хотите.

— Но позвольте! — пробовал я возмущаться.

— Пусть вам позволяет ваша подружка, — сказал доктор и хлопнул дверью...

Вообще-то мне претит подобная грубость.

Весь день пролежал в постели — до шести часов! На улице стемнело. Я зажег торшер, увидел черные кости гантелей. Новое чувство охватило меня. Схватил гантели и стал махать ими.

— Мы еще повоюем, — говорил я густым, рокочущим басом.

Голос стал низким и уверенным.

— Мы еще посмотрим, кто кого! Вот я сейчас надену брюки и пожертвую домру на алтарь искусства!

Приступ самоуверенности, правда, быстро прошел. Все-таки я надел брюки и свитер, дрожащей рукой снял домру со стены, с гвоздя, на котором она пробыла столько лет. Встала проблема упаковки. Я выпросил у соседки новую клеенку, разрисованную сочными грушами, виноградом и персиками. Зато теперь домра надежно защищена от сырости.

Надел пальто и кепку. Ушел с домрой...

Дом двадцать четыре найти оказалось легко. Серый дом, большие окна, — он имел всего один двор. Во дворе была всего одна парадная — та самая, с квартирой восемь. Я поднимался по лестнице, и с каждой ступенькой остатки самоуверенности покидали меня. Я поднялся на третий этаж, где оказалась нужная квартира. Внимательно осмотрел дверь — ничего особенного. Ничего не говорило о характере обитателей, их возрасте, профессии. Дверь как дверь. Массивная, деревянная. Без обивки. Без таблички с фамилией. Один звонок — белая пуговка в черном пластмассовом кружке. Я собрался с духом и позвонил.

Открыла дверь молодая женщина моих лет. Не скажу, что она красивая, то есть мне сложно говорить о чертах ее лица. Оценить можно не только красоту. Когда узнаешь человека, внешние достоинства отходят на второй план. Хотелось бы отметить только ее средний рост, мягкие губы... Что толку в таких описаниях. Она щурилась, что давало право предположить скрываемую близорукость.

...Я молча стою в дверях, думаю о ее лице, наконец говорю:

— Здравствуйте. Я пришел по объявлению.

— Вы?!

В ее вопросе удивление. Еще яснее слышится усмешка.

— Да. Я прочитал ваше объявление и пришел.

— Тогда прошу... — Теперь понимаю, она тоже смутилась. — Вот вешалка. Раздевайтесь. Пройдемте в комнату.

Долго шаркаю ботинками о резиновый коврик. Ведь на улице такая слякоть. Снимаю пальто и кепку. Сжимая в руке инструмент, по темному коридору прохожу в комнату. В коридоре серебрится зеркало в старинной оправе. В нем проплывает мое темное лицо. На стенах цветут симметричные цветы обоев. Я вхожу в комнату и чуть не падаю в обморок от удивления. Висят на стенах, лежат на столе, стоят в углах домры разного роста и окраски: совсем новенькие, старые и в трещинах, разукрашенные инкрустациями, более богатыми, чем моя. Во много раз более! Мне и шагу не сделать. Совсем стыдно. Просто невыносимо.

— Проходите, чего же вы!

Это мне. Меня просят, и я прохожу. Пытаюсь не смотреть на домры и преодолеть подавленное состояние. Останавливаюсь посреди комнаты. Почему-то кажется, что в первую очередь следует представиться. Протягиваю руку и говорю:

— Для начала давайте познакомимся. Кириллов.

— Наталья Павловна. — Она с улыбкой пожимает мою ладонь. — Или — Наташа. Вот вам кресло. Садитесь. А я чай заварю.

Сижу в кресле, жду, глазею по сторонам. Стены шершавые, почти живые. Почти живые занавески — шевелятся. На стенах развешены фотографии, видимо, когда-то живших людей. Они в аккуратных рамочках под стеклом. На одной стене две картины с итальянским пейзажем. Одно полотно с дыркой в левом нижнем углу. Виден грубый, коричневый холст. «А руки у нее замечательные, — думается мне. — Прохладные, сильные, руки музыкантши».

Наталья Павловна возвращается с чайником и плетеной корзинкой, доверху наполненной овсяным печеньем. Моим самым любимым печеньем.

— А что это у вас?

Это она интересуется моей завернутой домрой.

— Это? — с готовностью протягиваю ей сверток. — Это домра!

— Домра! — восклицает она. Лицо ее становится радостным. — Вы играете на домре? Как интересно! Я очень люблю этот инструмент. Училась и на фортепиано, и... чему только не училась. Но выбрала домру! Моя профессия — играть на домре.

— Очень за вас рад. В какой-то степени это зависть. Я ведь совсем не играю.

— Жаль. А вы чай пейте. Вы печенье овсяное любите?

— Мое любимое.

Вижу, как ей стало проще со мной беседовать. И мне тоже.

— Очень рада. Чувствуйте себя свободно. Итак, вы пришли по объявлению.

— Да. Я прочитал его три дня назад и все не решался.

— Понимаю... Правда, я не ожидала, что придет молодой мужчина. Вас побудили к этому какие-то обстоятельства?

— Да. Может быть, развернуть? Хотя, увидев все это... не знаю, чем может заинтересовать вас моя домра.

Разворачиваю домру. Начинаю разворачивать и чувствую — что-то не так. Смотрю на хозяйку.

— Домра? — Вопрос ее повисает в воздухе, чуть ли не материализуется.

— Да, — подтверждаю я. — Домра, которая вам срочно требуется. Я сам читал объявление.

Хозяйка оживает и смеется. И я смеюсь вместе с ней. Конечно, это очень смешно — принести настоящей музыкантше инструмент, пылившийся на стене бог весть сколько лет.

Наташа перестает смеяться.

— Очень смешно, — говорит она. — Дело в том, что я давала совершенно другое объявление.

Внутри меня становится легко и очень пусто, как будто я проглотил воздушный шарик.

— Другое?

— Как это ни грустно. По роду своих занятий и по разным другим причинам... Как это объяснить... Мне, понимаете ли, срочно требуется домработница.

Ей становится неудобно, ну а мне так просто стыдно.

— Значит, я ошибся, — говорю удрученно, а хозяйка спешит ответить:

— Но — ничего. Ничего-ничего... Совсем пустяки. Покажите вашу домру. Видимо, отличный инструмент. С радостью приобрету его.

Тогда я говорю совершеннейшую глупость, хотя это и правда:

— Домра не продается.

— То есть?!

Хозяйка просто убита моим заявлением и, видимо, начинает подозревать во мне душевную болезнь. Она не знает, что делать. Я и сам не знаю.

— Не подумайте, — говорю. — Я совершенно здоров.

В комнате воцарилось молчание. Наташа сидела напротив и выстукивала на поверхности стола ритмы пальчиками. Очень удивительные у нее для молодой женщины пальцы. Ногти острижены коротко и совсем без лака.

Я сидел и тупо молчал. Она посматривала на меня, и подобие улыбки можно было увидеть на губах. А я делал вид, что изучаю занавески. Узоры на них. Мне стало совсем все равно. Просто хотелось сидеть в этом кресле, в присутствии этой женщины, в окружении этих домр. Как можно дольше! По крайней мере, получался коллектив. Когда меня станут выгонять, я уйду. Но пока посижу. А домру я выброшу в Фонтанку. Во всем виновата она. Она создавала иллюзию. Я чувствовал себя не таким уж одиноким и не преодолевал характер, а лучшие, самые золотые годы почти прошли, а она... Я почти задохнулся от таких мыслей... Нет, я еще посижу. Буду сидеть до тех пор, пока мне не заявят определенно: «Вон! Чтобы вашей ноги и вашей домры здесь не было! Ходят тут всякие аферисты с домрами. Скоро с виолончелями ходить начнут...»

— Жду, когда вы меня прогоните, — говорю я независимо.

Наташа улыбается какой-то странной улыбкой.

— Что вы! — говорит. — Ко мне так редко кто-нибудь приходит. Пока училась в консерватории, старая компания распалась, а новых друзей как-то... Правда-правда, меня ваш приход обрадовал! И с вашей домрой получилось смешно.

— Я прочитал — «домра». Может, окончание смыло дождем.

— Может быть. Я и объявление дала, чтобы хоть кто-нибудь заходил. Пусть домработница, но хоть кто-нибудь...

— Действительно, смешно...

— Послушайте! — она восклицает, становясь совсем другой, серьезной. — Послушайте! Вы же Кириллов! А моего дедушку учил играть на домре Кириллов. Очень мудрый был, колоритный человек. Может быть, ваш дед или прадед. Скорее, прадед!

Наташа приносит альбом с фотографиями и показывает старинное фото — совсем желтое, но в хорошем еще состоянии.

— Вот он, вот, — показывает на крупного мужчину в сапогах, косоворотке, с остекленевшими от позирования глазами. Рядом с ним стоит юноша с мягким лицом, в тужурочке гимназиста. Чем-то он напоминает Наташу. Оба держат по домре. — Вот дедушка мой, вот ваш прадедушка.

Я со страхом беру в руки альбом и разглядываю фото. Но меня волнует совсем другое. Мало ли Кирилловых играло на домре.

— Моего прадеда звали не так, — говорю я, хотя и не знаю вовсе, как его звали. — А еще я хотел сказать, что... могу и домработницей.

— Вы?! — удивляется Наташа.

— А что? Мне самому тоскливо по вечерам. Нет, честное слово! Я стану приходить к вам, пока вы на концерте. Ведь вы уходите на концерты.

— Да. У меня сегодня выходной.

— Отлично. Я стану приходить и вытирать пыль с домр, готовить кофе. Только представьте: вы возвращаетесь усталая, а в квартире порядок — ни пылинки, чистота, блеск. Не отказывайтесь! Прошу вас!

Наташа смеется, и я смеюсь, мы просто заливаемся.

— Как я могу отказаться! Ведь это я давала объявление. А сколько мне придется вам платить? Вы подумали о плате? Вы, наверное, заломите большую цену?

— Да, — отвечаю я. — Человек небогатый, запрошу с вас... — Морщу лоб и пощелкиваю языком. — Так-так. Каждый вечер вы будете играть мне по одной домровой мелодии.

— А вы не продешевили? — спрашивает. — Одна мелодия — дело несложное, а уборки много...

Теперь после работы я спешу в дом двадцать четыре, квартира восемь. Часа два я занимаюсь уборкой. Когда уборка закончена, сажусь в кресло посреди комнаты, и меня окружают домры. И моя среди других. Большое дружное семейство. После концерта приходит Наташа, я варю крепкий кофе, а после, закрыв глаза, слушаю долгую, широкую и щемящую мелодию...

Михаил Окунь

Родине

...Но ты не будешь позабыта,
И в час последний будет так:
Привидятся твои граниты
И твой неяркий березняк,
Вечерняя печаль околиц,
Неудержимый бег коней...
Сильнее всех невзгод и боли
Черты России.
С первых дней.

* * *

Две корзины, старый нож,
Черный хлеб, щепотка соли
Да внезапный летний дождь,
Что застал в открытом поле.

Ржавый обруч на бадье.
И в заброшенном колодце
В темной лиственной воде
Первая звезда смеется.

Сергей Воронов

На земснаряде

Как будто бы скрежетом ада,
Терзая до самой души,
Визжат и ревут
                    земснаряды,
Груженные грунтом ковши.
И тросы скрипят с напряженьем,
И в желобе камни гремят.
Работой, усильем, движеньем
Покой окончательно смят.
Но в грохоте этом и тряске,
Как в самую нежную тишь,
На палубе верхней
                        в коляске
Сопит себе носом малыш.
— Да как же, —
                      спрошу я, —
                                    он может
В такой обстановочке спать?!
— А что его здесь потревожит? —
В ответ удивляется мать.

Алла Шукис

Семужка

> ...И месяц выывернет, будто семга, из темных туч, как из темных вод...
>
> *В. Смирнов*

Тимофей подымался берегом порожистой реки. Снег кой-где сошел, льдины похрустывали на камнях, и все намекало на долгожданную в этих краях весну: и бодрый шум порогов, и гомон чаек с устья. Лыжи Тимофея оставляли после себя две темные полосы, а за ними незаметно спускались весенние сумерки.

До недавних пор Тимофей жил в деревне неприметно. Бабы жалели одинокого старика, мужики подсмеивались над ним... А сейчас кой-кто, выпив лишку, обещался морду набить старому. А Тимофей всем только улыбается, по-младенчески морща дряблое, похожее на сдутый рыбий пузырь лицо, и крякает в ответ.

Под горой у плеса Тимофей остановился, раскурил жухлую «приму» и задумался. Мысли крутились по хозяйству, все около разбитых половиц баньки да прохудившейся каменки, потом стал он подсчитывать оставшиеся до получки деньги, а через мгновение заботы и вовсе улетучились вместе с сигаретным дымком и глубоким вздохом.

Тимофей огляделся. Он любил останавливаться именно здесь, километров за шесть отойдя от дома, и смотреть на бурые сосны и низкое хлябкое небо этой поры. Плес еще затянут льдом. Безусловно, он слился бы с таким же по цвету небом, не будь между ними сопки. Уходить Тимофею не хотелось. Он раскурил еще сигаретку и вздохнул уже легкомысленно, не по-стариковски. В голове затрепыхалась было хозяйственная мысль, но Тимофей ее выкуривал торопливо, щурясь от едкого дыма.

Однако пора. Опираясь на самодельные лыжные палки, дед пошел на подъем. Руки сразу согрелись, вспомнили, как выстругивали, шкурили тонкие две сосенки, прикрепляли ремешками к ним ивовые прутики, ловко закрученные в кольца. Получились отличные палки, под стать отцовским лыжам-калгам, крепким, тонко подбитым тюленьей шкурой.

А мастерил палки не потому, что экономил. Просто нравятся Тимофею вещи, пахнущие теплым деревом, соленым потом. И вообще, Тимофей не экономит. Прошлым летом уж как смеялась деревня — заработанные на сенокосе девяносто рубликов дед принес на почту и тихо сказал: «Это, доченька, фонду Мира...» Девчонка-кассирша округлила синие глаза, черкнула по бумажке, деда заставила поставить закорючку, но деньги все-таки взяла.

Радио дед наслушался, и страшно стало от того, что в мире делается. А денежки внес — вроде как на душе и полегчало, вроде и смелее ступать стал по густой траве, не вспоминая горящей земли Апокалипсиса. С деньгами-то оно трудновато. Пенсия у Тимофея маленькая, посидел, посчитал мелочишку да и дал согласие поработать в рыбинспекции...

Вот и место Тимофеева обзора. Палки в снег воткнул, бинокль к глазам приладил, медленно и плавно стал водить головой.

Река круто сворачивала, но на повороте за легкой осиновой дымкой Тимофей различил темное пятно. «Опять Санька безобразит», — подумал так и сиганул с горы.

Сашка браконьерил на другом берегу. Подойти к нему следовало бы сзади, снова вернувшись к плесу, но Тимофей покатил в другую сторону и скоро затормозил чуть по диагонали через реку от Сашки, замер в красноватых порослях березняка.

— Ах ты сволочь, — вырвалось из мягких губ Тимофея, но глаза его не были похожи на глаза инспектора. Уж больно восхищенно дед следил за сильным размахом Санькиных рук, провожая взглядом блесну. Когда она касалась воды и исчезала в бездне, Тимофей во все глаза смотрел на Саньку, а когда тот дергался, леска натягивалась, Тимофей ахал, и глаза его разгорались, как у пацана.

Две серебристые семги, упругая кумжа бились в кустах, ломая кровавыми губами наст, а Тимофей мер не принимал. Парень рыбачил мастерски. Если бы не воровская оглядка по сторонам... Вдруг взгляды их встретились. Саня, словно пуганый зверек, метнулся, льдина треснула...

— Санька, дёржись, дёржись, милой...

А Саньку уж несло к порогам крутым течением, и где там было удержаться, льдина все глубже уходила под воду, тянула Саньку вниз.

— Саня, спиннинг брось, брось его, дёржись!..

Тимофей бежал, по колено вязли в снегу ноги.

— Не бойся, дурень, подгребай, подгребай ко мне...

Санька бултыхался на середине. Дед забежал вперед, льдина под ногами оказалась прочной и большой, протянул парню сосновую палочку с кольцом на конце:

— Вот так, милой, так, давай, давай...

Сашка вытянулся. Спиннинг вилял в руке с тугой натянутой леской. Бросил его в снег, перехватил жилу рукой и стал тянуть дающую винта семгу к себе. Скоро небольшая рыбина забилась в красных Сашкиных лапах, а через миг валялась на берегу, оглушенная ударом о камень. Тимофей тупо стоял, в горле у него билось и клокотало сердце.

Между тем над запретной рыболовной зоной нависла ночь. Противоположный берег с выловленной рыбой стал еле различим. С моря задул сырой ветер, загудел в ветках сосен. Тимофей очнулся.

— А ну, быстро, быстро, скидывай мокрое-то, — он приставил к поваленному дереву дробовичок, аккуратно положил планшет и взглянул на Саньку. Тот нехотя стянул полный воды сапог, затем другой, затеребил негнущимися пальцами пуговицы куртки.

— Ну-ка, сынок, грейся, — обернул ноги браконьера теплым тулупчиком, в нескольких местах протертым добела, пошарил рукой между свитером и засаленным пиджачком, достал плоскую фляжечку, отпил глоток и поднес Санье. Санька взял, мутно посмотрел на деда и ухмыльнулся...

Костерок заплясал дымно и весело. Сашка от испугу захмелел быстро, мотал головой, вспоминая случившееся.

— Я думал, ты, дед, подох в своей развалине, а ты еще хоть куда, собака...

— Ты, парень, не ерепенься. Чё, глупыш, хвост подымаешь, — Тимофей суетился у костра, половчее подставляя к нему сапоги с вывернутыми голяшками, обмахивал огонь мокрыми портянками. Свитер и куртка были разложены на поваленном дереве рядом с ружьем.

Минут пять продолжалось молчание. Тимофей поглядывал на Саньку, начинал было разговор, но тот грубо обрывал, огрызался. От костра шло тепло, дед протягивал к нему руки и щурился. Санька сидел перед ним красивый, с разметавшимися по широкому лбу мокрыми волосами...

Выпили еще. Сашка раскраснелся, взглянул на деда, потом на ружье:

— Ты, дед, слышь, с этой фиговиной на реку не ходи.

— Да я это так, вдруг заяц иль куропатка...

— Не ходи, говорят тебе.

Опять замолчали. Потрескивал костер, река шумела.

— Ну что, дед, пора и по домам, а? — Сашка начал собираться, топтался на дедовом тулупе.

— А ты, Сань, не торопись, посиди чуток, — Тимофей прикурил от костра, собираясь к разговору.

— Вот ты, Саня, супротив закону идешь, это нехорошо, это того... плохо.

— А ты, дед, лекцию мне прочти.

— Лекцию, говоришь... Только ты, Александр, плохо живешь, плохо.

— Заладил: плохо, плохо.

— Да если бы ты для себя рыбу ловил, а то ведь всю на вино переводишь. Пьешь. Лет-то тебе уж тридцать...

— Дед, ты в мои дела нос не суй, отрублю, понял. Да иди ты... — Сашка выругался, пошел.

Дед бросил в костер окурок и потянулся к планшету.

— Больно прыткий, поди сюда, документ составим, — движения и голос и вся его хилая фигура были фальшивы.

— Ты что, дед? — Сашка сделал два шага и остановился.

— А ничего. Так. Кривошеин А. Г. задержан на семужьей реке с выловом.

— Давай, давай, составляй...

— А ты думал, шутки с тобой шутить буду? Еще раз — и под суд. Вот так. Распишись.

Сашка стоял в нерешительности. Ветер качал деревья, ворчали пороги. В разъясневшемся небе показался острый месяц. В то же самое время из черной воды в пяти метрах от берега выпрыгнула крупная рыба, одна, другая, делая свечу, зависали над рекой серебряными серпами и падали в омут, исполняя свой вечный танец.

— Ну что рот раззявил? Расписывайся.

Сашка покачнулся, ударил деда взглядом и бросился к дробовику.

— А ну, собака, встань, вставай, сволочь!

— Ты чё, ты чё, это ты зачем, а? — Дед встал, одна нога разута, сапог сушился.

— А ну пошел, — парень двинул деда ружьем, — иди, сука, составим бумагу, век помнить будешь. Уж и распишусь, не боись.

Дед под натиском Сашкиных слов отступил к реке. Портянка размоталась и волочилась следом за Тимофеем.

— Ты, гад, запомни, я на этой реке хозяин, я! Дед мой семгу ловил, отец... морду твою поганую били и бить будем. А ты думал, вы, говнюки, семгу жрать будете, а мы смотреть? Ошибаешься, Тимофей Егорыч!

Тимофей стоял по колено в речной воде. В темноте было не видно, как вздрагивали его плечи.

— Всех-то под одну гребенку не чеши...

— Молчи, гад, — Сашка подобрал с земли составленный акт, бросил в костер. Потухающий костер пыхнул огнем, осветил на короткий миг пространство. Дед не вытерпел, повернулся. Сдутое лицо его крупно вздрагивало, по щекам, по морщинистым руслам текли слезы.

— Да брось ты ружо, оно не заряжено.

Сашка заматерился, бросил ружье, подобрал семгу и пошел к деревне. И тихо стало на реке.

Три дня дед не выходил из избы. Три дня он лежал в нетопленой комнате на скрипучей кровати, тяжело дышал и собирался помирать. Но он не помер. Видно, время его пребывания на земле еще не вышло. На четвертые сутки в дверь постучали, и на порог с ярким солнечным светом взошел бородатый человек:

— Тимофей Егорыч, ты что, спишь?

Дед приподнялся на локтях, рассматривал и не узнавал начальника.

— У тебя, Егорыч, на реке беспорядок, сетки через пять метров наставлены, а ты лежишь, отдыхаешь. Нехорошо...

— Да я это того, приболел малость... Да уж вроде и здоров.

— Ну и добре... Да, Егорыч, пойдешь на обход, я тут у острова сеточку поставил, не напутай. Вечером сниму.

Бородач потоптался на пороге и ушел.

«И то правда, чего лежу? Пора и честь знать». Он встал, оделся, обулся, перекинул через плечо дробовичок и вышел из дома. Над головой висело голубое высокое небо. Солнце светило уже по-весеннему, оголяя землю. Там и сям на угорах чернели проталины.

Под горой у плеса Тимофей остановился, раскурил жухлую «приму» и задумался...

Захар Оскотский

Успехи медицины

Еремин потерял сон. Он приходил с работы поздно — часов в семь; умывался, долго ужинал, глядя в телевизор. Напряжение дня не отпускало его. Вспоминалось даже не самое неприятное из случившегося за день, а чаще какая-то мелочь, на которую он в суматохе и внимания не обратил, но которая теперь вызывала вдруг неистовое раздражение: хотя бы то, что в управлении обещали ему бригаду штукатуров и обманули. Тогда у него темнело в глазах, он подскакивал за столом, то отпихивал, то снова придвигал тарелку, беззвучно шевелил губами, ругаясь или кому-то что-то запоздало доказывая. Жена молча двигалась по комнате и наблюдала за ним.

Еремину казалось, что, если бы вечер был подлинней, он успевал бы отойти, разрядиться. Но вечера пролетали мгновенно, и, когда он заводил будильник и ложился, нервы все еще были словно под током. Сон не шел. Еремин честно старался не думать о работе, считал до ста, до трехсот, вылезал полуголый на балкон, чтобы промерзнуть, но только где-то к середине ночи приходила наконец тяжелая дремота, а в шесть утра уже взрывался будильник.

Еремин шел на работу с больной головой, перебирая предстоящие дела. Он знал, что, как всегда, не просидит и часа в своем кабинете, а будет на управленческом «Москвиче» или просто в кабине грузовика мотаться с объекта на объект, «штопать дырки», как он это называл. На оперативке у начальника управления его будут ругать, а он, заведенный, будет потом орать на своих прорабов. Так ежедневно, сверху вниз по нисходящей, они выкрикивали друг другу то, что друг о друге думали и что, по мнению каждого, надо было сделать, чтоб получился наконец порядок, и, кроме Еремина с его дурацким характером, все это давно уже никого не трогало — ни тех, кто ругал, ни тех, кого ругали.

По телевизору, который Еремин смотрел, пережевывая ужин, часто показывали спектакли на производственную тему. Еремин почему-то пристрастился к ним; особенно любил, когда показывали про строительство. Тогда он оживлялся, лицо его приобретало злорадное выражение. Он не просто смотрел и слушал — он впивался в экран, жадно подмечая фальшь в сюжете и слабую, по его мнению, игру актеров.

— Смотри! — кричал он жене. — Смотри, чего наворачивают. Придумали проблему, яйцо выеденное!.. Пойду, пожалуй, спектакли писать или в актеры! Вот где хлеб-то легкий!

Жена молчала. Еремин распалялся:

— У меня на втором объекте, на жилом, где Мотуз прораб, пьяница, панели стенные с завода привезли бракованные — дыры насквозь. И пускать их нельзя, и не пускать нельзя, — рабочим наряды писать! Так что придумал, сукин сын: поставили и обоями заклеили!

— Саша, — говорила жена, — ну успокойся, давай программу переключим.

— А-а, пусть балабонят! Думаешь, я не жульничаю? Я все время выкручиваюсь, наряды из пальца сосу! Как на пытку иду каждый день, как на пытку! Молчи! Что ты понимаешь? Не тебе отвечать!

Жена и так молчала. На грубость Еремина не обижалась. Лицо ее становилось хмурым только тогда, когда он приходил выпившим, а это в последнее время случалось. До сорока лет дожил — не пил, во всяком случае просто так, не в праздник, на работе над ним посмеивались. И вот — сломался. Он не то чтобы хотел одурманиться, но как-то вдруг открыл для себя на пятом десятке, сколь привлекательна эта обычная для других послерабочая процедура: возбуждающая толкотня в очереди у винного отдела в гастрономе или в баре на втором этаже дешевой столовки — «стекляшки»; торопливое поглощение двух-трех стаканов вина или стакана водки — на голодный желудок, под приторную конфетку; и наконец — мужской разговор с перекуром, уже в том состоянии, когда говорить легко о чем угодно, хоть о работе. Все это превосходно снимало напряжение, он и домой являлся не пьяным, а просто в хорошем настроении, шутил и засыпал крепко. Но жена мрачнела все больше. Впрочем, она никогда не попрекала его. Еремин и представить не мог, что она за его спиной что-то затевает.

Однажды, когда он явился домой в относительном благополучии — не выпивши и даже не слишком уставшим за день, — жена вдруг положила перед ним бумажку. Еремин прочитал: чей-то адрес и совершенно незнакомое имя-отчество — «Юрий Борисович».

— Это врач, — сказала жена. — Психиатр. Нервы лечит. Какие-то процедуры сильные знает. Валентина Кирилловна мне его посоветовала.

— Что-о?! — рявкнул Еремин.

— А ничего, — жена даже не повысила голос. — Поедешь к нему в воскресенье. Он на дому принимает.

И, видя, что Еремин, раскрыв рот, набирает воздуху для крика, добавила еще тише:

— Как миленький поедешь. И попробуй мне только до воскресенья выпей!

Разговор был во вторник, а два следующих дня они с женой не разговаривали вовсе. Еремин дулся: к психиатру гонит, сумасшедшим считает. Он знал, конечно, что мысли его злы и несправедливы, но испытывал горькое удовлетворение, чувствуя себя обиженным, а жену — виноватой.

В пятницу было совещание у начальника управления. Спокойное, дремотное, почти без криков. Обычные тихие радости: сколько процентов освоили, что завалили, планы на квартал. Совершенно ничего не было в том совещании, но где-то на втором часу Еремину вдруг стало плохо. У него не заболело ничего, и голова не закружилась, но как-то неожиданно стало не хватать воздуха, словно воздух выкачали из кабинета. Морщась, царапая ногтями стул, он втягивал пустыми легкими кислый табачный дым (вокруг почти все курили) и старался думать о приятном. Все-таки впереди были два выходных. По пятницам всегда кажется, что выходные будут длиться долго, и случится что-то, хоть чуть-чуть необычное, и все пойдет хоть немного, но иначе. А на этих выходных действительно должно было произойти что-то такое... Еремин вспоминал, вспоминал, вспоминал — и вдруг сконфуженно вспомнил, что все предстоящее необычное — поездка к тому самому врачу с процедурами от нервов. «Не пойду!» — чуть было не буркнул он вслух. Но когда прошло еще полчаса, а потом еще час, и когда уже не только легкие Еремина, но и мозг, и желудок пропитались до последней клеточки табачным перегаром вместо кислорода, он, еще ничего не обдумав, не решив, почувствовал: пойдет. Никуда не денется, пойдет. Потому что если не пойти, то уже совершенно точно ничего не случится...

Жена сказала, что берет доктор за консультацию не то пятнадцать, не то двадцать рублей. Еремин выругался, однако деньги приготовил — десятку и две пятерки, чтоб сразу сунуть без сдачи, если психиатр возьмет поменьше.

Он почему-то думал, что жена поедет вместе с ним, но та отказалась, и у Еремина от этого испортилось настроение. Пока он добирался к доктору в дальний район, сначала в метро, потом автобусом, пока разыскивал докторский дом в новостройках, ему стало совсем не по себе. Он кружил среди нескончаемых блочных девятиэтажек и четырнадцатиэтажных кирпичных «башен», которых сам столько выстроил, перебегал от корпуса к корпусу и не ре-

шался спрашивать встречных, словно кто-то мог догадаться, куда и зачем он идет.

Перед дверью найденной наконец докторской квартиры — красивой дверью, обитой импортным оранжевым кожзаменителем, — он очутился уже совершенно вымотанным. Больше всего хотелось повернуть обратно. Но дома ждала жена. Он потоптался, потоптался на площадке и позвонил. Не открывали так долго, что Еремин успел обрадоваться (нет дома!). Успел представить, как будет сердито выговаривать жене, что не потащится больше к этому прохиндею в такую далищу. Однако в квартире послышались наконец мягкие шаги, потом Еремин почувствовал, что его разглядывают в дверной глазок, и после паузы за дверью прозвучало приглушенное: «Кто?» Еремин смутился: тут его как будто не ждали. Может, все-таки ошибся адресом? Набрав воздуху, он крикнул — так, чтоб наверняка услышали за подушкой этой пухлой рыжей двери, усеянной «золотыми» шляпками диковинных гвоздей:

— Юрий Борисович здесь живет?!

Дверь, мягко щелкнув, открылась. На пороге стоял парень с усами и курчавой бородкой на испанский манер, в сильных очках, за которыми его черные блестящие глаза казались огромными, словно выпученными. Одет он был в синие спортивные брюки и домашнюю безрукавку. Несмотря на бородку и очки, Еремин сразу понял, что парень совсем молодой — лет двадцать шесть, двадцать семь, и еще понял, вернее, догадался с досадой, что это и есть Юрий Борисович.

— Я на прием! — громко сказал Еремин.

Черные глазищи парня за выпуклыми стеклами очков мигнули, он как-то странно — приветливо и в то же время испуганно — улыбнулся и, отступая в темноту прихожей, быстро взмахнул рукой, торопя Еремина войти.

Только когда дверь защелкнулась, у Юрия Борисовича прорезался голос.

— Раздевайтесь, — засуетился он, — вот сюда можно пальто. Да, свет... Я сейчас зажгу, извините...

Еремин стащил пальто и шапку, не спеша причесался перед трельяжем, поглядывая вокруг и оценивая ситуацию. Прихожая была обыкновенная. На стене иностранный календарь за позапрошлый год с глянцевой красоткой в купальнике, под ним прислоненное велосипедное колесо.

— Прошу вас, — Юрий Борисович увлекал его в комнату, — проходите.

Еремин прошагал за ним. Он заметил, конечно, как смутился психиатр в дверях, когда он гаркнул ему насчет приема. «Соседей испугался, — думал Еремин, — чтоб не узнали, как дома подрабатывает». И почему-то от этих мыслей почувствовал себя увереннее.

В комнате тоже не было ничего особенного, медицинского: мебель как у всех, цветной телевизор. Только на стене над низким сервантом — большая фотография Юрия Борисовича в белом халате и докторской шапочке, руки скрещены на груди, круглые черные глазищи смотрят сурово.

— Садитесь, вот кресло, пожалуйста! Расслабьтесь, чувствуйте себя свободно! Как вас зовут? Рад познакомиться, Александр Никитич!

«Суетится, — думал Еремин, опускаясь в кресло, — молодой еще. А впрочем, кто его знает, вдруг поможет? Молодые бывают толковые». Однако что-то ему не нравилось. Он ждал, что Юрий Борисович наденет белый халат, достанет инструменты — молоточек какой-нибудь, по коленке стукнуть. Тот же просто уселся напротив него, положив волосатые руки на стол, и мелко забарабанил пальцами.

— Да... Нам надо поговорить, Александр Никитич. Беседа — главное. И откровенность. Вот вы сказали — прием. Но вы ведь не на обычном приеме у врача. Не знаю, известно ли вам, что такое психоанализ? У нас до недавнего времени он был чуть ли не запретен. Фрейдизм!.. Мы так отстали...

Голос его понемногу креп, зазвучали бархатные, покровительственные нотки. Еремин слушал.

— Будем откровенны! Без ложной мещанской стыдливости! Нам надо вместе проанализировать не столько астенические симптомы, сколько все явное и подсознательное, что их вызывает!.. Но начнем с симптомов. На что вы жалуетесь?

Юрий Борисович уже не барабанил по столу. Черные маслянистые глазищи светились участием. Все было бы ничего, если бы не чудилось Еремину в голосе психиатра, в угольном блеске его глаз, даже в мальчишеской бородке — нечто неуловимо насмешливое.

— Что является самым беспокоящим? Вегетативные, сенсомоторные, эмоциональные нарушения? Ну, как бы это выразиться яснее...

— Я сплю плохо, — сказал Еремин.

— Та-ак! — ободряюще кивнул Юрий Борисович. — Ну, а что кроме нарушений сна? Потеря аппетита? Сердцебиение? Желудок? Потливость повышенная?

Теперь он был весь — сочувствие и внимание, даже подался над столом ближе к Еремину. Участковые врачи в поликлинике, с которыми до сих пор Еремин только и имел дело, так не разговаривали.

— Ем плохо, да, — сказал Еремин. — Обед на ходу, а к вечеру так умотаешься, что не хочется... Голова часто болит. С утра, когда не выспишься.

И вдруг Юрий Борисович легко поймал одной своей рукой его руку и начал считать пульс, а другой потянулся к его лицу и, прежде чем Еремин успел откинуть голову, неожиданно твердыми пальцами больно оттянул и отпустил кожу под глазом.

— Расстройства в сексуальной сфере? — быстро спросил он.

Еремин начал теряться.

— Да... нет... кажется...

— Давно вы женаты?

— Шестнадцать лет.

— Часто бываете близки с женой? Когда это было в последний раз? Чувствуете ли себя вполне удовлетворенным?

Еремин нахмурился.

— Ну, ну, — подбадривал Юрий Борисович, — мы же условились! Я хочу помочь вам, давайте вместе вскроем психотравмирующие факторы...

— Я сплю плохо! — уже со злостью сказал Еремин и потрогал у себя под глазом. Там все еще болело.

— Контакт! — заныл Юрий Борисович. — Вы не идете на контакт! Поймите, ну что такое бессонница? Симптом! Проще всего прописать снотворные таблетки... — (Еремин замотал головой, он терпеть не мог лекарств). — Не хотите. И я не хочу! Потому что надо устранить не симптом, а причину! Вы замыкаетесь от меня в том, что касается интимной сферы, но для лечения надо оценить все грани патогенной ситуации, которая стимулирует невроз...

Еремин слушал, слушал, слушал, медленно и тяжело закипая раздражением. Видно, это отразилось на его лице, потому что психиатр начал сбиваться, а потом и совсем остановился:

— Что, Александр Никитич?..

— Не о том говорим! — угрюмо сказал Еремин.

— Как? — Юрий Борисович улыбался, но черные глазищи, увеличенные очками, глядели настороженно.

— Не о том говорим, — снова проворчал Еремин, сдерживая голос, чтобы не рявкнуть, как на стройплощадке. — Это, что вы мне объясняете, я и сам могу понять. Вы меня — лечите! Я свою причину без вас знаю: я от работы нервничаю!

— Ну, от работы, да, — Юрий Борисович погладил усы, бородку и снова быстро заговорил, только более тонким голосом: — Конечно, работа, стрессы, переутомление, хотя, знаете, ваше состояние на работе тоже может быть индуцировано чем-то. Подавленные инстинкты... И вы напрасно... А работаете вы — где?

— В строительстве. Начальник участка.

— Это что же значит? — Юрий Борисович уважительно заулыбался. — Мастер? Или, как по-вашему, — прораб?

Улыбка психиатра почему-то особенно задела Еремина. Он хотел сказать, что никакой он не прораб, что если на то пошло, так он — начальник цеха, у него трое прорабов под командой и рабо-

чих больше сотни. Но, пожалуй, получилось бы, что он хвастает. А уж чем ему было хвастать? И он пробурчал только:

— Да, вроде.

Юрий Борисович вздохнул. Откинулся на спинку стула.

— Ну что же, работа... Вы, конечно, излишне зафиксированы на этом моменте. Но пусть будет работа... А что — много нервотрепки?

— Молотилка, — сказал Еремин. — Самая собачья должность. Рабочим наряды писать — надо? Им попробуй не закрой, как они привыкли! А материалы везут — через пень колоду! А начальство в управлении только требовать может, а чтоб помочь, сорганизовать чего-нибудь — кукиш! А бумаг, бумаг сыплется! Что из городских инстанций, что из треста!..

— Подождите! — взмолился Юрий Борисович. — Подождите! Зачем вы мне все это рассказываете?

— А как же? — Еремина все больше разбирала злость. — Вы мне сами долбили — откровенность давай. Я к вам пришел — лечите!

Юрий Борисович поднялся и зашагал взад-вперед вдоль стола:

— Но, послушайте... Я же не строительный начальник. Я же не могу, в самом деле, навести порядок у вас на работе.

— А вы меня лечите! Чтоб я от всего этого не нервничал!.. Вот на прошлой неделе, на магазине, — это объект у меня есть, магазин по новому проекту...

— Понятно! — быстро сказал Юрий Борисович. — Не надо больше специфики! Я понимаю, да... Чем же вам помочь?

— А это я не зна-аю, — уже с нескрываемым злорадством протянул Еремин: — Вы доктор!

— Да... — сказал Юрий Борисович, хмурясь и снова шагая взад-вперед. — Но, знаете, раз так, надо самому стимулировать свое состояние. Надо видеть моменты, которые способствуют положительным эмоциям.

— А я вижу, — сказал Еремин. — Бывают моменты. Когда объект хорошо выйдет, без халтуры. И примут легко, не актируют по пустякам.

— Бывают? — остановился Юрий Борисович.

— Мало! — сказал Еремин.

Юрий Борисович, отдуваясь, снова сел напротив него.

— Но можно же что-то сделать, — заговорил он после паузы. — Сменить работу. А? Вы об этом не думали?

— Не могу, — мстительно сказал Еремин. — Я больше-то ничего не умею. Всю жизнь строю да строю. И техникум строительный кончил. И в армии даже — в стройбате служил.

Лицо Юрия Борисовича раскраснелось. Он снял очки, вытер платочком уголки глаз и переносицу.

— Послушайте, мы куда-то не туда зашли...

— Я к вам пришел — лечите!

— Господи! — закричал Юрий Борисович, вскакивая. — Ну что вы заладили! Что вы хотите от меня?!

— А какого же ты черта! — с удовольствием, в полную уже глотку, заорал в ответ Еремин и тоже вскочил. — Психиатром себя объявляешь?! Рекламу даешь?! Тащился к тебе два часа!..

Несколько минут они кричали, не слушая друг друга. Юрий Борисович — тоненько, Еремин — горловым строительным басом, надсаживаясь так, что у самого звенело в ушах. Сперва кричали стоя. Потом сели и продолжали кричать сидя. Потом замолчали, выдохшись.

Юрий Борисович вынул сигареты «Кент»:

— Хотите? Или вы, наверное, «Беломор»?

— Нет, я болгарские.

Оба закурили.

— Ты где работаешь-то? — спросил Еремин.

— В поликлинике.

— Участковым, что ли?

— Нет, нет, — замотал головой Юрий Борисович, — специалистом! Я невропатолог.

— А шабашкой давно занимаешься?

— Чем? — не понял Юрий Борисович.

— Ну, дома, говорю, давно халтуришь? Я у тебя первый, что ли?

— Да нет, — совсем смутился Юрий Борисович. — У меня уже были...

Он поднял глаза на Еремина и попытался улыбнуться. Еремин молчал.

— Я институт в позапрошлом закончил. Зарплата у врачей, знаете? Ну что такое сто пятьдесят? А на квартиру новую — какой расход! И семья ведь, ребенок маленький...

— Валентина Кирилловна — тебе родственница?

— Знакомая. Матери знакомая.

— Все ясно, — сказал Еремин.

Некоторое время курили. «Кент» Юрия Борисовича сгорел быстрее. Он положил затлевший фильтр в пепельницу и сидел, опустив глаза. Еремин не спеша затягивался, время от времени поглядывая на психиатра, на обвисшие его усы и бородку, вспотевший лоб, съехавшие на середину носа очки.

— Ну и что ж ты мне скажешь, специалист? — спросил он, раздавливая окурок.

— Да, конечно! — встрепенулся Юрий Борисович. — Мне кажется, вы... Ну, в общем, здоровы. Если хотите, разденьтесь, я посмотрю... — (Еремин только поморщился). — Ну, не надо, не надо, и так понятно! Вам просто надо побольше отдыхать, отвлекаться. Какое-нибудь хобби, знаете, спокойное. Цветная фотография, марки...

— Ясно! — сказал Еремин, поднимаясь, и вслед за ним сразу вскочил Юрий Борисович.

Было что-то еще. Что-то такое спросить...

— Процедуры, — вспомнил Еремин. — Процедуры у тебя какие?

— Водолечение! — обрадовался Юрий Борисович. — Каждое утро, до завтрака — душ! Минут пять, лучше — десять. Это не то же, что рекомендуют для закаливания, вы не думайте! Там надо температуру воды каждый день понижать, понижать, а здесь — наоборот. Горячий душ! Знаете, для нервов...

— Это вставать еще раньше? — сказал Еремин. — Пропади оно пропадом!

Юрий Борисович засеменил за ним в прихожую.

— Мне очень неловко, — говорил он, — так неудачно...

— Ну, ну! — отмахнулся Еремин. — Сколько я тебе должен?

Юрий Борисович заколебался:

— Не знаю... Раз так получилось. Как вы сами...

«Пять рублей дам», — решил Еремин. Он раскрыл кошелек, чтобы вынуть пятерку, но из тугого кармашка вытянулись вместе сразу пятерка и десятка, и прятать назад десятку показалось уже неловко. Еремин секунду поколебался, потом ткнул психиатру десять рублей, а пятерку, хмурясь, затолкал назад.

— Спасибо, — говорил Юрий Борисович, провожая его до дверей, — спасибо! Вы не думайте... Если что-то понадобится... Я в поликлинике могу принять. Или, если рецепт выписать... Я только больничный не смогу! — вдруг спохватился он.

— Да ясно, — сказал Еремин, — все ясно.

Он нахмурился, но в душе его почему-то разбирал смех. Так, с каменным лицом, посмеиваясь про себя, он не спеша застегнулся, надел шапку, молча кивнул психиатру и вышел.

...Но вдруг, на улице, где уже начинало темнеть, дожидаясь автобуса в толпе у остановки, Еремин спохватился, что убил ни за что ни про что целый выходной, да еще за здорово живешь отдал этому прохиндею десятку — дневной свой, тяжкий заработок, и все возмутилось в нем, и, затоптавшись на месте, он закричал, вызывая косые взгляды автобусной очереди:

— От жулье проклятое! От шар-рлатаны!..

Жена дома только взглянула испуганно на его разъяренное лицо и не сказала ни слова, а он, хоть настраивался по дороге учинить ей скандал, вдруг передумал и отмолчался. Жена тут была ни при чем. На свете полно людей, живущих куда легче, чем он, Еремин! Прежде думал об этом мельком, не вникая, а сейчас все в душе кипело от злости. Психиатры подпольные, кипятком лечащие, сочинители пьес про ангелов-строителей, двухметровые, на каких бы пахать, молодцы — за овощными и одежными прилавками. (Не разделял их сейчас — один черт!) А вот он, Еремин, никогда так не устроится. Никогда не быть ему беззаботным и вы-

спавшимся, не набить карманов легкими деньгами. Вспомнил насмешливость врачишки этого сопливого вначале. Пр-резирать Еремина? Ну уж — выкусите! Пусть Еремин до смерти будет свою черную, свою собачью работу ломать и за нее же, дурак, болеть, пусть до смерти — рубли заработанные считать, но легкой жизни вашей не захочет и презирать вас сам будет! Потому что тех, кто легче живет, как глаза они ни мозолят, — горсточка, не может их много быть. А таких, как он, Еремин, — великое большинство. На них все держится. Держится, черт побери, и будет держаться! Шапки перед Ереминым срывать должны!

И, распаленный такими мыслями, гордясь собой, он заснул в эту ночь сразу, крепко и на следующее утро шел на работу свежий и бодрый.

И хватило Еремину этого прекрасного настроения — на несколько дней.

Евгений Юшков

* * *

Отнесу утильщику старье:
Хлам бумажный,
рваное тряпье.
С ними пережитое отдам —
Незачем пылиться по углам.
И, вздохнув,
очищу часть души.
За пустяк —
за медные гроши.

Закат

Нева согласна с небесами.
Смиренна между берегами.
Шероховат гранит.

У дебаркадера под боком
Речной трамвайчик — одиноко,
Покачиваясь, спит.

Над парапетом — знак вопроса —
Фигура юного матроса,
Невдалеке рыбак.

А там — другой. А там на воды
Упала тень моста Свободы.
А там — густеет мрак.

А там заката зев зловеще,
Краями туч пылая, блещет,
И видно по всему,

Что уступает вечер ночи,
Что с каждым мигом свет короче.
Тоскую по нему.

Леонид Липьяйнен

Сентиментальная командировка

Алексей Сергеевич Вадеев спускался из своего конструкторского бюро на второй, административный, этаж с таким легким и приятным чувством, будто он поднимается по служебной лестнице. И правда, после нескольких лет, проведенных по окончании института то на подхвате у опытных конструкторов, то у каменщиков на стройке нового цеха, то на полях подшефного совхоза и на овощебазе, Алексей Сергеевич, получив самостоятельную работу — внедрение в производство нового процессора для обработки фототехнических материалов, — впервые чувствовал, что он наконец-то нужен, причем нужен именно как инженер.

Вот и сейчас Вадеев понадобился заму генерального конструктора по новой технике, курировавшему внедрение процессора. Это был не первый его визит в кабинет «высокого начальства», и тем приятней было пройтись упругим, уверенным шагом по коридору, коротко кивая знакомым сотрудникам, и запросто войти к самому Еремину.

Кабинет, однако, оказался на замке. В легкой растерянности — Еремин ему только что звонил — Алексей Сергеевич решил постучать в утепленную поролоном дверь, но вовремя остановился: «Спокойно! Это будет похоже на работу головой в дурдоме». Он деликатно постучал в металлическую пластину замка и, замерев, прислушался. Раздались шаги, ворча, заворочался ключ, дверь, шурша по полу измочаленным дерматином, открылась.

— А, Вадеев! Заходи, заходи, дорогой, ты мне нужен, — приветствовал его Еремин, улыбаясь и вновь запирая дверь. — Располагайся, — продолжал он, усаживаясь за обширный стол и вытягивая под ним длинные ноги. Так что Алексей Сергеевич очутился, можно сказать, у ног зама генерального конструктора. Там сиял и грел фароподобный рефлектор.

— Опять, черти, ни хрена не топят! Людей им подавай! — чертыхнулся Еремин, внимательно взглянув на Вадеева. Тот уверенно

отогнал от себя мысль, что окажется в числе тех, кого направят на ликвидацию прорыва.

— Чаю хочешь?

— Нет-нет, спасибо.

— А я, пожалуй, перекушу. Просидели на техсовете, пообедать не успел. — Он выключил надсаживающийся паром электрочайник.

Алексей Сергеевич тактично отвернулся — не смотреть же начальству в рот даже тогда, когда оно питается. Он делал вид, что заинтересовался интерьером, хотя кабинет был знаком и неизменен, как и его хозяин. Он всегда видел долговязую фигуру Еремина в черном мешковатом костюме и темном, при белой рубашке, галстуке. Мотки проводов, дразнившие взгляд из-под шкафа, оказались так неожиданны и нелепы, как, скажем, цветок, появись он в петлице у Еремина.

— А... — уловив его изумление, пояснил Еремин: — Попросил чуток для поплавков, так натащили с три короба и обратно взять отказываются. — Он довольно рассмеялся. — Тебе, случаем, не нужно?

— Нет, Александр Александрович. Я больше на спиннинг, — отчего-то виновато признался Вадеев.

— Не люблю, знаешь, этих нововведений. То ли дело по старинке, в тихой заводи, забросишь удочку и сидишь себе на травке, таскаешь плотву на булку. Я ж для удовольствия, мне много не надо... А хорошо! Птички поют...

— Алексан Саныч! Я таких лещей прошлой весной после нереста таскал! Во! — не выдержал Вадеев. — И главное, смешно, у самого берега, глубина — каких-нибудь полтора метра!

— Так чего ж ты молчал?! — отложив бутерброд, всполошился Еремин. — Где ловил-то?

Алексей Сергеевич сообщил название заветной речки, добавив для очистки совести, что нужно знать определенное место — только там и клюет, а рядом — одна мелочь.

— Как же ты туда добираешься? — продолжал допытываться Еремин.

— У отца машина, Сан Саныч. Я по доверенности езжу.

— Съездим, съездим, — оживился Еремин, делая пометку в календаре.

Вадеев вдруг трезво понял, что так — закидывая удочки — можно сделать себе карьеру. Впрочем, он тут же с сожалением отметил, что это каламбур из тех, за которые приходится извиняться. То есть подобная искренность в разговоре с начальством выглядит искренним подхалимством и будто с начальством надо разговаривать не иначе как пренебрежительно и надуто. Так, как он разговаривал с начальником своего бюро.

— Тут, Алексей Сергеевич, вот какое дело... — начал Еремин, закуривая дешевенькую приплюснутую сигаретку. — Придется тебе

все-таки за банками ехать, — продолжал он, скрытый клубами едкого, вязкого дыма. — На техсовете нам подвесили, так что...

— Да что же это такое, Александр Александрович! Зачем у нас тогда отдел снабжения? Я и так с головой завален. Из цеха звонят — ничего у них не стыкуется, весь крепеж перепутан, технологи постоянно у нас пасутся, всем ответить надо. Я и без того разрываюсь!

— Ты краски не сгущай, не сгущай. Я тебя и так ценю.

— Да не о том я! — искренне возмутился Алексей Сергеевич. — Я ж не против ехать. Готов! Только банки эти нам никто не даст. С какой стати?! А время потеряем — всего месяц остался! Это же снежный ком, с каждым днем вопросов все больше и больше!

— Ты мне эти пораженческие разговоры брось! Наше дело сделать! И сделаем! Любой ценой! — повысил голос Еремин. — Вернешься, я тебе людей подкину.

— Нельзя тут, Сан Саныч, методом народной стройки. Пока каждому объяснишь...

— Вот и я тебе объясняю! Снабженцы все в бегах, Касторский в кабинете закрылся, знаешь куда всех посылает? Довели мужика. Коробов банки делать отказывается. Не успевает, столько переделок. Так что сами виноваты, самим и расхлебывать.

Тут Еремин был прав: именно он сам, без проверки, чтобы уложиться в сроки обязательств, подписал акт приемки халтурно выполненного смежниками проекта.

— Если честно, Сан Саныч, нет у меня в таких делах опыта. Как бы мне все не испортить. Тут ведь ходы надо знать, с какой стороны подойти...

— Ладно, не скромничай. Ты, главное, не спеши, на рожон не лезь. Приедешь, осмотришься, может сувенирчик там какой... На расходы не скупись — возместим. Премия по новой технике большая будет, — шутливо-конфиденциально сообщил он.

— Может, еще и за трубкой заскочить?

— А что? Точно! — не принял иронии Еремин. «Заскочить за трубкой» — это был крюк в триста километров. — Дам тебе недельку.

— Неделька, конечно, хорошо, особенно если на вокзале, — любезно улыбаясь, ответил Вадеев. — Да и как я все это добро уволоку, Сан Саныч?

— О! Это другой разговор! Подбери себе кого-нибудь из непроизводственных бюро, я улажу, и — давайте! Парни молодые. Весна! Пристроитесь где-нибудь под боком, а? Мне бы ваши годы! Давай, Вадеев, действуй! Дай телекс в Москву, в главк, за разрешением и давай пиши гарантийные письма на оплату.

— Ясно! — отрапортовал Вадеев.

— Ты только вот что... С телексом-то не спеши, его умеючи составить надо.

— О чем речь, Сан Саныч!

— Лучше-ка запиши, — поморщился Еремин. Он не надеялся на чужую память, как на свою, и потому приходить к нему в кабинет без блокнота было неосмотрительно. — Значит, так. Прошу разрешить командировку туда-то и туда-то представителям завода таким-то, таким-то. . .

— За тем-то и тем-то, — радостно подхватил Вадеев.

— Для решения технических вопросов, — укоризненно поправил Еремин. — Там, — он воздел к потолку пожелтевший от табака палец, — то-о-оже не дураки сидят. — Он выделил это «то-о-оже», будто хотел убедить, что и здесь сидят не дураки. — Враз поймут, что мы толкачей посылаем, — продолжал Еремин и, доверительно склонившись к Вадееву, добавил: — Мы весь лимит на командировки знаешь уже когда израсходовали?

Вадеев не знал, но уверенно кивнул.

— То-то! Ну, давай, действуй, — как-то уже теряя к нему интерес, кивнул Еремин.

Выйдя, Алексей Сергеевич огляделся. Коридор был, к сожалению, пуст, только у дверей патентного бюро топтался, разминая сигарету, переводчик Давид Геворкян.

— Привет! Чегой-то ты у Фомы делал? — ревниво спросил он.

— А! — отмахнулся Вадеев. — Погреться зашел. Пошли на лестницу, покурим.

Из большого, во всю стену, окна нещадно дуло, ибо пришедшие осенью утеплять окна работницы, вынимая громоздкую внутреннюю раму, чтобы законопатить щели наружной, ненароком высадили пару стекол, вставить которые, разумеется, позабыли; перенесший зиму заводской двор был в ожидании субботника уныл и грязен, фанерно-голубая хибарка ларя-буфета «Мечта», выстроенного, чтобы разгрузить в летнее время столовую, поблекла и полиняла,— все это оставляло в душе горький осадок.

«В такую погоду, — тоскливо подумал Вадеев, — хороший хозяин собаку из дому не выгонит».

Давид зябко повел плечами:

— Сейчас бы на юга, в теплые страны! Там уже тепло. . . Девушки. . . Все раздетые ходят. . .

— Ничего, скоро согреешься, — невесело ответил Вадеев. — Загремишь под фанфары.

— Чего такое? — встревожился Давид.

— У Фомы бумага, десять человек от отдела в котельную.

— У-ууу! — взвыл Давид, обхватив волосатыми руками лысеющую голову, и стал с горя раскачиваться. — Это что, уже точно? — открыв глаз, криво улыбаясь, спросил он.

— Слушай, а может, и в самом деле на юга махнем? Так сказать, для поднятия тонуса. Выпишем себе на неделю командировочку. . . Чего тут киснуть?!

— Тонуса! — расхохотался Давид. — Ты с этой идеей к своему шефу иди. Он тебе выпишет командировочку по первое число. Так тонус поднимет — не сядешь!

— Давид, — холодно ответил Вадеев, — я тебя серьезно спрашиваю, да или нет?

— Канэчно едем, дарагой! О чем речь!

— Тогда, Геворкян, идите на место и ждите. Когда будет нужно, вас позовут.

— Я-то хоть сейчас готов. Но ты, на всякий случай, беги получать ватник и рукавицы. А то не хватит, умучаешься без них в котельной. — И покровительственно похлопал Вадеева по плечу.

Он прибежал взволнованный, несколько запыхавшийся, и недоверчиво-робкая улыбка, вовсе Геворкяну не свойственная, странно шла к его лицу. Спеша закончить составление документов, Вадеев принял его, сидя за столом, и жестом отстранил рвущиеся из Давида вопросы.

— Как вас, Геворкян, по батюшке?

— Ованесович. Нет, ты скажи толком, куда хоть едем?!

Вадеев вписал отчество Геворкяна и протянул черновик командировочного удостоверения.

— Вот, Ованесыч, ознакомься. Форма одежды, кстати, парадная.

— Каких технических вопросов?! — пробежав глазами текст, встревожился Геворкян.

— Давид, все твои вопросы давно решены: плоское — тащи, круглое — кати.

— Нет, ты все-таки объясни, слушай!

— Геворк, я ж тебя не в котельную беру, что ты как маленький! Пора выходить на оперативный простор!..

— Везет же людям! — прочитав бумажку, говорила столпившимся сотрудникам конструктор Семенова, поправляя накинутое на плечи пальто. — Тут сиди, работай, мерзни, а эти за государственный счет на юг прокатятся, погуляют недельку. Пошли, девочки, чай остынет.

— Да, Геворк! Наверно, еще в июне придется туда поехать, — добавил ей в спину Вадеев. Хотелось ему подчеркнуть, что не вечно он будет сидеть по колхозам, да и не кричать же было, что с радостью уступит это темное место любому. Давид повеселел, а сотрудники с вежливыми лицами стали расходиться.

Объяснив Давиду ситуацию и отправив его за билетами на вокзал — лететь Геворкян суеверно отказался, — Алексей Сергеевич в поисках нужных ему сведений углубился в картонное «дело», распухшее, как роман, от протоколов техсоветов, приказов, решений и деловой переписки. За чтением этого производственно-эпистоляр-

ного романа он с досадой думал, что, может, и правильно: раз съездить и, решив все на месте, положить конец бумажной волоките. Но, по иронии судьбы, предстояло составить еще два письма. Одно — на получение трубки, другое — на банки.

«В порядке оказания технической помощи просим отпустить сотруднику завода Вадееву Алексею Сергеевичу полиэтиленовые флаконы емкостью 1 л с резьбовой пробкой в количестве восемьдесят штук для проведения экспериментальных работ.

Оплату гарантируем.

Директор завода...

Главный бухгалтер...»

Перечитывая, Алексей Сергеевич как-то вскользь подумал, что когда-то получал из тех мест и сам писал в те края письма отнюдь не гарантийные...

«...Я вчера вечером читала Ваше письмо и улыбалась, потому что оно связано с жизнью в Ленинграде, с самыми хорошими воспоминаниями.

Когда взлетал самолет, я поняла наконец-то, что нечто уходит, надолго или навсегда. За два часа полета я с закрытыми глазами и щемящим сердцем перебирала в памяти картинки последнего месяца и пыталась их как-то упорядочить, но безуспешно. Я никогда не буду счастлива, вечные метания подстерегают и одурманивают меня. Меня трудно опустить на землю. А Вы утверждаете, что я рациональна...

Папа говорит, что у меня что-то в крови цыганское, а я смеюсь, разве похоже?

Просто хочется беспрерывных перемен, новых открытий, новых источников знаний. Если бы мне дали какую-нибудь тележку, я бы ездила на ней и наслаждалась изменяющимися картинами. Но здесь...

Возможно, впереди идущие строчки — сумбур, но я, как и Вы, ничего не зачеркиваю.

Прощаюсь с Вами с нежной грустью...»

«Нам было по девятнадцать лет...» — вспоминал под перебор вагонных колес Алексей Сергеевич.

— Ты бы все-таки объяснил: какого хрена нам за этими банками ехать? — скучая, предложил Давид.

— Это долгая история...

— Делать-то все равно нечего!

— Ну что ж, слушай... Год назад, когда стали делать опытный образец, выяснилось, что смежники предложили изготавливать дозаторы весьма оригинальным способом. Так, как если бы тебе дали лист пластмассы, ножницы, клей и поручили склеить бутылку. Правда, они предложили края сваривать, а потом зачищать. Но

учти, что химстойкой против наших растворов краски не имеется, а сама пластмасса — капролон — грязно-желтого цвета. Деталь же, как ты знаешь, видовая, и не просто, а на самом виду. И вот с тех пор каждый месяц на техсоветах записывали пункт: решить вопрос о дозаторах.

— Чего проще, отлить из пластмассы!

— Это-то всем ясно. Только нужного оборудования у нас на заводе нет. Фондов на полиэтилен, чтобы договориться с другим предприятием, тоже нет. Заявку на фондируемые материалы надо подавать за два года вперед... Примерно в середине этой истории, когда кочующий с техсовета на техсовет вопрос стал поводом для шуток, наш автолюбитель Кунц на очередном совещании вытащил из портфеля и поставил на стол бутылку.

— У него что, машина есть? — удивился Давид.

— Что ты! Ноль шестая! Из гаража выезжать боится. Только тряпочкой протирает — на автокосметике совсем свихнулся. Гараж в будуар превратил, все полки, точно трюмо, флаконами заставил. Ну и в общем, все над ним посмеялись. А через месяц единогласно пришли к выводу, что это единственный спасительный вариант. Бутылка — загляденье, по всем параметрам будто создана специально для нашего процессора. И главное — чего проще: закупить в магазине сколько нужно, слить этот самый очиститель стекол — не пропадет! — удалить маркировку, и все дела! Техсовет облегченно вздохнул. К следующему совещанию кто-то «вспомнил», что использовать изделия ширпотреба в производственных целях запрещается, чтобы не способствовать их дефициту. Месяц обзванивали магазины и торговые базы — все без толку. Кроме того, выяснилось, что маркировку на бутылке не могут удалить даже наши агрессивные растворы... Попробовали счищать наждачной бумагой — исцарапали всю банку. Узнали адрес предприятия, выяснили, кто директор, кто главный инженер, засыпали их бумагами... На этом этапе мне и достался процессор. И вот мы с тобой едем на этот самый комбинат бытовой химии.

— Да... — мрачно протянул Давид.

— Ладно, давай укладываться. Красивых попутчиц нам, наверное, сегодня не дождаться.

— Главное, не терять надежды, — сказал Геворкян, стаскивая полуботинки и засовывая их под матрас.

Алексей Сергеевич вопросительно на него посмотрел.

— А что, люди, знаешь, разные бывают, — пояснил Давид и с обезьяньей ловкостью вскарабкался на верхнюю полку.

«Да, разные... — констатировал про себя Вадеев, но из деликатности последовал примеру Геворкяна. — Интересно, если дождется он девушек, как вытаскивать будет? — злорадно подумал Алексей Сергеевич, в три погибели согнувшись под багажной полкой, чтобы снять носки. — Батюшки! Ноги-то все черные! — ахнул он. — Папа

перед отъездом новые стельки вложил... Полиняли! Как слезать-то буду?!» — ужаснулся Алексей Сергеевич и, хоронясь от Давида, завернулся простыней.

— Лешка! Слышь, Лешка! Тебе какие больше нравятся?

— Черненькие...

— А мне беленькие, — вздохнул Геворкян. — Слушай, а ты мою жену-то видел?

— Как же я ее видел, если ты от всех прячешь?!

— Почему прячу, сейчас покажу, — пообещал Давид. Он долго пытался расстегнуть ускользающую пуговку обвисшего на крючке джинсового кителя, достав карточку, ревниво в нее вгляделся и с довольной улыбкой протянул Вадееву: — На!

— Красивая... — задумчиво соврал про белую мышку Алексей Сергеевич.

— Да... — вздохнув, согласился Давид.

— А кем работает?

— Приемщицей, в службе быта.

— А... — неопределенно протянул Вадеев, отдавая карточку. Как-то ему было странно, что Давид Геворкян возит у сердца фотографию жены. Снимок был, правда, кодаковский, цветной, да и показал Давид его в поезде, который, как повелось, служит местом для откровений, но... Алексей Сергеевич полагал, что Геворкян чужд сантиментов, потому и взял его себе в напарники, чтобы в их тандеме был человек деловой, цепкий, пробивной. Оказаться же в одной упряжке с таким же, как ты, идеалистом, сентиментальной рохлей, идя на дело, которое потребует житейской ловкости, пронырливости и еще черт те чего...

— Ладно, давай спать!

Геворкян беззаботно посвистывал носом.

«...Вся суета сует, — писал ей в ответ Алексей, — благодаря Вам, начинала приобретать некий неуловимый смысл, причем в его неопределенности и отсутствии обычной заданности и была, пожалуй, вся прелесть наших отношений. Вы стали моей Дамой ума...

Да, кстати, по поводу «если б у Вас была тележка». Рано, увы, слишком рано... Мы живем в такое время, когда нужно честно толкать вперед общую тележку, а не взгромождаться на нее и глазеть по сторонам. Я не язвлю, мне ведь тоже очень хочется «беспрерывных перемен, новых открытий, новых источников знаний». И еще мне очень хочется увидеть Вас в Ленинграде, испытать вновь тревогу и радость от встреч с Вами, увидеть Ваши легкие волосы...

Хочу держать Вас за руку, а потом отпустить, чтобы Вы немного позлились. Очень хочу увидеть Вас, потому что пока все «не то, не так и не затем...»

А ведь тогда, вспомнил Алексей Сергеевич, она, не успев получить этого письма, приехала в Ленинград и позвонила...

...Алексей ждал ее на набережной. Особенно мучительным казалось то, что он не знал, с какой стороны она появится. Мука длилась, он уже успел придумать фразу, которая поможет не потерять дара речи в первые минуты разговора. «Я уже привык к вашим всегдашним опозданиям на пятнадцать минут и поэтому спустя полчаса начал беспокоиться». Он подумал, что вовсе не привык к ее опозданиям, да и смешно называть их всегдашними, когда они встречались всего несколько раз. Они были знакомы три месяца, но он считал, что они знакомы семь дней. Он близоруко щурился, пытаясь ее увидеть, хотя наизусть помнил ее облик. Он любовался ею, любил достоинство ее движений, ее усталость, ее тщательность и серьезность, даже ее вещи, ее шерстяную зеленую кофту, напоминавшую ту, теплую, родную и колючую, прижавшись к которой, он плакал в детстве, и мама, обняв его, утешала, что научится он читать, все дети учатся, вот пойдет он в школу...

«Господи, какая она маленькая...»

— Здравствуйте, Алеша.

Они стоят на набережной, облокотившись на теплый шершавый гранитный парапет. Заглушая все вокруг, дикторша дурно радиофицированным голосом зазывает прокатиться на «быстроходном теплоходе «ракета». Алексей на слово ее опережает.

— Вы, наверное, давно ждете?

— Нет, просто текст примитивный. Я его угадываю.

— Она, кажется, только отпугивает.

Они переходят улицу, из петлички ее плаща медленно и безвольно падает на асфальт бледный цветок. Они в нерешительности стоят посреди дороги...

— Гляди, гляди! — дергая за рукав, не унимался Давид. — Паровозную резервацию проезжаем!

Вадеев хмуро кивнул.

...И, держась за руки, радовались, что не заасфальтировали брусчатку под арками ворот Петропавловской крепости, — так торжественно и чудно звучали там их шаги...

— Вы человек, открывающий свой внутренний мир, — задумчиво и почему-то грустно сказала она.

— Да, но не затем, чтобы вы его захлопнули! — рассмеялся Алексей.

— Вы не знаете, зачем камни нумеруют? — разглядывая под

ногами номер каменной плиты, которыми была выложена набережная, серьезно спросила она.

— Это делали в старину для таких сентиментальных людей, как я. Чтобы мог, дурак, запомнить, на каком именно месте вы стояли. — И, дурачась, хвастливо добавил: — Видите, какой я злой и нежный.

Она отвернулась.

— А знаете, я так рад, что в свое время не согласился перейти с вами на «ты»... Так боялся вас этим обидеть... Всю жизнь мечтал о девушке, к которой хотелось бы обращаться на «вы»... и стало жаль расставаться со своей возвышенной мечтой.

— Я тоже рада, Алеша.

Ветер перебирал ее легкие светлые волосы, и они нежно касались лица Алексея. Он подумал, что сейчас ее поцелует, оглянулся, заметил ласковый взгляд проходящей мимо пожилой женщины и передумал.

...И внезапный теплый ливень. Пытаясь скрыться от него, они не могли найти входа в чугунной ограде Никольского собора и бегали вокруг сквера, вымокнув и смеясь, а потом, попав в гулкое, в строительных лесах, нутро собора, смирно сидели, как послушные дети, на деревянной лавочке, и Алексею почему-то вспоминался Блок: «...Ей имени нет. Ее плечи бессмертны...» Напротив почесывающийся поп отпевал кого-то, мотая чадящим кадилом. «Мне нужно долгое время, чтобы понять, что она для меня значит... Она совсем не такая, она неправда, такого не может быть. Это хорошо, что она уезжает, иначе все превратится в обыденность... это будет то же, что поселиться в музее...»

Она уже очень опаздывала, они стояли на стоянке такси, загадав, что не успеют уехать, пока солнышко не скроется за угол дома. Алексей, не зная, что видит ее в последний раз, говорил, что его Дама ума причиняет все больше хлопот его сердцу. «А в общем, так мне и надо», — говорил он. Она молчала.

— Хотите, я буду всю жизнь писать вам письма? — напыщенно предложил он.

Она ничего не ответила.

— Как-то это глупо: есть, есть, а потом — раз, и все... — с горечью сказал он.

— Ничего, Алеша, пройдет время, и все забудется.

— Да, но что-то останется!

— Да, что-то останется, — тихо согласилась она.

А наутро он долго не хотел открывать глаза, ему было тяжело, обидно, плохо, он никак не мог согреться и сквозь сон слышал, как собирались уезжавшие на дачу родители, и отец сказал матери: «Не будем будить его. Знаешь, по-моему, он стал добрее».

К вечеру Вадеев и Геворкян нашли гостиницу, где им позволили переночевать. «Только, мальчики, чтоб утром без напоминаний!» — погрозила пухлым пальцем администраторша. Мелко и преданно ей закивав, они крупной рысью побежали вселяться.

— Ну что, ночлег обеспечен. По городу пройдемся?

— Лучше тут посидим, — кисло предложил Давид. — Зря, что ли, за телик деньги платили.

«Телик», разумеется, не работал. Зато появился сосед — коллега из Уфы, командированный за порошком для множительных аппаратов. «Эры» простаивают, пояснил он. Остаток вечера посвятили пересудам об эре НТР, в разрезе «ИТР на марше». Коллега, почти еще мальчик, как в пионерлагере, рассказал на сон грядущий страшные истории. Особенно запало в душу, как один совсем молодой специалист попробовал покататься в центрифуге.

«. . .Пришла в восторг от Вашего наивно-лаконичного, поэтического письма. Оно одело в воздушные кружева и пыль улиц, по которым мы бродили, и некоторые минуты молчания, и прелесть приближения осени, — писала она про то, отправленное до их встречи письмо, которое ожидало ее дома. — Наконец я дома! Привожу в порядок письменный стол, нахожу старые школьные записки, дневники, вырезки, фотографии. Кое-что всплывает в памяти, но многое уже забыто, его захлестнула волна последних лет жизни. . .»

Главный инженер комбината, изучив содержимое письма, отпечатанного на роскошном фирменном бланке, поднял заинтригованное лицо.

— Слушайте, а на кой ляд они вам понадобились? Это надо же — через всю страну. . . — искренне пытаясь вникнуть в суть дела, спросил он.

— Что вы! Это мы заодно. Коллеги попросили, узнав, что мы в ваши края собираемся. Так-то действительно, кто же за этими банками через полстраны поедет? — принужденно рассмеялся Алексей Сергеевич. Он понимал, что упираться в эти банки глупо, ибо изготовители банок, чувствуя такой спрос, сами непременно упрутся, что им без банок — крышка. А потом вкрадчиво спросят: «А у вас что есть?» А что у Вадеева было? Потому он и решил, что у него как бы есть главное задание, настоящее дело, а банки — это так, походя, по пути, из любезности к коллегам, — так что отсыльте нам в порядке технической помощи восемьдесят баночек, мы вам оплатим их по безналичному расчету, и всего хорошего, дальнейших трудовых успехов, дорогие банкостроители.

— Нет, а все-таки, для чего они могут понадобиться? — как ребенок, не унимался главный.

Давид заинтересованно разглядывал вид из окна кабинета. Алексей Сергеевич стал туманно объяснять про некие единичные эксперименты (главное не вспугнуть, потому что когда процессор пустят в серию, комбинату накинут план на банки), в ходе которых нечто сказочно ядовито-агрессивное переливается посредством указанных банок из пустого в порожнее, причем емкость и габариты строго обусловлены условиями эксперимента, с которыми приезжие товарищи, работающие по другой тематике, к сожалению, не ознакомлены.

Убедившись, что толку не добьешься, главный по селектору попросил выяснить стоимость одного флакона.

Дело затягивалось. В воображении Вадеева уже успел материализоваться, как выпущенный из бутылки Хоттабыч, начальник отдела снабжения, который начнет допытываться, не богаты ли они двумя вагонами листового проката. Начнутся длительные телефонные переговоры, в результате которых Вадеев и Геворкян вернутся на родной завод не только с пустыми руками, но и с репутацией сотрудников, которых не то что посылать в командировки — на заводе держать опасно. Было видно, что главному тоже жалко отдать банки так, ни за что, по безналичному расчету. Но цыганить, торговаться он, как солидный специалист, позволить себе не мог.

Наконец ему сообщили стоимость одного флакона.

— Вам нужно восемьдесят, это на три с половиной... — Он вытащил микрокалькулятор и, с опаской тыча толстым пальцем в сработанные на японский — миниатюрный — размер клавиши, стал считать.

— Двадцать восемь, — поторопился Вадеев.

— Два восемьдесят, — не обращая на возглас внимания, сказал он, и Алексей Сергеевич поблагодарил его в душе за тактичность, хотя и не собирался никого обсчитывать. — По безналичному расчету операции в банке ведутся начиная с двадцати пяти рублей, — веско добавил главный. — Попробуем иначе...

Разделив две с половиной тысячи копеек на три с половиной, он получил астрономическое (с остатком) количество банок, увезти которое потребовался бы грузовик с прицепом.

— Да... — раздумчиво сказал он, глядя на зелененькие, как бы нетерпеливо дрожавшие цифры.

— Давайте мы заплатим вам четвертной, а возьмем сколько нужно? — от неуверенности развязно предложил Давид.

— Нет, так нельзя, — строго ответил главный.

Он позвонил главбуху. Того не оказалось на месте. Стал консультироваться с кем-то из отдела. Лицо его скучнело.

— Вот что! — внезапно трезвея, сказал он. — Бумагу я вам подпишу, а с оплатой разбирайтесь с главным бухгалтером!

Вадеев и Геворкян, озираясь, шли бетонным коридором. Коридор своей акустикой, освещением и мрачной перспективой походил

на бесконечные туннели из западных детективных фильмов, где обычно пристреливают положительных героев. Иногда, издалека завывая, выставив клыки, их нагонял очередной электропогрузчик с мешками гранулированного полистирола. Просыпанные гранулы раскатывались по полу и скрипели под ногами. В цехах надсаживались громадные термопластавтоматы, казавшиеся из-за своей удлиненной формы и похожего на трубу загрузочного бункера архисовременными, без колес, паровозами. В обвальном грохоте вентиляции четко щелкали концевые реле, но было не разобрать ни слова.

Геворкян слонялся по цеху и, располагая к себе, оделял жевательной резинкой занятых работниц. Они вертели в руках яркие пакетики «джуиз-фрут», а Геворкян кричал в ухо:

— Детям дайте пожевать, детям!

Около стен высились огромные осыпи разной номенклатуры банок. Вадеев нашел нужную ему кучу, подозрительно помял банку в руках. Он боялся набрать брака — смущал способ хранения, казался свалкой.

Узнав, что молодым людям из Ленинграда везти банки не в чем, девушки предложили склеить из полиэтилена мешок.

— Вам какой? Белый, черный?

— Я думаю, черный, — ответил Алексей Сергеевич, представив, каково будет везти банки в прозрачном мешке.

Склеили, дали остыть, и Вадеев стал вертеть его в поисках верха. «Что за бред!» — встревожился он, с глупой улыбкой перебирая стороны мешка по второму разу. Девушка, заговорившись, запаяла мешок со всех сторон.

Полностью банки не поместились, стали делать еще.

— А как найти вашего главбуха? Заплутали у вас в катакомбах. Нам эти банки еще оплатить нужно.

— Господи! Да что тут оплачивать! — всплеснула работница руками. — Идите сразу на проходную, и так пустят!

— Вы думаете? .. — нерешительно спросил Алексей Сергеевич.

— Конечно! — убежденно ответила молодая.

— Да пустят, пустят! Скажете, из брака набрали, — подсказала та, что была постарше. — Мы, если что, подтвердим.

— Ну, спасибо вам большое, — искренне говорили Вадеев и Геворкян, кивая и пятясь к выходу. — До свидания!

— Приезжайте еще. Выручим!

Тем же мрачноватым коридором они скорым шагом — точно награбленное — волокли мешки к проходной. В тревожно дрожащем свете люминесцентных ламп мешок на спине у Давида зловеще вспыхивал, блистая изломами и складками. Давид, оборачивая синеватое от щетины лицо, свистящим шепотом говорил:

— Как бы не встретить кого из начальства!

Благополучно миновав коридор, они вошли в вестибюль и, ути-

шив шаг, подошли к будочке вахтерши. Будочка была пуста. Они растерялись.

— Слушай! — спустя минуту сказал Давид. — Кто кого караулить должен?! Пошли, слушай!

Вадеев махнул рукой и вслед за Геворкяном прошел вертушку, придержав ее за собой, чтобы она не придала ненужного направления мыслям вернувшейся вахтерши.

— Вот, Давид, до чего мы с тобой опустились. До промышленного воровства.

— Нет, если бы эти банки лично мне были нужны, я бы их элементарно достал. Мне бы их на подносе вынесли, — небрежно сказал Давид, оправдывая свою национальную гордость.

Пригревало солнышко. Они млели на остановке в ожидании автобуса. Подошла девушка. Алексею Сергеевичу казалось, что она старается на них не смотреть. А мешки были такие черные, загадочные... Геворкян, уперев руки в боки, словно расправив крылья, стал петушиться — подталкивать Вадеева, прожигать девушку взглядом и гортанно восклицать:

— Э?! Какая дэвушка! Какая дэвушка!

Потупив орлиный взор, он окинул взглядом ее полные ноги. Она зарделась. Алексей Сергеевич никак не мог решить, помогает внешность Геворкяну играть горного орла или обязывает.

Подошел автобус. Девушка осталась ждать другого — они ей не подошли... В автобусе была девушка еще лучше. Она сидела у окна, за окном была весна, и глаза слепило от луж. Они потели, как два пенсионера, в зимних шапках. Ее волосы нежно и свободно вились — так и хотелось провести по ним рукой... «А я с этими дурацкими мешками», — обиженно, как в детстве, подумал Алексей Сергеевич.

Они выгрузились на вокзале и заняли очередь в камеру хранения. Алексей Сергеевич с каждым шажком очереди подвигался к решению отпустить Геворкяна домой. Давиду казалось, что они не найдут, где ночевать, все не нравилось, и он жаловался на сквозняк, на то, что, дурак, согласился куда-то ехать, когда дома так хорошо и жена, наверно, уже пришла с работы...

— Вот еще! — не выдержав нытья Геворкяна, жестко усмехнулся Вадеев. — Что ей дома делать? Муж в командировке, веселиться поехал...

— Ну уж, — поспешно отозвался Давид, — свинья всегда грязи найдет.

— Да грязи-то нынче тоже на месте не сидится. Ты вот о чем мечтал, когда сюда ехал? Рассказал ей?

— Я сказал, что меня за банками посылают, — оторопел Давид.

— Да какой разумный человек в это поверит?! Что специалиста по техническим переводам посылают на курорт за какими-то вшивыми банками? — зло рассмеялся Вадеев, впрочем уже понимая,

что поверить можно, раз специалиста посылают таскать кирпичи и менять трубы в котельной. — Ах, Давид, — примирительно сказал он, печально глядя на Геворкяна, — ты пытаешься постичь умом то, что делается отнюдь не от ума... Надо вслушаться сердцем, есть нечто в душе, что подскажет... — продолжал он, обреченно зная, что, чем более будешь вслушиваться, тем вернее сойдешь от ревности с ума. Лекарством было как раз убедиться, что твои сомнения присущи всем... И еще Алексей Сергеевич надеялся, что, переборов интоксикацию, Геворкян станет решительней, а если нет — то нечего облекать свою натуру, как в модные одежки, в суперменский характер.

Помолчав, Давид сказал, не глядя на Вадеева:

— Одному, наверное, на ночь устроиться легче...

— Конечно.

— Уж одна-то койка всегда найдется!

— Угу.

— Я ведь тебе уже не нужен? Трубку и сам достанешь? — все бойчее, видя, что их очередь приближается, продолжал Давид.

Алексей Сергеевич кивнул.

— Так чего ж нам тогда в очереди стоять! Я заберу мешки и поеду, а когда ты прилетишь, все равно выходные будут. В понедельник встретимся и притащим на завод. Точно?

...Он стоял на перроне. Поезд уходил, увозя Геворкяна, стыдную поклажу, метания толпы из-за спутанной нумерации вагонов, обидный возглас мужика с корзиной: «Хватай мешки, вокзал отходит!» — все это отходило, навсегда растворяясь в роящемся сумраке, как отработанная стартовая ступень... Перед внутренним взором Вадеева в синем мраке плыл, сияя стальным корпусом, межпланетный корабль — в свободном полете, сам по себе, в бескрайнем пространстве. С порывом ветра подумалось, что космос на ощупь холоден, метеоритно-колюч, как беззащитна в нем оболочка из живой плоти, и тогда Алексей Сергеевич съежившейся от озноба кожей ощутил свое одиночество в незнакомом городе. Печаль поднималась со дна души его, словно она была наготове и ждала, когда он останется один.

Окошечко квартирного бюро было закрыто. Вадеев два раза попал под изучающий взгляд патруля, снова пошел в зал ожидания, посмотрел на раскисшие в слякоти опилки... «Как в хлеву, — поморщился он. — Где же здесь ночевать?»

— Мужчина! — услышал он вкрадчивый женский голос и, вздрогнув, обернулся. Перед ним, в плюшевом жакете, суконных

ботах и платке, стояла старуха. Она заискивающе улыбалась беззубым ртом.

— Негде ночевать, милок?

— Негде, — подтвердил Вадеев.

— Айда за мной, милый, — поманила она и, семеня, направилась к выходу.

Поспевая за ней, он все хотел задать необходимые вопросы, но сначала открывал перед нею тяжеленную дверь, на улице, для солидности, на ходу закуривал, — а бабка в это время остановила клюкой таксомотор, и Вадеев оказался на поскрипывающем заднем сиденье «Волги». Такси неслось по трамвайным путям, вспышками фар подгоняя пешеходов, громыхая амортизаторами на колдобинах. Бабка, смежив дряблые веки, отдыхала. «Так, кажется, уже из города выехали, — с непонятной удовлетворенностью заметил Алексей Сергеевич. Все шло, ехало, как он и предполагал. — Попался, дурачок. Туда тебе и дорога». На каком-то загородном, неосвещенном шоссе, у какого-то желтого домика рядом с громадной лужей, где мерцало в пыльной ряске отражение маломощной лампочки, бабка попросила остановить. «Деньги пополам», — заговорщически шепнула она. Вадеев отсчитал, протянул, и они вышли. Взревев, такси унеслось, стреляя глушителем, и стало безумно тихо. Они шли по дороге, мощенной битым красным кирпичом, сворачивали то направо, то налево. «Я ж утром отсюда не выберусь», — догадался Вадеев.

— Тебя как зовут-то? — спросила бабка.

— Алексей Сергеевич.

Вдали тоскливо прогудел тепловоз.

— Сейчас запиночку откроем... чайку попьем... — бормотала бабка.

Заскрипела покосившаяся калитка, и по бетонной дорожке, что удивило Вадеева, они подошли к одноэтажному белого кирпича дому. Окно светилось бледным телевизорным светом.

— Ага, — прошамкала хозяйка, — Машка дома сидит.

Она отперла дверь, в прихожей сладко пахло керосином, напоминая детство, дачу, надувающиеся на сквозняке белые занавесочки, чувство безмерной к тебе любви и заботы, — бабуля отворила еще одну дверь и, толкнув ее, пригласила:

— Вот, милок, комнатка.

Алексей Сергеевич шагнул, напоролся в темноте на железный каркас кровати, и тут же бабка щелкнула выключателем:

— Устраивайся, милок. Я чаек поставлю.

Он втиснулся в угол между тумбочкой и кроватью, потянул дверь и, закрыв ее, освободил себе жизненное пространство в один квадратный шаг.

«...Одно благо здесь — солнце и тишина моего дома. Мои друзья не тревожат меня, увлеченные своей кипучей молодостью. Так что пребываю в полнейшем одиночестве, навещая только библиотеки.

Читала «Воспоминания и письма» Дега. «Искусство — это тайна», — видно, прав этот седовласый старец, воспринимавший мир исключительно остро и видевший в нем истину и простоту в неразрывности.

Какой он был нервно-эгоистичный и добрый, не оттого ли, что видение его было намного глубже, чем у окружающих?

Знаю, что Вы собираетесь ознаменовать дату исторической важности — собственное двадцатилетие. Мне, откровенно говоря, очень нравится эта дата, потому что впереди еще много и можно строить грандиозные замыслы. Самое прекрасное в жизни — это детство. И для того чтобы быть хоть чуть-чуть счастливым, постарайтесь сохранить то вечное удивление к миру, которое так ярко в детские годы.

До свидания. Сейчас уже очень поздно».

Автобус, неярко замигав залепленными грязью фарами, отъехал, и Вадеев огляделся. Городка не было. Было шоссе, по одну сторону которого тянулось раскисшее поле, теснимое унылой рощицей, по другую, через канаву, — отсыревший парк, на обочине стояло облупленное здание автовокзала, к которому лепились фанерные хибарки ларьков и киосков. Странный здесь в утреннее время мальчик налаживал из обломков ящиков и сучьев переправу.

— Ты не подскажешь, где центр?

— А вона! — показал мальчик, и на продолжении его жеста, за деревьями парка, ликующе запел петух.

— А где комбинат, знаешь?

— Тама! — махнул он в противоположную сторону. — За лесом. Автобусы туда только утром и вечером ходят. Рабочих возят. А если пешком, то по шоссе кэмэ два, а потом направо и еще направо. Только далеко, дяденька, будет, и грязно там очень.

— Спасибо, — хмуро ответил Вадеев.

Он шел по раскисшей обочине, как-то стыдливо прикрываясь портфелем от брызг проносящихся машин, и думал, что ловить попутку глупо, поди узнай, какая из них идет к комбинату. Свернув с шоссе, он успокаивал себя, что комбинат вот-вот появится из-за очередного поворота и, значит, не нужно никого ни о чем просить — стоять с протянутой рукой и провожать взглядом проехавшую машину. «Пусть, — думал он, — пусть, сам доберусь, черт с ним». Дорога петляла, как на Карельском перешейке шоссе, она металась от песчаного карьера с когда-то заглохшим на дне и уже заржавевшим бульдозером к свалке железобетонных изделий, где

мощные, хаотично изогнутые прутья арматуры с осколками нанизанного на них бетона, подмяв под себя поляну, напоминали какие-то фантастические заросли технотронной цивилизации. Английские, на платформе, полуботинки Вадеева, которым, казалось, не будет сноса, но лопнувшие пополам по истечении гарантии, как насос, с жадностью всасывали воду, стараясь напитать ненасытное нутро подошвы. В довершение его мытарств стал накрапывать дождь, но тут Алексей Сергеевич и вышел к комбинату.

В приемной престарелая секретарша с химической завивкой сказала, что директора нет, а главный инженер скоро будет. У нее же Вадеев узнал, что гостиницу пока не построили. Он понял, что времени терять нельзя, и отметил командировку. Сел, стал изучать интерьер приемной. Стены, до половины высоты, были отделаны на манер студенческого кафе — обожженными паяльной лампой досками, висела самодеятельная чеканка, так сказать, с химическим уклоном — девушка держит на протянутых к солнцу ладонях вместо традиционного кувшина реторту. Висел портрет Менделеева, под ним старомодный, как огромный чемодан, телетайп. Окраска кресел что-то мучительно напоминала — были они обтянуты синим кожзаменителем с красным кантиком из полихлорвиниловой трубки... В углу неожиданно громко щелкнуло. Капля, сорвавшись с потолка, где подмокшая побелка синела причудливым, с ржавым ободком, узором, ударила в остроумно растянутое на специальных подпорках полиэтиленовое полотнище. Оно было наклонено и далее складывалось наподобие ущелья. Капля скатилась по нему точно в подставленное ведро. «Однако», — подумал Алексей Сергеевич. Раздражая и слух и зрение, дребезжали ребристые рассеиватели люминесцентных ламп. Вадеев утомленно прикрыл глаза.

Влажная одежда липла к телу, кожзаменитель казенной мебели холодил руки, и незаметно Алексей Сергеевич перенесся с репетиции предстоящего разговора с главным на какой-то студенчески-бесцельный, с самим собой, диспут о преимуществах и тяготах кочевой жизни. Почему-то всем кажется, что съездить за заводской счет на недельку в командировку — а всем кажется, что за окраинами их существования идет полная интереса жизнь, — такое уж заманчивое дело. И только они, каждый по отдельности, честно тянут лямку, а бездельники ездят по командировкам.

Проскрипел к выходу паркет под каблуками секретарши. Неслышно за ними прокрался солнечный луч. Алексей Сергеевич окунул в него ноги, и свет обнял их теплом. Луч поднимался выше, согревая колени. «Вот так когда-нибудь и околеешь потасканным инженером в чужой приемной за тридевять земель от дома... Что делать?»

Минутная стрелка в круглых часах на стене дернулась, подпрыгнув на отмеренное ей расстояние. Из коридора послышался приближающийся разговор, в дверях он оказался спором, причем спо-

рил один — пожилой, в помятом костюме, а второй, помоложе, молча не соглашался. По меркам вадеевского завода молодой мог быть преуспевающим руководителем группы. Они вошли в кабинет. Стрелка успела совершить тройной прыжок, прежде чем помятый вышел со словами: «Ну что ж, ждите!» — и хлопнул дверью.

«Однако сколько ж его ждать?» — подумал Вадеев, решив не попадаться главному под горячую руку.

Главный все не возвращался. Алексей Сергеевич заглянул в кабинет. Молодой, прислонившись к стеклу, смотрел в окно.

— Простите, вы не скажете, когда главный будет?

— Я к вашим услугам, — неожиданно ответил тот и шутливо развел в стороны руки, стараясь скрыть свою озабоченность.

— Здравствуйте! — тоном ниже обычного, более, что ли, солидным сказал Вадеев, представился и сел в предложенное кресло.

— Что же привело вас к нам с берегов Невы? — спросил главный, жестом предлагая закурить.

— О, совершеннейшие пустяки! — отвечал Алексей Сергеевич. — Чехольчики для пружинок.

— Это что-то новое!

— Увы, это действительно так. Наша фирма готовится к выпуску нового процессора, проект, кстати, выполнен вашими соседями, — сказал Вадеев, называя контору смежников. Главный понимающе ухмыльнулся. — Так вот, процессор работает с агрессивными средами, и поэтому пружины выполняются из нержавеющей стали, которая по данным химического анализа соответствует аналогу.

Главный покивал, вспоминая что-то свое.

— И действительно, — продолжал Алексей Сергеевич, — названная сталь соответствует по химсоставу аналогу... но ржавеет! Повторный анализ показал, что наша сталь в отличие от аналога обладает магнитными свойствами. В создавшейся ситуации, чтоб не переводить завод на выпуск запасных пружинок, было предложено (Алексей Сергеевич улыбнулся: ваш покорный слуга) надеть на пружину и запаять с обоих концов вашу трубку. Это, сохраняя рабочую характеристику пружины, позволит предохранить ее от коррозии.

— Что ж, остроумное решение.

— Да, только как отнесетесь к этой шутке вы, монопольные производители трубки? Фондов у нас нет, — с бесхитростной улыбкой добавил Алексей Сергеевич.

— А что, так уж ничем нельзя заменить?

— Из имеющейся номенклатуры только этим.

— Что ж, всегда рады помочь ленинградцам, — ставя на письме резолюцию, сказал главный. — Зайдете к начальнику отдела сбыта, он вам выпишет.

Они вместе вышли в приемную; натягивая плащ, главный сказал секретарше, что он в обком, и, протянув Вадееву руку, пожелал удачи.

Окрыленный, растроганный, шел Алексей Сергеевич по коридору. Он распахнул дверь с табличкой «начальник отдела снабжения и сбыта» и, как в триумфальную арку, вошел в малярные козлы. Давешний лжеглавный инженер рылся в папке, прижимая к уху плечом телефонную трубку. Не глядя на Вадеева, он махнул рукой в сторону стульев. Стулья были заляпаны известкой.

Он с досадой бросил на рычаги трубку и поднял на Вадеева вопросительный взгляд. Алексей Сергеевич протянул письмо с резолюцией: «Помогите, по возможности, ленинградцам».

— Да... Рады бы помочь, но, к сожалению, возможностей-то у нас и нет... — сообщил он, возвращая письмо.

— Послушайте, но...

— Поймите, голубчик, вы видите, в каких условиях мы работаем? Комбинат еще не достроен, а мы должны давать план. Страна нуждается, буквально задыхается без нашей продукции. Аптеки, больницы, аппараты искусственного сердца, переливание крови... и все это километры и километры нашей трубки.

— Но нам бы всего каких-нибудь сто метров...

— Молодой человек, у нас на учете каждый сантиметр!

— Ну конечно! Каждый сантиметр на учете, а сами трубку вместо шпагата используете! — обозлился Алексей Сергеевич, кивая на перевязанные трубкой кипы папок на полу.

— Вот что! Если вам действительно нужна трубка, доставайте в Ленинграде десять кило лакоткани на фторопластовой основе, и тогда мы сами к вам приедем и контейнер трубки привезем. Вот мой телефон. Надеюсь, все ясно?

— Яснее не скажешь.

— Тогда всего хорошего! — И начальник отдела снабжения и сбыта стал яростно наверчивать телефонный диск.

«Точно на грабли наступил, — злился Вадеев, не раз дававший себе слово не радоваться раньше времени. — Построй с такими коммунизм. Кощей бессмертный! Что, Сан Саныч, прикажете делать? На колени перед ним вставать? Так у него ж «искусственное сердце», — с горечью передразнил Вадеев. — Не умею я, черт, с такими людьми говорить. Нет, разве ж это люди? Ну, принес бы я ему коньяк, так он бы его у меня и не взял. Он же чутьем чует, что я его презираю. Это самому надо таким же быть... А Сан Саныч-то, наверное, и сам не верит, что я хоть что-то привезу... Послал, чтоб на техсовете оправдаться, мол, делаем все возможное, людей в такой момент снимаем... И чего я, собственно? Можно с чистой совестью возвращаться. Съездил? Съездил. Письмо показывал? Показывал. Не дают, но узнал обходной вариант. Молодец, что узнал. За банки особое спасибо. И все, и пошел, и гора с плеч! Пусть на

техсовете решают. Захотят, пусть ставят пружины без защиты — ОТК все равно примет, документации соответствует; не захотят, пусть достают лакоткань — это все же проще, чем посылать во все концы людей, чтобы через полгода менять эти пружинки. Пусть достают — дома и стены помогают».

У него оставался последний, на крайний случай, вариант, который все-таки надо было попробовать. Но чувство усталости, нелепости своей в роли снабженца, сознание того, как чужды ему, в сущности, все эти абсурдные технические заботы, навалились на Алексея Сергеевича. Сейчас, более чем когда-либо, отношения, построенные не на чувстве, а на логике и расчете, казались ему безнравственными... Высчитывать, что тебе выгодно, а что — нет, казалось калечащим душу. Он понимал, что это условие производственных отношений, но тосковал по отношениям человеческим, по сладкой грезе детства.

И вот тут-то и появился автопогрузчик, который, попыхивая голубым дымком, обогнул батарею синих бочек с японским дихлорэтаном и завернул за угол. Вадеев шел следом, зная, что он-то ему и нужен. Алексей Сергеевич положительно чувствовал себя новым человеком, истинно самим собой. Он завернул за угол и оказался на свалке.

Чего здесь только не было! У забора, как рождественский подарок, играл огнями, переливаясь на солнце, огромный прозрачный моток спутанной трубки. Растроганно твердя: «Когда б вы знали, из какого сора...», Алексей Сергеевич тянул за сверкающую нить, распутывал клубок и, пропуская трубку через зажатый в руке носовой платок, наматывал ее на локоть. Обеспечив потребность завода в трубке на два года вперед, Алексей Сергеевич связал бухту посредине, отчего она приобрела сходство со знаком бесконечности; помянул добрым словом находчивое послевоенное студенчество в лице Еремина, который, идя на техсовет, блокнот засовывал под ремень, и, засунув трубку под ремень, Вадеев направился к проходной комбината.

Дорога на автовокзал показалась ему гораздо короче.

...В привокзальном буфете к прилавку было не протолкнуться. Гудящая компания дюжинами брала пиво, и когда Алексей Сергеевич очутился у витрины, напоминавшей в этот час стенд окаменелостей археологического музея, он растерялся. Из съедобного была копченая рыба — ему же не хотелось копаться в ней немытыми руками, а потом вытирать их о край столика. Он попросил бисквит и что-нибудь попить. «Сок», — ответила буфетчица, подтолкнув стакан. «Ладно, — подумал он, — надо же чем-то запить», — и стал выбирать место почище на заставленных порожними бутылками столиках.

Алексей Сергеевич ел высохший, крошащийся бисквит, и кра-

шенный кружевами пастельных тонов крема, запивал березовым соком и чувствовал на себе взгляды завсегдатаев буфета, будто подносил он к губам что-то здесь изысканно-неприличное.

«. . .Благодарна Вам за веселое письмо. В моем вечном унынии это как бальзам для души.

Знаю, что Вам бы хотелось услышать несколько слов о моей работе, увлечениях, занятиях. . .

Самое большое счастье для человека — это жить согласно его желаниям. Я «открыла» для себя одну женщину, лет под пятьдесят, но совершенно необычную среди ординарного мира. Некоторые вечера провожу у нее на диване, жадно ловлю ее рассказы, мысли. . . У друзей младшего возраста кончается сессия, и они разъезжаются в поисках снежных сугробов в Карпаты, на Кавказ или Север.

Алеша, у меня есть редкостные книги. . . Когда-то Вы хотели показать мне свои. Теперь я горю этим желанием. Может, мы когда-нибудь увидимся все-таки?!

Но только когда будет тепло, а то я буду мерзнуть в вашем северном городе».

Автобус мог вытрясти всю душу. «А что, — думал Алексей Сергеевич, — съезжу. Теперь-то уже нечего бояться, что разочаруюсь, что нечего надеть, что недостаточно отесан, что не успел еще прочесть столько нужных книг. . .»

«. . .Вам совсем некогда подумать обо мне в сутолочные предсессионные дни, а мне хочется принести немного запаха цветущих груш в Вашу жизнь. Я прямо обитаю в кругу этих белых шапок, но деловитый вид пчел заставляет меня держаться от них на почтительном расстоянии.

Совсем недалеко от нас обсерватория, очень старая и какая-то уютная. Сторож вполне доволен моим смиренным нравом, и можно спокойно бродить в тишине аллей (они здесь удивительные) или читать, если красота беспрерывно меняющегося неба не отвлекает от начатой страницы.

А что Вы читаете?

Я испытала столько радостной грусти, читая один роман в письмах. . .»

Вадеев уже вчера заплатил хозяйке за два дня вперед, и больше она его к ужину не приглашала. Голодным вечером Алексей Сер-

геевич, чувствуя дразнящий дух отварной картошки, утешал себя: «Ее вечернее пюре капает с ложки».

Он вышел на крыльцо, куда хозяйка выставила ему для окурков в ржавых дырах детский горшок. Опять столкнулся в дверях с некрасивой молодой бабкиной не то дальней родственницей, не то квартиранткой. Поймал на себе ее ускользающий взгляд, вспомнил, как ночью, потеряв ощущение реальности, прислушивался к шорохам за дверью, опасаясь, что замарашка прокрадется к нему в постель, а бабка их застукает и женит, — и стало неловко: будто, то и дело выходя покурить, ищет с нею встречи.

Дом понемногу затихал, погружаясь в темень и сон.

Вадеев стоял на крыльце южной холодной ночью, бездонный купол неба над ним дымился от звезд, и где-то мимо бесплотной ведьмой сновала хозяйка. Ярко ослеплял и жег пальцы разгоравшийся уголек сигареты, доносился по-ночному гулкий, переливчатый лай собак, протяжно перекликались в ночи тепловозы, и от станции прокатывался по округе буферный лязг стронутого состава. Алексей Сергеевич стоял перед смутно белеющей в синеве ночи сплошной стеной соседней хатки и знал, что завтра он будет счастлив. Он будет у нее дома и, быть может, как никогда почувствует ее...

На белой стене, как на полотне экрана, он вызывал из памяти дорогой образ, удивляясь тому, как все цело, тому, что память сохранила все, как в музее. «Руками не трогать, — печально подумал он. — Вот что с детства, с безответной первой любви, осталось до сих пор непременным условием любви подлинной. Это чувство не требовало от тела, как и в чистом, наивном детстве, подтверждений в своем реальном существовании. Только робко держаться за руки. Да... «Самое большое счастье — первое рукопожатие любимой женщины». Это была вторая Первая любовь...»

А потом он лежал в комнатушке, и перед закрытыми глазами в синем мраке белела давешняя стена. Чудесно не оканчиваясь, она заполнялась все новыми и новыми строчками...

Должно быть, это было лучшее письмо в его жизни.

Утром Алексей Сергеевич остановил хозяйку:

— Ну, баб Фень, я, наверно, вечером уже не вернусь. Сразу на самолет и домой. Так что давайте запишу ваш адресок и фамилию. Может, спишемся, летом отдыхать приеду.

Бабка шикнула на квартирантку, вышедшую было попрощаться.

— Пиши, милок, просто. Бабе Фене.

— Ну знаете! — расхохотался от неожиданности Алексей Сергеевич. — Это как классик писал — на деревню дедушке. Что я вам, Ванька Жуков?

— Ага, милок, прощай, прощай, — зачастила хозяйка и закрыла перед его носом дверь.

«Что это она? — удивился Вадеев. — Чего испугалась?.. А впрочем, какое мне дело, странствующему инженеру, да еще с подорожной по казенной надобности?..» — печально перевирая другого классика, подумал Алексей Сергеевич и закрыл за собою на запиночку калитку.

Набегавшись, пока уладил дела, Алексей Сергеевич занял место в конце салона. Ему не хотелось чувствовать за спиной ничьи взгляды.

Автобус тронулся. Вадеев прильнул к окну, используя возможность осмотреть город и помня, что она, работая в экскурсионном бюро, должно быть, видела то же, что и он.

Город вскоре на глазах разбежался деревянно-одноэтажным пригородом, особенно неприглядным из-за оголившихся во дворах подпорок виноградных лоз. Потом дома вовсе рассеялись, и за полями ослепительным зеркалом сверкнуло море. Дорога ушла за черные распаханные холмы, волнами набегавшие друг на друга. Казалось странным, что ярчайшее в этот час небо бессильно справиться, высветлить сливавшиеся мраком, будто поглощая свет, пласты раскрытой земли.

Автобус влетел в вихрь голых сучьев, кустов и деревьев, посаженных вдоль дороги. Алексей Сергеевич во все болезненно вглядывался, чуткий ко всему в эти минуты.

«...У меня просто болит сердце от красоты пробуждающейся природы, и я боюсь быть «не утонченной и не возвышенной» в письме. Я днями смотрела «Мужчину и женщину» Лелюша, и если раньше я могла только предаваться созерцанию естественной красоты чувств и движений, то сейчас появилась в душе какая-то горечь от сознания, что я не Жан-Луи...

Ну, а как Вы? Чем заняты?»

Алексей Сергеевич увидел, что они догоняют взвод молодых солдат, и вдруг вспомнил, как несколько лет назад, укрывшись от ветра на вершине сопки в капонире зенитного пулемета, писал ей письмо на бланке боевого листка...

Лагерные сборы подходили к концу, занятия уже завершились, и, по сути дела, курсанты были предоставлены самим себе. Алексею хотелось что-то увезти с собой на память об этих местах, об этом, как выразился замполит, «суровом и важном в стратегическом отношении крае». Уложенные в самый низ рюкзака отстрелянные

им гильзы были все же не то... Курсанту Вадееву хотелось романтичного и загадочного.

Тогда-то он и обратил внимание на черную вдали точку, которая, по его предположениям, скорее всего могла быть выброшенным на скалы кораблем. Там можно было свинтить с борта медную букву, или найти какой-нибудь старинный морской прибор, или... Да мало ли что! Воображение из-под полы показывало такие сокровища...

Никого не предупредив, Алексей со своим товарищем отправился в путешествие.

Длинные полы шинелей путались в зарослях карликовых берез, сапоги утопали в болотном мху; потом, догадавшись, друзья повернули к речке и по валунам, усыпавшим ее русло, добрались до берега моря. Был отлив.

Они шагали по хрустящим ракушкам, странной формы и цвета водорослям, которые, уже начиная увядать, издавали йодистый запах; расшвыривали разноцветные осыпи полиэтиленовых флаконов и канистр «эссо» и «шелл», выброшенных с запада морем, перешагивали зеленые клубки капроновых сетей, распластанные на камнях оранжевые пятерни рыбацких перчаток «Мэри Голд», давили высохшие остовы крабов, разглядывали изумрудно-изъязвленную гильзу: 20-М-МК—2-1943...

Было холодно. Лучи заходящего солнца уносил ветер. Чувствовалось, так сказать, дыхание океана.

С каждым шагом корабль оказывался гораздо ближе. Алексей уже различал его очертания, но сказать о его величине не мог. Вроде он был и маленький по морским соображениям, но в чисто сухопутных представлениях Вадеева он казался громадным...

Заглянув вперед, Алексей Сергеевич заметил на обочине, на постаменте, якорь, обозначавший границу области, и, чтоб разглядеть до мелочей, запомнить, стал ждать его приближения. Якорь уже давно должен был появиться. «Не буду выглядывать», — решил Вадеев, боясь пропустить его в своем окне. И вдруг — вот он, и под ним название области, то самое, что указывал Вадеев на конвертах, значит уже близко, и он отчего-то глубоко вздохнул, набирая как можно больше воздуха, и от пасмурного неба защипало глаза... «Я прикован цепью памяти... — подумал Алексей Сергеевич. — Как же я ошибался...»

...Из пробоины в борту вытекала вода. Видимо, во время прилива корабль наполнялся водой, а потом отдавал ее до нового прилива, действуя словно огромные песочные часы.

Чтобы подойти ближе и рассмотреть, им пришлось обогнуть заливчик, и они вышли с другой стороны корабля. Они не учли кре-

на — борт перед ними круто изгибался вверх, и, что творилось на палубе, было не разглядеть.

Корабль словно отворачивался от них...

Они вошли в воду, вновь обогнули корабль и, осторожно помогая друг другу, боясь, словно дети, что потревоженный корабль перевернется от их неловких усилий, забрались на накрененную палубу. Набухшие водой доски были скользкими, как мыло. Перед капитанской рубкой, словно пень, торчало основание сломанной мачты. Озираясь, карабкаясь на четвереньках, они вползли в рубку — фанерная будка, внутри чем-то напоминающая коммунальную, в старом доме, кухню: пузырящаяся синяя краска на стенах, белый потолок в желтовато-зеленых пятнах от воды, пролитой соседями сверху... Алексей заглянул в люк — в трюме горизонтально стояла мертвая вода.

Вдруг стало как-то тревожно — и одновременно обоим, — будто корабль покачнулся, будто начался прилив, будто вода стала прибывать, — и они в панике его покинули.

Дело было не в том, что, отойдя на безопасное расстояние, они рассмеялись. Вадеев до сих пор помнил тот безотчетный, опередивший логику, страх — быть погребенным здесь, за тридевять земель от дома, под громадой этого корабля. Страх, позволивший на мгновение вспомнить истинную глубину чувства, на мгновение вновь стать мальчишками, способными чувствовать не умом, в соответствии с законами физики, а лишь только сердцем...

«Дело в том, — писал ей Алексей, — что я, как этот корабль, оказался разворованным на память. Я уже все — до последней капельки — вспоминал. Мне не вспомнить о наших встречах ничего нового... Почему я до сих пор не увиделся с Вами? Когда новая вода подступила к кораблю, я в страхе его покинул.

Жаль, что знаю Ваш адрес, — я бы послал Вам это письмо в бутылке. Сделайте из него, пожалуйста, бумажный кораблик...»

Не успев узнать, в какую сторону идти, Алексей Сергеевич попал под дождь. Сначала запахло пылью, взбитой редкими каплями дождя, потом дождь пошел хлестче, тугой, упругий, и Алексей Сергеевич устремился к портику с нелепыми, точно отечными, колоннами. «Какое-нибудь бывшее дворянское собрание», — подумал он, осваиваясь под крышей. «Кино «Ударник», — прочел Алексей Сергеевич на расплывшейся афише западного фильма. — Господи, как все смешалось!»

«. . .Мир очень сложен, чем больше его узнаешь, тем больше противоречий рождается в душе. Иногда возникают вопросы, непропорциональные способности человека ответить на них. И, как сказал Поль Валери: «Есть наука простых вещей и искусство явлений сложных». Оно возвышает сознание человека и делает его душу мягкой и заботливо-нежной.

Я пишу и посматриваю периодически в мюллеровский словарик, где хранится Ваша фотография. Вы не забывайте меня, пожалуйста. . .»

Тогда-то и испытал Алексей это чувство, тайно узнав и себя в ее письме. «Надо же! Она уже тогда это понимала! — поразился Алексей Сергеевич. — Как это ни смешно звучит, я воспитывался на ее письмах. Я такой теперь, какой она была уже тогда. Да. . . я опоздал на много лет вперед. . .» — невнятно подумал, но отчетливо понял Алексей Сергеевич.

Ее улица. Тихая, забытая улица одноэтажных домиков и садов. Тротуар, выложенный плитами, непронумерованными. . .

Однажды утром, уходя на работу, он привычно заглянул в почтовый ящик, увидел от нее письмо и на ходу, как всегда в нетерпении, разорвал конверт. На улице было белым-бело и свадебно. Выпал первый снег. Это было приглашение на свадьбу.

. . .Улицу перерезала траншея под телефонный кабель. На подступах валялись куски взломанного асфальта, кирпичи были аккуратно приготовлены на ее земляных отвалах. И за траншеей — Ее дом. «Может, я что-нибудь напутал?» — встревожился Вадеев.

Странно вела себя память! Он помнил почти наизусть все ее письма, сколько раз надписывал и читал на конвертах ее адрес, а вот теперь сунулся проверять. Он остановился, достал записную книжку, прочел. Взволновавшись, успокаивая дыхание, убирая книжку за пазуху, погладил сердце, словно верную дворнягу. Казалось, оно тоскливо скулит, ноет. И Алексей Сергеевич — смешно! — боялся сейчас эту канаву перепрыгнуть, будто опасался неловким движением его ударить. Точно сердце его не было одним с ним целым, а трусливо сжалось в невесомой, тошнотворной пустоте, которую он ощущал в груди, и при прыжке оно могло удариться о ребра. В какой-то ватной беспомощности, вдруг перестав доверять своему телу, движениям, даже глазомеру, он ступил на перекинутую через канаву для пенсионеров и детей досочку.

«...Уважая Ваше столь затянувшееся молчание, я, конечно, не стала бы Вас беспокоить, если б не знала, что мы с Вами не сможем больше переписываться. На то много не зависящих от меня причин... У Вас остается на недолгое время последняя возможность воспользоваться моим адресом». И ему вдруг так много стало нужно ей рассказать, объяснить, понять в себе. Что она для него значит — его вторая Первая любовь... Стало необходимо объяснить, какой же была любовь Первая, когда он, несчастно тринадцатилетний, во время встреч с любимой девочкой оглушенно молчал, не в силах поднять на нее глаза, подавленный огромностью незнакомого чувства; а длинными ночами, лежа с закрытыми глазами, подолгу с ней мысленно разговаривал, поражаясь тому, как складно у него получается, и мечтал написать ей так письмо, потому что по горькому опыту знал, что наутро, встретившись с ней, не сможет связать и двух слов, потеряет нить, потянув за которую, он распутал бы этот волшебный клубок... Он писал и писал ей письмо, а когда распахнул окно и выглянул из своего добровольного затворничества — высоко-высоко в небе блистал на солнце ослепительно-белый конверт воздушного змея. На пустыре перед домом, среди строительного мусора, стоял, запрокинув голову, зачарованный мальчик, держа в руке ускользающую нить...

«Искусство — это тайна».

Письмо вернулось нераспечатанным. Он опоздал. На много лет вперед.

Перед Алексеем Сергеевичем был каменный забор, скрывавший двор от взгляда. В пятне осыпавшейся штукатурки, своими очертаниями напоминающем Северную Америку, был номер ее дома. Вадеев открыл калитку, вошел.

...Через голый каркас сада, откуда, словно вместе с нею, исчезли и цветы, и листва, и трава, дорожка мимо скамьи вела к ступеням крыльца, к входной двери, к потускневшей, похожей на голову дракона, медной ручке. Алексей Сергеевич коснулся звонка... в табличке расплывалась чернилами чужая фамилия.

Подождав, он присел на ступеньки, окинул взглядом двор, подумал, что с этой высоты когда-то она, маленькая, выходя из дому, открывала мир; теперь в разлив неба врастал строящийся блочный дом. Точно в таком же получил в Ленинграде квартиру Алексей Сергеевич...

Когда-то, и тоже весной, они гуляли в саду Михайловского замка, Алексей, поеживаясь, говорил, что мечтает о собственной комнате, где сможет побыть наконец один или куда бы он мог позвать ее в гости; на худой конец, говорил он, его могла бы устроить машина — как собственная территория, как дополнительная степень свободы (ну да, они же прогуливали его лекцию по теормеху). «Все

это у вас будет», — серьезно посмотрев ему в глаза, ответила она. «Когда?! — рассмеялся Алексей. — Когда станет некуда ехать?»

И вот есть уже не комната — квартира, есть, почти чудом, машина, — все, казавшееся столь несбыточным, осуществилось, как и предсказывала она еще в то время, когда мечтать о том, чтобы быть всегда с нею рядом, даже не приходило в голову — вот же она, тут, только протяни руку!

В сквозных сердцеобразных вырезах пустой скамьи сверкали дождевые капли.

Он встал, прошел сад, оглянулся, в последний раз окидывая взором дорожку к дому, выложенную потрескавшимися плитами, небо в переплетенье тонких черных ветвей, — картину, всю в узоре мелких трещинок, как полотна старых мастеров.

...Алексей Сергеевич шел прямо на автовокзал, чтобы оттуда сразу добраться до аэропорта. Не было у него желания бегать по магазинам, чтобы выполнить поручение жены — купить домашние тапочки.

...Он поднялся по трапу, стараясь держаться прямо — будто кто-то на него смотрит, ему хотелось оглянуться — будто кто-то машет ему на прощанье, но он знал, что в темноте ничего не увидит. Даже деревьев.

В мягко освещенном плафонами салоне мурлыкала из динамиков на ночь глядя француженка. Алексей Сергеевич вспомнил, как один из мурманских экипажей встречал пассажиров песенкой «Что-то вы, ребята, приуныли...». Он сел, откинулся в кресле и с легкой тревогой пациента зубоврачебного кабинета, словно прихода врача, стал ожидать взлета.

На высоте длился вечер. «Мы немного опередили время», — подумал Вадеев. Смиренно держа руки на коленях, он с печальной безысходностью думал, почему там, на земле, самое в нем лучшее, самое, на его взгляд, ценное оказывается никому не нужным, лишним — ни к чему не приспособить и не приложить — и, что совсем уж смешно, даже кажется опасным. Мысли его перенеслись к дому, и он представил себе, как ждет его и как встретит жена.

Раскаленное солнце плавилось в пелене облаков, плющилось, растекалось огненным светом и, перелившись через край, вспыхивало золотым лучом.

Алексей Сергеевич решил, что, пожалуй, не расскажет жене о своем, так сказать, паломничестве к святым местам. Не хотелось ему незаслуженных упреков, лишних слез, ревности и обид. Разве что объяснишь, когда нужна не искренняя, в желании что-то поправить в их отношениях, критика, а лишь безоговорочная преданность. Вот обидится, что не привез ей тапочки... Ладно, хоть Еремин будет доволен, утешил себя Алексей Сергеевич.

«Да,— вздохнул Вадеев, — и все-то у нас с ней не так, невпопад, на левую сторону, не с той ноги. Шиворот-навыворот». И внезапно задремал. Потом почувствовал, что самолет стал снижаться, погрузился в пучину облачности. Стекло заволокло сырым светлым дымом. Алексей Сергеевич то проваливался вместе с самолетом, то взлетал, словно на неких небесных весах. Неясная темнота внизу обернулась бесчисленными созвездиями огней.

В городе была уже ночь. Недавно прошел дождь, и Алексей Сергеевич, трясясь в автобусе, чувствовал исходивший от холодного стекла запах талой влаги, мешавшийся с дизельной гарью. По темным громадам домов призраками неслись отражения людей, сбившихся в кучу на островке задней площадки. Автобус замедлил ход, въехал в лужу, негромко забарабанившую по днищу, и, катясь уже по инерции, причалил к остановке.

— А я в вагоне с такой полькой познакомился! — мечтательно зажмуриваясь, сообщил Давид.

Вадеев промолчал. Давид как-то виновато-просительно заглянул ему в глаза. Понимал Алексей Сергеевич, понимал немую просьбу Геворкяна: не внесешь же в неофициальный, в курилке, отчет о командировке, что несколько суток напролет мотался он на верхней полке вагона, что на второй день, ревнуя, смотался с курорта к жене... Только не знал Давид, что Вадеев сам несовременно и даже как-то сентиментально-стыдно «ездил за триста километров, чтобы посмотреть на сердцеобразную дырку в скамье».

— Ты там к ней случаем не приложился, а? — подмигивая, спросил Вадеев.

Геворкян расплылся широчайшей улыбкой, и, дружески смеясь, они взвалили мешки на плечи.

От вокзала до завода было несколько остановок, и они, по-интеллигентски засомневавшись, не пошлет ли их таксист подальше, взобрались на заднюю площадку трамвая.

Оживление и радость постепенно покидали Вадеева. Тягостный, медлительный ход трамвая, мешок, который и теперь, чтоб не завалился, должен был придерживать Алексей Сергеевич, убеждали его в том, что жизнь не задалась, пошла по каким-то проложенным не для него рельсам. «И правду сказать, — подумал он, — представлял ли я когда, что буду мешками возить из одного города в другой какое-то копеечное барахло? Бог с ним, с моим, — усмехнулся он, — внутренним миром. Но учить, воспитывать столько лет, чтоб в итоге я вынужден был делать все наоборот, чтобы теперь лазал по помойкам, унижался и хитрил?!» Алексей Сергеевич поморщился, заметив, что молодой человек с атташе-кейс косится с брезгливым любопытством на их мешки.

— Эй, Давид, сколько джинсов в таком мешке поместится?

— Пар двести.

— Двести на двести — четыре тысячи. Не слабо, а?

— Сорок, — почему-то шепотом поправил Давид.

— Сорок тысяч! — поразился Вадеев, по-новому взглянув на мешки.

Молодой человек болезненно-резко дернулся.

— А я о чем! — согласился Геворкян, свысока оглядывая сидящих пассажиров.

Караван втянулся из дождя в проходную, не останавливаясь, Вадеев одной рукой достал и показал вахтерше пропуск и ударился о застопоренную вертушку. Сзади ткнулся в мешок Давид.

— Куда с мешками прете! — закричала она.

Загоготали за вертушкой какие-то в ватниках парни:

— Шпионов поймала, взрывчатку несут!

— Звоните главному! Везешь, тут ждут не дождутся! А ну, звоните!

— Идите вы! Надоели! Идите, идите.

Вадеев, проходя, свирепо глянул на вахтершу — та демонстративно отвернулась. Вышли во двор.

— Знаешь, Давид, давай по улице в цех отнесем? Чего мы перед своими будем позориться?

Геворкян благодарно кивнул.

Первым навстречу попался цеховой технолог и сразу убежал вперед с радостной вестью. Коробов, начальник опытного цеха, встав из-за стола, уже ждал их прихода.

— Привез? — недоверчиво спросил он, ибо относился к конструкторам с предубеждением, считая всех бездельниками. — Небось, из брака набрали?

— Смотрите сами, — холодно ответил Вадеев.

Коробов прошел в незанятый угол кабинета, ткнул пальцем: здесь. Алексей Сергеевич с мстительным удовольствием опрокинул мешок. Банки, упруго сталкиваясь, посыпались на ноги Коробову. Тот испытание выдержал, и второй мешок высыпали рядом. Пока Коробов, погрузив по локоть руки, рылся в банках, мял их, вертел, тщательно осматривал, Вадеев позвонил Еремину.

Коробов вышагнул из кучи. Лицо его разгладилось.

— Спасибо тебе! Честно говоря, не верил, что достанешь. Да ты не рад, что ли? — пожимая ему руку, удивился Коробов. — Ты знаешь, что сделал?! Нам бы каждая эта банка... — он стиснул банку в руке, и Вадеев рассмотрел наколку: буквы «ГСВГ». — Нам бы каждая банка в двести рублей обошлась!

— Да-да, конечно, — равнодушно сказал Вадеев, смотря на выгоревший на солнце цветной проект реконструкции цеха. — Мы там еще трубку привезли, потом, в мешке, возьмете.

— Молодцы, молодцы! — влетел в кабинет Еремин, потирая

руки и протягивая их для пожатий. За ним поспевал полноватый начальник бюро, тоже жал руку, вежливо улыбался.

— Ты расскажи, расскажи, как удалось-то? — радостно суетясь, спрашивал Еремин. — Это ж мертвое дело.

— Да так... — подбирая слова, неопределенно покрутил рукой Алексей Сергеевич.

Еремин понял по-своему. Он довольно расхохотался, лукаво поглядывая на остальных.

— Молодец! Вот это по-нашему. Разобрался в ситуации. Ну, удружили! Геворкян! Три дня отгула вам за отличную службу! Можешь идти отдыхать.

Геворкян, склонившись к Вадееву, шепнул:

— Будешь уходить, мешки прихвати. Не забудь!

В дверях он закивал, не то благодаря, не то прощаясь.

— Ну, теперь, — шутливо грозя пальцем Коробову, сказал Еремин, — резиновые валы не откажешься обрабатывать!

Коробов мгновенно помрачнел:

— Это сколько мне надо народа поставить, чтоб стружку гнать?! Сейчас каждый рабочий на счету. Меньше месяца осталось.

Еремин замахал на него руками:

— И слушать ничего не хочу. Мы людей снимаем, посылаем черт те куда, рискуем, чтоб тебя выручить. А ты что?!

— Это еще кто кого выручает...

— Слушай, Константин Иваныч, я ведь могу с тобой и не так разговаривать, — медленно, с расстановкой, сказал Еремин. Он выдержал гнетущую паузу, убедился, что Коробов не возражает, и опять радостно, душа-человек, захлопотал: — Ну, пошли, засиделись. Дела не ждут. Действовать надо, Константин Иваныч, действовать!

По пути в отдел, среди восклицаний, наполеоновских планов, размахиванья руками и прочего оживления, Еремин вдруг спросил у начальника бюро, какой оклад у Вадеева. Вадеев замер.

— Ты что же молодые кадры зажимаешь?! — рассердился, услышав ответ, Еремин. — Парень у нас давно работает, света белого не видит, — ты что это? Нужных нам людей надо выдвигать! — Он обнял обоих и примирительно добавил: — Давай, пиши мне докладную на повышение ему оклада. А я подпишу.

Начальник без улыбки слушал.

— А ты, — обратился Еремин к Алексею Сергеевичу, — все-таки маху дал. За эти банки Коробов перед нами бы по струнке ходил. А ты ему за просто так отдал. Видишь, как он теперь поет? То-то. А тебе, может, эти самые валы придется теперь к смежникам везти. Усекаешь момент? Как привез — тащи сразу ко мне в кабинет. Учти, учти на будущее!

«И это мое будущее...» — отстраненно-вяло, словно не о себе, подумал Алексей Сергеевич, поднимаясь по лестнице вслед за начальством.

Сергей Носов

Именительный падеж

(Два отрывка)

Будто смотрю в колодец, вижу: падает щепка,
кувыркается, вертится; вдруг повисает перед глазами;
где-то за семью печатями
детство спрятано; тетя Нюша зачем-то
ходит босая по дому, на выключатели
вешает галоши — гроза близко
(это — чтобы не убило молнией), и про себя молится;
кот по молоко пришел, да молоко скисло, —
вот сидит на пороге, моется,
лапу лижет... Ни цветет, ни вянет
китайская роза...
С вечным пониманием каждый со своего портрета
в дверной проем глядят сыновья. Медленно тучу тянет
в сторону Ильменя. Где-то
громыхает... За рекой, видимо. А река — голос
надорвешь, не докричишь до середины, когда разольется
(мы однажды поймали в ней, вспомнилось, конский волос,
червяка такого, и смотрели, как вьется
на спичке — волос конский, червяк, невидаль)...
Пастбище, родники, ручей, пологие сходы
береговые... Рыбаки с неводом
идут по главной улице, названной Скотным
прогоном...
А за домами, за кузницей, за лугом заливным,
там, где над еще
не скошенной травой по заре туман, там, за протокой —
лопухи, чертополох, крапива, кресты да звезды — кладбище,
да еще кричит иногда из-за леса кукушка про то, как
жизнь долга... Улетай, глупая! Знаем сами.
Будто заглянул в колодец — падает щепка,

кувыркается, вертится, перед глазами
долго-долго висит
почему-то,
зачем-то.

* * *

Почему-то именно в детстве я видел самые
жуткие и щемящие сны. Например, дерево-облепиха,
серое, как будто в саване,
все в паутинах каких-то...
Или еще: поляна, нет: поле; и все мои близкие,
дорогие, родные, любимые, и я, и ветер, и подсолнух корчится
на ветру; а мы идем, идем, и облака низкие-низкие;
и еще один шаг, и знаешь: все это кончится...
И еще: тихо, темно; на окнах марля, пустая
кухонка, табуретка, рукомойник, таз; никто не моет посуду...
Тетя Нюша умерла на пасху, говорят, как святая.
Я там сто лет не был и никогда не буду.

* * *

Когда моя бабушка стала
молиться усерднее на ночь,
когда моя бабушка стала
хранить под кушеткой печенье,
когда моя бабушка стала
вслух разговаривать с сыном,
который уже меня младше,
но был бы мне дядей,
когда б не зима сорок первого года, —
тогда я подумал:

на свете куда есть абсурднее вещи,
чем странности старенькой женщины.

Старый город

. . .И доброе название Прядильный.
Прясть волокно. А лошади прядут
ушами. Кто-то шепчет:
«Приди, приди. . .»
Набор ассоциаций.

Вот Климов переулок — сто шагов
длиною.
Двести лет как окна
в гляделки дуются.
Кондитерская. Надпись:
«. . .ондитерская». Отвалилась буква.
Поскольку каламбур не получился,
никто не замечает.
За углом
дворовый садик. Там живет вольготно
одна ворона, соблазняя кошек
распущенным хвостом и поведеньем
развязным.
Старожил
шагает в допотопных мокроступах,
уставясь на асфальт под ноги, где
предполагались лужи.
Дети
пытают коллективно самокат,
и бегают счастливые собаки.
Автомобиль «Победа».
Как-то странно:
как будто бы конец пятидесятых. . .
Куда забрел! Уже и я родился.
И нет войны. И все, что было, — было. . .

И духота, и открывают окна.
И тишина такая, словно должен
через минуту выбежать во двор
мужчина в майке: «Миша! Коля! Саша!
Мы запустили спутник!»

Эдуард Дворкин

Оригинал

Костю Петрова знает вся улица. Он — оригинал.

Стрижется каждый месяц.

Не носит джинсов.

Не интересуется поп-группами.

Не собирает у себя компаний, когда родители в отпуске.

Уже несколько лет встречается с одной и той же девушкой.

Коктейлям предпочитает горячее молоко.

Когда появляется Костя, мы все бледнеем и отходим на задний план. Соперничать с ним бесполезно.

Грядка

Автобус затормозил у правления колхоза. Сотрудники вышли и стали ждать. Наконец на крыльце показался бородатый бригадир грозного вида и громогласно возвестил:

— Бригада — на свеклу, бригада — на огурцы, пятеро — на опорос, трое идут со мной.

Все разошлись. С бригадиром остались Трофим Шилов, Дорбуков и Дима.

— Наш колхоз, — весомо сказал бригадир, придирчиво рассматривая друзей, — готовится перейти к специализации по выращиванию мужских костюмов. Закуплены импортные биоквазитериленовые семена. Идут эксперименты. Вы будете работать на опытной грядке.

Он повернулся и пошел вдоль высокого забора с насаженной поверху колючей проволокой. В одном месте бригадир отодвинул доску и приказал:

— Лезьте!

Трофим пролез первым. Неповоротливого Дорбукова сзади подпихнул Дима. Наконец все оказались за забором. Они увидели длинное сооружение, сверху крытое стеклом. У входа спал сторож.

— Не будите, — предупредил бригадир, — он работает сверхурочно.

Он подошел к сторожу, вынул у него из-за пазухи ключ и отпер дверь.

— Это — наша опытная оранжерея.

На длинной грядке далеко друг от друга росли великолепные костюмы с красочными этикетками. Росли они дружно. Почти все выросли до колен, а один даже до брючных манжет.

— Этот скоро снимать будем, — сказал бригадир и любовно погладил длинные простроченные борта.

Шилов охнул и бросился к костюму.

— Не трожь! — рявкнул бригадир. — Полоть только брак.

И тут Шилов, Дорбуков и Дима заметили кучки неказистых пиджачков, сильно смахивающих на изделия местной фабрики. Пиджачки эти, густо усеявшие пространство между шикарными костюмами, тянули из почвы питательные вещества и замедляли рост экспериментального урожая.

— И откуда только эту напасть занесло! — чертыхнулся бригадир и для примера выдернул неказистый перекошенный пиджачишко, успевший, однако, пустить брюки.

Друзья с жаром накинулись на сорняк. Бракованные пиджачки летели во все стороны, жалобно трепеща кривыми полами. Бригадир одобрительно покряхтел, вытащил из бороды запутавшегося там воробья и пошел проверять работу других.

Когда через несколько часов он вернулся, все было сделано на совесть.

— Молодцы, — сказал бригадир, и глаза его потеплели.

— Никогда не работали с таким удовольствием, — признались ему Шилов, Дорбуков и Дима.

— Ну ладно уж, так и быть, — решился вдруг бригадир и полез в карман. — Вот вам награда за отличный труд.

На его ладони лежали три крупных ярких зерна.

— Костюмные?! — ахнули друзья.

— Нет, костюмных пока дать не могу, — сказал бригадир. — Здесь рубашка с планочкой и две пары носков. А вот — инструкция.

— Спасибо, — сказали Шилов, Дорбуков и Дима.

— Приезжайте к нам на уборку, — пригласил бригадир.

— Обязательно приедем! — хором ответили друзья.

Крыша

— Звонили из подшефной жилконторы, — сказал Трофиму Шилову начальник отдела, — просили прислать человека для работы на крыше.

Трофим вздохнул, сунул в стол пожелтевшие листки с расчетами по теме и привычно направился за спецодеждой.

Через полчаса он был на месте.

— Дела у нас с крышей обстоят неважно — жильцы верхнего этажа жалуются, — объяснила Шилову техник-смотритель.

— Протекает, что ли? — спросил Трофим.

— Да нет, — замялась женщина, — не то. В общем, увидите сами. Сейчас идите спать, а в ноль часов ноль минут, пожалуйста, заступайте.

Предупредив жену, что работает в ночь, Трофим Шилов в назначенное время подъехал к дому. Здание оказалось высотным, недавней застройки.

«Кооператив, наверное», — подумал Шилов и полез на чердак. Открыл один замок, второй и выбрался на крышу.

Ярко мерцали звезды, лила серебряный свет луна, у трубы сидел на корточках незнакомый Трофиму человек в белом переднике.

— От кого? — спросил человек, пристально разглядывая Трофима.

Шилов осторожно приблизился.

— Я от жилконторы, — представился он. — А вы кто такой?

Незнакомец пожал плечами и отвернулся.

— Сейчас жильцов позову, — пригрозил ему Шилов.

— Нет, нет, — вскочил на ноги мужчина, — только не это! Я расскажу. Только пообещай сохранить все в тайне.

Трофим кивнул.

— Я — продавец, — начал свой рассказ незнакомец, — заброшен сюда по личному распоряжению директора универмага. Я продаю джинсы. Вот.

И он выкатил из-за трубы тележку, полную заграничных ковбойских штанов.

Трофим почесал в затылке.

— А кому продаете?

Ответить работник торговли не успел — раздался шорох, чья-то рука зацепилась за выступ крыши, и на фоне луны показалось приятное лицо с большими модными усами.

— От кого? — спросил продавец.

— От Петра Петровича, пароль сто двадцать, размер тридцать четыре, — отчеканил пришелец...

— Вот видишь, — прокомментировал ситуацию продавец, когда покупатель, спрятав джинсы на груди, благополучно спустился на

улицу по водосточной трубе, — я отпускаю товар всем желающим в порядке живой очереди. По одной паре в руки.

— Но это же бред! — возмутился Шилов. — Продавать джинсы на крыше!

— Отнюдь, — улыбнулся собеседник. — Ведь появись я с таким товаром на людях — вмиг расхватают по государственной цене. А что нам с этого, кроме премии?

— Ну и держали бы под прилавком, — вырвалось у Трофима.

— Под прилавком нельзя, — объяснил продавец, — мы обязаны сразу пустить джинсы в продажу.

— Черт знает что! — не сдержался Трофим. — Ну а ночью-то почему?

— Днем опасно — могут с улицы заметить или с самолета.

— Скажи, — задал Шилов последний вопрос, — а жильцы почему жалуются — спать по ночам не могут?

Рядом с ними на цыпочки приземлился парашютист с запиской от Ивана Ивановича. Быстро обслужив клиента, продавец ответил:

— Джинсы на жильцов действуют — мысли к себе притягивают, оттого и не спят. Одна пара может запросто сна лишить, а у меня их — вон сколько!

— Так, — произнес Трофим, — теперь понятно. Думаю, что вашими делами скоро займутся другие инстанции. Но крыша здания должна быть очищена немедленно. Пусть люди спят спокойно.

— Хорошо, хорошо, — закивал продавец, — вот прямо сейчас и переберусь. Но не забудь — ты слово дал молчать...

— Все в порядке, — доложил Трофим утром технику-смотрителю, — неполадки устранены.

— А чего там было? — поинтересовалась женщина. — Протекало, что ли?

— Да нет, — объяснил Шилов, — альфа-бета-гамма-лучи из космоса попадать на кровлю стали. Сернистый колчедан квазиупруго разложился, и котангенс префиксов аффиксировался. Пришлось уменьшить коэффициент спектральной аберрации.

— Молодец, — похвалила его техник. — И все одним молотком сделал?

— У меня еще штангенциркуль был, — ответил ей Трофим...

В конце недели Трофима Шилова вызвал начальник отдела.

— Звонили из подшефной жилконторы, — сказал он, — просили прислать человека. Что-то у них в подвале не так...

Виктор Жилин

Абсолютный гороскоп

Когда конвойные ввели в зал магистра Юлиуса, оба монаха-доминиканца уже сидели за судейским столом. Сегодня по случаю суда на них были надеты строгие темные сутаны.

Магистр нахмурился и по привычке покусал сухие губы. Поговаривали, что доминиканцы прибыли с полномочиями от самого папы. Кроме того, о них ходит недобрая слава...

Впрочем, все это вздор, подумал Юлиус. Его преосвященство епископ Бамбергский здесь, а с его мнением вынуждены считаться даже папские эмиссары.

Юлиус тряхнул головой с редким венчиком седых волос и смело взглянул на монахов.

Это были очень разные люди. Старший судья, известный под именем отца Бальтазара, был невысоким тучным человеком лет пятидесяти, с круглым брюшком и сонными щелочками глаз. Второму монаху, нескладному, с длинными руками и колючим фанатичным взором, едва перевалило за тридцать.

Судейский стол был завален свитками бумаг, допросными книгами и огромными фолиантами, среди которых Юлиус без труда узнал свои сочинения по разным наукам.

По бокам стола, несколько ниже судей, сидели писцы в грубых монашеских балахонах. Поджав губы, они взирали на стоящего Юлиуса так, словно перед ними в одежде магистра предстал сам враг рода человеческого.

Давний благодетель и покровитель магистра епископ Бамбергский устроился чуть в стороне, рядом с громадным стрельчатым окном, выходящим на реку. На нем была великолепная мантия небесного цвета, отделанная по краям золотым шитьем. От холеного, еще молодого лица веяло покоем и безмятежностью, что вполне соответствовало его сану, положению и связям при дворе курфюрста.

Отец Бальтазар кинул сонный взгляд в почти пустой зал, откашлялся и, поглядывая в бумаги, заговорил монотонным тусклым голосом:

— Всем известно, что некоторые лица обоего пола во многих наших городах и селениях пренебрегли собственным спасением, отвратились от истинной веры, а кое-кто даже впал в плотский грех с демонами. Своим колдовством, чарованиями, заклинаниями и прочими порочными деяниями они причиняют женщинам преждевременные роды, насылают порчу на приплод домашних и диких животных, хлебные злаки, плоды на деревьях и на все другие земные произрастания, равно как портят мужчин, женщин, младенцев и слуг...

Монах сделал многозначительную паузу, бросил взгляд на епископа и продолжил:

— Мы, смиренные члены ордена святого Доминика, направлены сюда повелением его святейшества, дабы выявлять одержимых дьяволом, еретиков, чернокнижников, а также всех тех, кто им потворствует...

Отец Бальтазар отложил бумаги, смерил магистра пристальным взглядом и строго сказал:

— Мы вызвали тебя в святой суд, магистр Юлиус, чтобы ты честно поведал нам о своих ученых и прочих занятиях. Наш священный долг выяснить, не пренебрег ли ты спасением души, не обратился ли к тайным и враждебным церкви делам?.. Учти, нам известно многое, а всемогущий господь знает все. Будь же искренним в своих ответах.

Кивнув второму монаху, отец Бальтазар удовлетворенно откинулся на высокую резную спинку кресла и прикрыл глаза, сразу став похожим на добродушного сытого кота.

Молодой доминиканец выпрямился, нервно дернул большой, шишковатой головой и произнес зычным голосом:

— Во имя господа!.. Святому суду известно, магистр, что ты долгое время занимался разными науками, как-то: механикой, алхимией, астрологией, философией и врачеванием... О тебе идет слава, как об искусном ученом и составителе гороскопов. Мы знаем, — торопливо продолжал он, поглядывая то на отца Бальтазара, то на епископа, — что твоими услугами как астролога и врачевателя пользовались многие известные мужи города, в том числе барон Ульрих фон Зиккингем и даже наш достойный брат епископ Бамбергский.

При этих словах монах угодливо поклонился его преосвященству.

— Однако, — возвысил он голос, — с некоторых пор твои предсказания вызывают удивление... Многие из них составлены противно правилам и даже противоречат известным наукам. Божьим наукам! — многозначительно подчеркнул доминиканец, поднимая

вверх указательный палец. — Говорят, в молодости ты долго путешествовал по свету, учился у разных людей и во многих университетах... Так вот, магистр, нам стало известно, что ты изучал там не только врачевание и философию, но и кое-что еще!

Доминиканец наклонился вперед и добавил:

— Например, тайные халдейские науки... Что ты можешь нам сказать на это?

Как все-таки убоги и примитивны их методы, подумал Юлиус. Наивные уловки здесь, наверху, и деловитые кряжистые мясники внизу, в подвалах. Кстати, там, внизу, они более находчивы и разнообразны... Впрочем, о подвалах лучше не думать. Мне до них нет дела. Это меня не касается!.. Все идет своим чередом, как и должно быть.

— Святые отцы, — начал он, едва сдерживая язвительную улыбку. — У вас верные сведения, я действительно учился в разных университетах и в некоторых из них среди прочих наук прослушал курс магии... Но ведь это была естественная, то есть белая, магия. Сию науку до сих пор преподают в университетах Толедо и Саламанки. С каких же пор невинная белая магия, а равно алхимия стали считаться тайными халдейскими науками?

Отец Бальтазар вдруг приоткрыл один глаз и громко воскликнул:

— От магии белой до черной — один шаг!

Второй судья многозначительно кашлянул и задергал головой.

А ведь толстяк не так глуп, подумал Юлиус, глядя на широкую, лоснящуюся от пота физиономию отца Бальтазара. Вероятно, он что-нибудь припас под конец, какой-нибудь подлый сюрприз. Знал бы он, насколько бессмысленны все его жалкие потуги...

— Долгое время ты жил в языческих странах, — продолжал молодой доминиканец, глядя на него исподлобья, — следовательно, ты не можешь отрицать своего общения с арабами и египтянами — известными на весь мир чернокнижниками. Не от них ли ты научился искусству предсказаний?.. Очень многие сообщают, что твои странные гороскопы удивительно точны и безошибочны. Даже слишком точны!..

Юлиус посмотрел на епископа. Его преосвященство с безмятежным видом разглядывал рыбачьи лодки на реке, словно все происходящее в зале нисколько его не касалось.

Пожалуй, уж слишком демонстративно, недовольно подумал магистр. Конечно, он тоже посвящен, но как бы им не переиграть. Нельзя шутить с Судьбой! Строгий точный расчет, внимание и осторожность — вот что позволяет держать ее в узде.

— Не мне судить о моем искусстве, — скромно, но с достоинством заметил Юлиус. — Верно, мои гороскопы редко ошибаются, но разве не к этому должен стремиться всякий уважающий себя астролог?

— Ни один смертный не в силах предсказывать с такой дьявольской точностью! — неожиданно воскликнул с места отец Бальтазар и, подавшись вперед, вкрадчиво спросил свистящим шепотом: — Кто помогает тебе, магистр?

В зале повисла настороженная тишина. Писцы испуганно замерли с поднятыми перьями. Оба монаха сверлили его взглядами, словно пытались разглядеть за оболочкой магистра его могущественного и страшного хозяина.

Ну что ж, теперь хоть ясно, куда они клонят, подумал Юлиус. Хотя это можно было предвидеть. Вздорное обвинение, они даже не удосужились познакомиться с его Машиной. Странно, неужели им никто не донес о Предсказателе?

— Мои гороскопы, святые отцы, — начал Юлиус, — основаны на точном знании многих наук, расчете, божественном провидении и...

— У нас на сей счет иные сведения! — грубо перебил его отец Бальтазар, делая знак страже.

В зал торопливо вошел суетливый, остроносый человек маленького роста, с круглыми, часто мигающими глазами. Если бы не седина, выбивающаяся из-под круглой красной шапочки, его можно было принять за шустрого подростка.

Это был настоятель здешнего монастыря, аббат Гуттен, давний недруг магистра Юлиуса.

— Расскажи, любезный брат наш, что тебе известно о тайных занятиях этого человека?— обратился к нему отец Бальтазар, кивая на магистра.

Аббат Гуттен с готовностью поклонился, мельком глянул на Юлиуса и торопливо перекрестился.

— О, я чувствовал, что это плохо кончится, — елейным голосом забормотал он, скорбно качая маленькой головой. — Я не раз предупреждал высокоученого магистра Юлиуса, но он не внял моим дружеским советам... Боюсь, что наш бедный брат ради мирских благ поступился вечным спасением. Я часто вел с ним ученые беседы и понял, что этот человек одержим одним из самых страшных грехов — необузданной гордыней. Ибо как иначе можно расценить его речи о том, будто он может предсказывать судьбы всех людей, государств и народов на вечные времена?..

— А не проговорился ли магистр, каким образом он это делает? — живо поинтересовался отец Бальтазар. — Кто внушил ему столь дерзновенный и богопротивный план?

— Магистр Юлиус не любит посвящать нас в свои высокоученые занятия, — с неприязнью ответил аббат.

— Ты хочешь сказать, что магистр обычно держал свои занятия в тайне?

— Да! В его лабораторию имеет право входить лишь несколько доверенных учеников. Он не пускает туда даже слуг...

Отец Бальтазар ухмыльнулся и достал из папки исписанный лист бумаги.

— Не удивительно, что магистр так боится посторонних глаз, — произнес он, близоруко вглядываясь в текст. — Ему есть что скрывать... Вот о чем поведал слуга барона Ульриха фон Зиккингема, в доме которого много лет проживал магистр: «...А еще в комнате магистра Юлиуса в шкафу имеется запечатанная стеклянная банка с семью демонами, во всем ему послушными, которые умеют вещать и предсказывать...»

— Я тоже слышал об этом дьявольском сосуде! — воскликнул аббат Гуттен и набожно перекрестился. — Но это не все, — торопливо продолжал он, доверительно наклоняясь к монахам. — В самом большом зале баронского замка магистр держит невиданную машину величиной с добрый сарай... Так вот, говорят, будто бы она сама умеет предсказывать и составлять гороскопы!

Отец Бальтазар понимающе кивнул, видимо зная, о чем идет речь. Так и должно быть, подумал Юлиус. Конечно же они побывали в его лаборатории и в зале, видели Машину и рылись в его бумагах. И разумеется, ничего не поняли...

— Устройство своей странной машины магистр держит в строжайшей тайне, — скороговоркой продолжал аббат, словно боясь, что его кто-нибудь прервет, — но я все-таки видел самое главное... Я видел, как она предсказывает! Однажды я прокрался во двор замка и под прикрытием темноты заглянул в окно. О братья, это было жуткое зрелище! Магистр стоял спиной к окну и передвигал в машине всевозможные рычаги и колеса. В свете факелов сами собой вращались гигантские металлические диски, величиной с мельничные жернова. На них были начертаны какие-то загадочные символы и знаки. А на самом большом диске голубого цвета я разглядел изображение небесной тверди, и по ней, словно настоящие, двигались все семь планет, сделанных из сияющего хрусталя. Но самое удивительное, что передвигались они очень странно. Я даже подумал, уж не рехнулся ли наш магистр, перепутав все на свете?.. Ведь в его жуткой машине все планеты двигались... вокруг Солнца!

— Ах вот как! — понимающе ухмыльнулся отец Бальтазар, делая знак писцам. — Значит, наш высокоученый магистр, ко всему прочему, придерживается ложного и вредного учения еретика Коперника!

Писцы дружно заскрипели перьями. Его преосвященство епископ Бамбергский чуть нахмурил брови.

Молодой доминиканец что-то с жаром зашептал отцу Бальтазару, указывая на большой рулон плотной бумаги, лежащий на длинном столе. Магистр знал, что это такое.

Тем лучше, подумал он. С этим он в два счета докажет свою невиновность, и тогда даже не понадобится заступничество епископа.

— Мы готовы выслушать тебя, магистр, — сказал отец Бальтазар, укоризненно качая круглой, как шар, головой. — Мы надеемся, что ты скажешь нам, кто надоумил тебя построить эту невиданную машину и кто научил ее предсказывать?.. Запомни, от правдивости твоих слов будет зависеть твое же вечное спасение. Не пытайся обмануть святой суд, это еще никому не удавалось... То, что утаит твой разум, твой дух, все равно раскроет терзаемая болью плоть. Не вынуждай нас прибегать к крайним мерам...

— Можете не сомневаться, святые отцы, я ничего не собираюсь скрывать, — смело заговорил Юлиус, искоса поглядывая на епископа. — В моей Машине нет ничего порочного или противного церкви. Хотя устройство ее подобно механическому уму, сама по себе Машина предсказывать не умеет, ибо состоит из холодного железа, бронзы, стекла, хрусталя и некоторых других веществ. Весь секрет в многочисленных знаках, особым образом нанесенных на диски. Эти знаки есть квинтэссенция всех известных наук о мире... Собирая знания, я извлекал из них самую суть, изначальные понятия, подобные мельчайшим семенам, в коих уже заложены ростки будущих могучих произрастаний. Мне удалось поместить в Машину все основные понятия о земных, небесных и прочих науках. Вращая диски в заданном порядке, можно получить бесчисленные сочетания символов, дающих новые беспредельные знания. А новые знания — это и есть постижение будущего... Много тайн мне открылось благодаря этой удивительной Машине. Теперь я знаю все, абсолютно все, ибо с помощью Машины рассчитал точный гороскоп на всю историю рода человеческого вплоть до конца света...

— Опомнись! — с ужасом воскликнул молодой монах, тряся головой. — Кто дерзнет разгадывать тайны бесконечно премудрого?..

Отец Бальтазар наклонился и, путаясь в сутане, живо развернул на столе большой рулон бумаги.

— Не об этом ли удивительном гороскопе ты ведешь речь? — спросил он, жестом успокаивая своего молодого коллегу.

— Да! — не без гордости сказал Юлиус, взглянув на развернутый лист. — Это и есть часть моего Абсолютного гороскопа.

— Но это совсем не похоже на гороскоп, — покачал головой отец Бальтазар. — Где же знаки зодиака, линии судьбы?.. Что вообще означают эти странные пестрые кривые, более похожие на спутанный клубок змей, чем на предсказания чьих-нибудь судеб?

— По этим математическим кривым, — торжественно заговорил Юлиус, с трудом скрывая раздражение, — мне удалось узнать судьбу человечества и вычислить срок, отпущенный нам до Страшного суда... Он наступит в...

— Замолчи, магистр! — взвизгнул отец Бальтазар, вскакивая. — Как смеешь ты брать на себя дерзость говорить о том, что

известно одному всевышнему!.. Или ты возжаждал славы святых евангелистов и решил подправить святое писание?..

Отец Бальтазар тяжело плюхнулся в кресло и уже спокойнее сказал:

— Говори лишь о том, что могут слушать честные христиане, собравшиеся здесь, в зале. Что касается твоих сроков, то мы поговорим об этом в другом месте, — зловеще закончил он.

— Хорошо, — устало произнес Юлиус. — Я только хочу сказать о знамениях, предсказанных с помощью Машины.

— Каких знамениях? — в один голос воскликнули монахи.

— Вот красная линия, означающая живущих на земле людей, — начал объяснять Юлиус, указывая на гороскоп. — Видите, как круто она изгибается вверх?.. Придет срок, и народы мира расплодятся без меры, словно дикие кролики, и заселят всю землю от конца до края. Людей станет так много, что они съедят всех домашних и диких животных, и все съедобные растения, и вырубят все леса, чтобы строить и обогревать жилища, и земля оскудеет и станет голой и пустынной, как в первый день творения... И в эти же дни по рекам вместо воды потечет зловонная жижа, а почва и вся земля превратятся в грязную свалку. Моря высохнут и будут походить на выгребные ямы, а воздух станет нечистым и смрадным, как в преисподней... И тогда обезумевшие люди обратят меч друг на друга в невиданной еще схватке...

Магистр замолчал, пристально вглядываясь в сложное переплетение кривых, словно видя перед собой последнее и самое страшное знамение.

— Странно нам было слышать твои речи, — после долгой паузы произнес отец Бальтазар. — Ведь твои так называемые пророчества, магистр, не только богопротивны, но и недостойны твоей славы ученого человека... Разве не сказал господь: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею»?.. Земля беспредельна, а жизнь человека коротка. Одни рождаются, другие умирают. Знаешь ли ты, сколько живет простой крестьянин или ремесленник?.. Тридцать лет, а чаще и того меньше. Кроме того, существуют неурожаи, голод, моры и войны. Человек никогда не может переполнить землю, значит она никогда не оскудеет... Здесь якобы сказано, — толстяк пренебрежительно ткнул коротким пальцем в гороскоп, — что воздух, вода и почва станут нечистыми... Но даже детям известно, что земля впитывает в себя нечистоты и от этого только тучнеет и лучше плодит. Реки же не могут загрязниться, ибо существуют дожди и весенние разливы. А моря и океаны столь велики, что твои рассуждения, магистр, более напоминают лепет младенца, чем речи зрелого мужа.

— В Откровениях святого Иоанна сказано совсем о других

знамениях! — запальчиво воскликнул второй монах. — Разве они тебе не известны, магистр?

Они так ничего и не поняли, с горечью подумал Юлиус, глядя на залитый солнцем берег реки. Что ж, этот вариант тоже предусмотрен. Сейчас я признаю свои ошибки, отрекусь от ложных учений, а его преосвященство наложит на меня соответствующую вине епитимью. На сем дело и кончится...

Отец Бальтазар что-то шепнул одному из писцов, и тот поспешно выбежал из зала.

Ах, значит, еще не все, понял Юлиус. Толстяк приберег что-то еще, наверное самое гнусное. Только на этот раз все его хлопоты пропадут впустую — дичь явно не по зубам!

Магистра так и подмывало бросить ему прямо в жирную, хитрую физиономию: глупец! Все давно известно и предопределено. У тебя ничего не выйдет!..

— Боюсь, что наш высокоученый магистр более доверяет своей чудовищной машине, чем священному писанию, — медленно произнес отец Бальтазар, глядя куда-то мимо Юлиуса. Он сокрушенно покачал головой и вдруг с силой хлопнул ладонью по столу.

— Я разочарую тебя, магистр! Нам известно, что, вернее, кто в действительности находится в твоей машине!..

В этот момент в глубине зала открылась небольшая дверь, и два солдата-наемника ввели седую тощую женщину, одетую лишь в одну длинную серую рубаху. Она шла босиком, с непокрытой головой, как и полагается уличенной в колдовстве ведьме.

Когда ее подвели ближе, оба доминиканца осенили себя крестным знамением. Магистр тоже поднял руку и вдруг замер. Боже правый, это же была Аннет, его шестнадцатилетняя племянница-сирота, которая стала ему как собственная дочь.

Всемогущий боже! Что они с ней сделали? За что?..

— Эта женщина была заподозрена в чародействе, — сурово произнес старший монах. — На допросах она призналась, что уже давно насылала порчу на почтенных граждан города и, кроме того, находилась в плотской связи по крайней мере с тремя демонами мужеского пола. Вина ее доказана, и не о ней сейчас речь...

Значит, все кончено, похолодел Юлиус. Так вот какой сюрприз припас под конец проклятый монах! Но как же так?.. Ведь я все предусмотрел. Ее не должно быть здесь... Как она очутилась в городе? Там, где была Аннет, до нее не дотянулись бы даже длинные лапы инквизиции. Неужели она сама пришла? Боже милосердный, ведь Аннет действительно могла это сделать. Кто-то сообщил ей о моем аресте и...

А я-то, старый глупец, мечтал выдать ее замуж и даже подыскал славного жениха среди своих учеников... Ведьма!.. Кол-

дунья!.. Да на всем белом свете не сыскать существа невиннее его девочки!

— Вот ее показания, касающиеся дела магистра Юлиуса,— продолжал отец Бальтазар, раскрывая допросную книгу.— «Видела я самолично, как в Вальпургиеву ночь, года нынешнего, в большую машину, что находится в замке, залетели сразу одиннадцать тысяч демонов, и начала она после этого сама собой вращаться и на разные голоса предсказывать. И каждую ночь магистр с ними беседовал, а я вызывала в спальню трех самых сильных и безобразных ликом демонов, с коими до утра предавалась непотребствам и бесовским утехам..»

— Ну, что скажешь, магистр?—не скрывая торжества, воскликнул монах, потрясая допросной книгой.— Вот кто сидит в твоей богомерзкой машине! Вот кто в действительности составляет твои лживые гороскопы!

Юлиус поднял голову и всмотрелся в застывшее, словно маска, лицо девушки. Так и есть! В ее расширенных темных зрачках стояло безумие. Страшные испытания сломили юный разум... Бедное дитя не ведало, что творило...

Ведь этот неучтенный поворот судьбы может изменить весь обусловленный ход событий, подумал Юлиус. Но в гороскопе этого нет! Неужели он не верен?.. Не может быть! Могут меняться какие-то незначительные для мировой истории события, но конечный результат абсолютен и предопределен. Или он все-таки ошибается?..

Страшное подозрение вдруг возникло в мозгу Юлиуса. Если Аннет по своей доброй воле нарушила предсказанные события, значит, каждый человек в принципе может сделать то же... и тогда нарушатся связи, перепутаются причины и следствия, события пойдут вкривь и вкось и вся гармония расчетов летит к черту! Выходит, людскую историю вообще нельзя предсказать?!

Неожиданно в зале раздался негромкий голос епископа Бамбергского.

— Мне кажется,— спокойно произнес он,— святой суд упускает из виду одно немаловажное обстоятельство...

Доминиканцы мгновенно насторожились. Хотя епископ не был членом суда, его вес и влияние при дворе были широко известны.

— Насколько я знаю,— продолжал епископ, расправляя складки на мантии,— эта девица неграмотна. Каким же образом она сумела насчитать ровно одиннадцать тысяч демонов? Не кажется ли вам, что она не только колдунья, но и лжесвидетельница, запутывающая святой суд в своих тайных ведовских целях?.. Я уверен, что это именно она вселила демонов в машину Юлиуса и наслала порчу на него самого. Поразмыслите над этим, святые отцы. Мне кажется, что ваш долг — провести дополнительное расследование!..

Монахи оживленно зашептались между собой, обсуждая новый оборот дела. Ну вот, горько подумал Юлиус, все и становится на свои места. Как и предсказывалось, я могу выйти сухим из воды. Стоит только все свалить на Аннет, и события вновь пойдут своим чередом. Епископ добьется оправдательного приговора, несчастная Аннет пойдет на костер, а я вернусь к своим наукам. Мало того, теперь ясно, что проклятому гороскопу, вернее Машине, словно кровожадному Молоху, просто необходима жертва. Чтобы сломить фанатичное упорство монахов, не хватило бы даже влияния епископа...

Его преосвященство епископ Бамбергский рассуждал здраво. Предсказания предсказаниями, а береженого бог бережет. Улики против магистра более чем серьезны. Оспаривать их — значит рисковать собственным положением. Вот почему он и не вмешивался до тех пор, пока монахи не раскрыли все свои карты. Эта сумасшедшая девица оказалась как нельзя кстати. Возможно, сам епископ и не верил, что она настоящая колдунья. Но чего стоили жизнь и страдания какой-то безродной девицы по сравнению с потерей такого великолепного предсказателя! Тем более, ей ничем уже не поможешь...

Да, бедной Аннет уже ничем не поможешь, подумал Юлиус, вглядываясь в ее лицо. Без сомнения, она безумна, но тело ее не бесчувственно. Ее муки будут не меньше, чем страдания здоровых людей. Боже, что ее ожидает! Монахи вынуждены будут пойти на дополнительное расследование, если... если он промолчит! Неужели он, магистр Юлиус, своим трусливым молчанием обречет ее на нечеловеческие муки?

Но как же тогда предсказания? Все может рухнуть, или... или уже все и так рухнуло? Ведь при любом исходе Машину все равно уничтожат. А гороскоп? Да, в правильности расчетов он уверен. Все, что он предсказал, может произойти через несколько столетий... Но за эти века случится многое. Будут новые Аннет и новые костры. Будут новые войны и новые науки. Будет все новое и все не так!

Боже премудрый, как трудно! Но ведь еще не конец. Впереди еще есть время...

С трудом разжав вдруг пересохший рот, Юлиус глухо произнес:

— Не надо расследования... Его преосвященство не знает... Я обучил эту девушку грамоте и счету. Она не лжет...

Брови епископа поползли вверх. Он даже привстал с кресла.

— Значит, ты сознаешься в сговоре с дьяволом? — радостно воскликнул отец Бальтазар.

— Нет, нет! Я лишь хочу сказать, что в Машину могли вселиться демоны, но ни я, ни эта девушка в том не повинны.

Произнося эти слова, он видел, как вытянулось обычно бесстра-

стное лицо епископа. Магистр сам, собственными руками разрушал Судьбу, губил свои великие открытия. Или он на что-то надеялся?..

Как и следовало ожидать, святой суд постановил провести дополнительное расследование.

После двенадцатого допроса, весь изломанный на пыточном столе, магистр Юлиус наконец сознался во всем. И в грязном чародействе, и в богомерзком чернокнижии, и в подлом сговоре с отцом лжи, и еще во многих нечестных и страшных деяниях, изумив этим даже видавших виды судей.

На всякий случай снова провели дознание над колдуньей Аннет. К сожалению, уже во время второго допроса она тихо испустила дух, так и не испытав спасительного очищения огнем.

Из Рима был вызван прославленный экзорцист отец Себастьян. Но даже ему не удалось изгнать легионы бесов из дьявольской машины Юлиуса. Святой суд повелел разбить ее на мелкие части и утопить в самом глубоком месте городского озера.

Когда бывшего магистра Юлиуса, в позорном колпаке и с кляпом во рту, повезли на городскую площадь, он действительно все еще надеялся. Юлиус никак не мог поверить, что настал его час, ибо уже давно и с большой точностью вычислил дату своей смерти.

До последнего мгновения он ждал чуда. Но, когда равнодушные ко всему на свете языки пламени начали подбираться к его босым ногам, Юлиус понял свою ошибку.

У человека, как и у целого народа, не может быть одной-единственной наперед заданной судьбы. Жизненных дорог — великое множество. Но истинна лишь та, которую он выбирает сам.

Евгений Попов

* * *

Ленивая печаль песчаных дум.
Летит кораблик из-за желтых дюн.
Он весел. Ну а сколько парусов!
И рядом профиль солнечных лесов.

Нам так понятна эта красота,
Но архаична (спутники прогресса!), —
Нам мало смысла в речке без моста,
Нам мало ландышей — без вазы — в гуще леса.

Что в кровь вошло — расстаться не могу.
За то плачу достойные налоги:
Как нефтяную радугу дороги
Воспринимаю радуги дугу.

* * *

Я проезжаю Москву накануне весны.
Словно с галерки мне слышен ее многоярусный шум.
В гулкой пролетке метро проношусь над Москвою-рекой
и не спеша расплетаю тугую косу переулков.

Тихая спутница за руку нежно берет
и на аллеях Сокольников долго колдует молчаньем.
Ей, как Москве накануне весны, — беспечально.
Ей, как Москве разметавшейся, верю без слов.

Небо размыто прибоем весенних забот.
Солнце чубатое звонко трубою гремит.
Поезд — в семнадцать. И сказочный тает лимит.
Льдинка московской конфетки.
Ментоловый привкус разлуки.

Марина Тахистова

Туман

Раньше всех
встает в деревне
Добрый дедушка
Туман...
Он обходит
все деревья,
Все тропинки
и лиман.
Всех заботливо
укроет:
Пусть поспят
часок-другой...
Только рыжих кленов
кроны
Не достать ему
рукой!
И торчат они
упрямо,
Как мальчишки,
тут и там:
Ждут, когда же
встанет мама
И погладит по
вихрам!

Свитерок

Бабушка на спицах
вяжет свитерок:
Не опасен будет
ветер-ветерок!
Рано утром с дедом
в зимний лес пойдем.
Мне о нем расскажет
дедушка Артем!
Я увижу первым,
как проснется лес,
Полный добрых сказок
и больших чудес!
Затихают спицы,
угасает день,
На стене вздыхает
бабушкина тень.
Кашляет за стенкой
дедушка Артем,
Никуда мы с дедом,
видно, не пойдем.
За окошком злится
ветер-ветерок...
Подарю я деду
новый свитерок!

Бакен

Красный бакен,
как матрешка,
Развлекает стайку волн,
То, пригнувшись
к ним немножко,
Что-то долго шепчет он,
То подпрыгнет,
словно мячик,
И качается потом.
Но, как только солнце спрячет
Луч последний за мостом,
Он становится на вахту,
Светит лодкам далеко,
Чтоб они в Кронштадт и Лахту
Добрались в ночи легко!

День рождения

Мне подарили в банке мед,
Часы, машину, кепку,
И реактивный самолет,
И даже брюки в клетку!

Мне сладкий, сочный виноград
Принес какой-то гость.
Я был подаркам очень рад,
Но мне-то нужен гвоздь!

Чтоб можно было в стенку вбить —
И прикрепить портрет,
А лучше столик починить:
Хромой уже пять лет.

Я в день рождения хотел
Иметь бы сто гвоздей,
Чтоб сделать много добрых дел
Для всех моих друзей!

Борис Давыдов

Балаган — рыбацкий дом

Дом бригадира Ваничева стоит на самом берегу, но из окон его Ладоги не видно. Дом отгородился от ее холодных ветров высоким сараем и хлевом, поворотившись окнами к улице, к деревне. Двумя окнами смотрит дом на широкую белую дорогу, старую березу с длинными косицами тонких и голых ветвей, на низкорослый лесок, за которым встает солнце. Другие два окна выходят в проулок, теряющийся в бескрайней дали замерзшего озера. Каждое утро, ревом и треском оглашая округу, проносятся по проулку рыбацкие «Бураны», и тогда постукивают о коробку входные двери и стекла в окнах слегка позванивают. Не успеет растаять вдали треск снегоходов, врывается в проулок громкий топот и свистящие хрипы распаренных грузных коняг, скрип и грохотанье тяжелых саней, полных людьми, ящиками, снастями. Вот и они промчались размеренной рысью и растаяли в озерной студеной мгле. Откуда-то доносится собачий лай, потом все стихает, но в этой сонной как будто тишине слышится уже звяканье ведер, слабое мычанье, какой-то деревянный стук, женские высокие голоса. Звуки эти сливаются и словно бы тают в белом дыму, столбами поднимающемся над домами в светлеющее небо.

Бригадир Ваничев, кряхтя, заправляет в валенки ватные штаны, приглаживает жидкие волосы, надевает затертую солдатскую ушанку и столь же старое пальто и выходит из дому. Он идет дорогой, по которой недавно промчался рыбацкий обоз, параллельно светлеющей полоске неба.

До Кирикова, до бригадирской конторы, идти ему километра два, и, в зависимости от того, силен ли мороз и много ли дел в конторе, бежит он трусцой или идет неспешно, словно прогуливаясь. Иногда его подбирает попутная машина, иногда колхозный автобус, едущий за школьниками, порой подворачивается подвода, порой попутчик, но чаще всего идет Ваничев в одиночестве. За

пятьдесят с лишним лет своей жизни он так привык к этой дороге, так изучил ее неровности и изгибы, и все деревца и кусты, и просеки и пожни подле нее, что идет опустив голову, не глядя по сторонам.

В конторе топится похожая на старинную афишную тумбу печь, но воздух здесь еще холодный. Ваничев, не раздеваясь, садится за стол, извлекает из него какие-то бумаги, амбарные книги, синие и зеленые ученические тетради и погружается в них. Потом он берет левой рукой шариковую авторучку, вставляет ее между средним и безымянным пальцами покалеченной правой руки и начинает писать. Он что-то считает, шевеля губами, выводит на бумаге какие-то цифры, они пляшут под его дрожащей неловкой рукой, не хотят выстраиваться в четкие, строгие колонки. Наконец, обессилев от тяжкой борьбы с цифрами, коротко, тихо чертыхается.

Освобождение приходит к нему в лице пожилого ясноглазого мужчины, невысокого и щуплого, несмотря на толстый синий ватник и брезентовую с капюшоном робу поверх него.

— Здорово! — говорит улыбаясь вошедший и идет к печке и обнимает ее.

— Здравствуй, — отвечает ему кассирша, и бригадир тоже бурчит что-то приветственное.

— Пыхтишь, Алексеич? — участливо спрашивает мужчина.

Тот, не отрываясь от бумаг, тихо вздохнув, медленно говорит:

— Да провались она, эта бухгалтерия, совсем. Посадили, вишь, неуча начальником, благо что инвалид. А ошибка выйдет, спросят, как с ученого да со здорового. Заменил бы хоть ты меня, Кожин?

В голосе его слышится горькая ирония, и потому вопрос звучит риторически: знаю, мол, не заменишь, шучу. Какое-то время в конторе стоит тишина, но Ваничев вдруг поднимает голову и удивленно спрашивает:

— А ты чего тут? Чего не в озере?

Кожин уже снял шапку, расположился возле печки, вольготно откинувшись на широкую спинку стула.

— Ты забыл, что ли? Я ж за ниткой. Забыл?

— А-а, ну-ну. Ну, пойдем.

Они выходят на улицу и по утоптанной тропинке идут к занесенному снегом сараю. Сняв тяжелый замок, входят внутрь. Весь он набит сетями. Они валяются на полу, свешиваются со стен и грубо сколоченных стеллажей. Сети желтые, зеленые, синие, коричневые, грязно-белые, в мелкую и крупную ячею.

С одного стеллажа чистыми белоснежными прядями свисают мотки новой капроновой лесы. К ним и направляется Ваничев, спрашивая на ходу:

— Тебе сколько, Толя?

— Десяток разве, а?

— Судачьи, поди, зарядишь?

— Разные.
— И корюшьи?
— Конечно!
— Ладно, поглядим.

С этими словами Ваничев стаскивает со стеллажа мотки и бросает их к ногам Кожина. Тот собирает их в кучу, пересчитывает, потом выносит на улицу и ссыпает на широкие низкие санки. Вскоре и Ваничев выходит из сарая и, щурясь от яркого света, переспрашивает на всякий случай еще раз:

— Значит, десять? Пересчитал?
— Десять, десять, не сомневайся.

Кожин уходит, таща за собой санки, а Ваничев, провожая его взглядом, думает, что вязать судачьи сети — одно дело, а корюховые — совсем другое. Ячея судачьих с кулак, шестьдесят миллиметров, а корюховых — восемнадцать. На одну судачью ячею три корюховые. А платят одинаково: что та сеть, что другая — все четыре с полтиной. «Поглядим, чего он навяжет», — думает Ваничев.

Возвращаться назад, в контору, к опостылевшей писанине Ваничеву неохота. Он перебирает в памяти деревенские дела и вдруг срывается с места и быстрым шагом идет за деревню к Шурягской губе, к недостроенной конюшне. Конюшня эта, вернее сказать, строители ее извели бригадира, и идет он туда с нелегким сердцем. «А все ж не писанина, не цифирь треклятая, — думает он, — тут дело живое, мужицкое, плотницкое».

Издали, еще и не видя конюшни, по тишине и безлюдью вокруг понимает Ваничен, что дело там не живое — мертвое: мужиков-строителей ему не сыскать. Он убавляет шаг, постояв немного, машет рукой и шагает обратно, в деревню. Взгляд его останавливается на покосившемся здании старой конюшни, похожем на брошенный всеми глухой мрачный барак. Ваничев смотрит на старую конюшню и словно бы видит в ней колхозных коняг: Грома, и Зверя, и Красотку, и разных других, — видит, как мерзнут они в этой худой сараюге, как жуют и жуют всю ночь брошенное в стойла сено, чтобы хоть как-то согреться, содрогаются большими своими телами и не спят. Вспоминает бригадир, как после люто морозных ночей от их заиндевелых тел веет леденящим холодом, как хлюпает жалостливо носом конюшенная тетя Таня Федорова при виде замерзших коняг. А ведь как радовались кириковские, когда узнали, что в Новой Ладоге правление колхоза решило строить в деревне новую конюшню! Встретили строителей из Ладоги, как дорогих гостей, поместили их в лучшие теплые дома: вот вам, плотнички, и тепло, и радушие наше, только стройте. Хрена лысого! Вон уж февраль катит, а у них стропила голыми ребрами торчат, дай бог к марту управятся...

У красного стенда Ваничев встречает пожилую колхозницу, и та говорит ему, что плотники вчерашним вечером подались в Потанино за водкой, ну и, как водится, загудели. Выслушав ее, вконец расстроенный Ваничев идет в контору, где помимо всех этих неприятностей, месячного отчета, которым не похвастаешь, опять же и писанины ждет его другая напасть.

В конторе ждет его незнакомый парень в поношенном полушубке и ярко-желтых ботинках. «Видать, не деревенский, да и на ладожских не похож», — думает Ваничев.

— Вот бригадир, — говорит парню кассирша, кивая на Ваничева, и парень при ее словах вскакивает с табуретки:

— Олег Алексеевич? Здравствуйте! Я к вам.

— Здравствуйте, — несколько обалдело говорит Ваничев, машинально пожимая протянутую руку. — А чего?

Парень лезет за пазуху и достает паспорт и какую-то бумажку:

— Это вам, Олег Алексеевич. От Суханова.

Читая записку, Ваничев поглядывает на парня. Корреспондент, значит, так!.. Писатель... Вроде не похож. О Ладоге пишет. Интересно, что он там пишет...

Прочитав записку, Ваничев какое-то время внимательно изучает ее, хотя смысл сказанного в ней ему предельно ясен, не ясно только, куда поселить корреспондента. И еще не ясно — зачем он у нас, этот корреспондент? Нашли передовиков — срам, да и только...

— Олег Алексеевич, я, наверное, не вовремя приехал? — нарушает затянувшуюся тишину корреспондент.

— Чего?

— Я говорю...

— Да нет, почему не вовремя? — сконфуженно говорит бригадир, — Я вот думаю, куда поселить вас, чтоб удобно, чтоб никто не мешал. У нас ведь гостиницы нет. Может, к себе вас забрать? Да вот не знаю, глянется ли вам у меня, тесно у нас, одна комната да кухня. Удобно?

— Было бы вам удобно, а обо мне не беспокойтесь. Я и на полу пересплю.

— Еще чего! На полу! Диван есть пустой. Пошли!

Запах жареной корюшки обволакивает их, как только переступают они порог кухни, и если на Ваничева запах этот не производит ни малейшего впечатления, то парень, втянув в ноздри воздух, так и застывает, не выдыхая, словно не желает расставаться с аппетитно густым, теплым духом. Дух этот идет из темного квадратного жерла, где стоят две чугунные большие сковороды, под которыми гудит огонь, рассыпая по печи розовые горячие всполохи. Огонь гудит и за сковородами в далекой глубине печи, отгороженный от жарящейся рыбы высокими черными горшками и кастрюлей с подпрыгивающей на ней крышкой.

Круглолицая, розовощекая женщина сидит у окна, против выбеленного печного бока, и вяжет сеть. Весь пол подле нее вспух белым высоким сугробом, достающим ей до колен, белое полотно сети льется из ее рук, белый моток капроновой нити шапкой лежит на столе, и кажется — вся она погружена в белую снежную кипень.

— Встречай, мать, постояльца, — говорит ей Ваничев. — Писать про нас будет.

Поспевает рыба, проходит первая сковывающая неловкость, и все садятся за стол. Парень лезет в пузатый свой портфель и выкладывает на стол большой кусок сливочного масла, палку толстой колбасы в целлофановой обертке и запотевшую бутылку водки. Хозяйка машет на него руками: не надо, свои запасы есть, ни к чему это, уберите лучше. А Ваничева парень удивляет бутылкой. «Ошибся Суханов», — весело думает бригадир и, предвкушая скорое удовольствие, гуляет взглядом с бутылки на жену, с жены на корреспондента.

Три рыбацкие деревни, Елохово, Лахта и Кириково, стоят на юго-восточном берегу Ладоги, между Сясью и Свирью, среди широких песчаных пляжей, можжевеловых кустов и больших камней. Одним краем сбегают деревни к самой воде, другим упираются в буреломный низкорослый лес, и по весне стоит над деревнями изумрудно-голубая дымка — то ли от домов, в большинстве своем голубых, синих и зеленых, то ли от воды, то ли от леса...

Две деревни, Елохово и Лахта, маленькие, в одну улицу, в три-четыре колодца, — не деревни даже, деревушки. Третья, Кириково, деревня большая, многодворовая, многоводная. В Кирикове — почта, магазин, клуб.

До шестидесятого года жители трех этих деревень объединялись в один колхоз, потом они влились во вселадожскую рыбацкую артель, колхоз имени Калинина, но и утратив самостоятельность, сохранили славу мастеров и трудяг. Держат эту славу потомственные рыбацкие династии Кожиных и Федоровых, Киршиных и Красиных, Ваничевых, Сидоровых и Петровых и сегодня.

Сколько веков этим деревням, откуда взяли они свои имена, теперешние рыбаки не знают: старики забыли, а с молодых и спроса нет. Из рассказов своих отцов и дедов некоторые старики помнят, правда, что лет эдак сто назад катался по Петровскому каналу царь и всех, кто встречал его, одарял серебряным рублем. Говорят дивились этому очень, — народу в деревнях было поболе нынешнего, а рубль серебряный получил каждый. Это помнят.

Вероятнее всего, рождением своим деревни обязаны Петру I, согнавшему вологодских и новгородских, тверских и нижегородских крестьян на рытье Ладожского канала, но возможно, дерев-

ни и более старые: очень много в них однофамильцев и разнофамильных родственников, чьи деды и прадеды издревле ловили лосося, некогда вольготно гулявшего в Свирской губе, до которой отсюда рукой подать. Упоминание же о лососевом промысле на Ладоге есть в берестяных новгородских грамотах и в новгородских писцовых книгах, так что корни здесь, возможно, древние, глубокие. Как бы там ни было, тот, кто первым пришел сюда и поставил здесь первый дом, был человеком с широкой и смелой душой. Иному бы не приглянулся этот чистый суровый берег, эта бескрайняя свинцовая даль, иного бы они испугали, отпугнули. Северная наша природа явила здесь свою строгую щедрость так ненавязчиво, скромно, что и не сразу разглядишь ее, но когда разглядишь — не забудешь. Земля здесь бедна, худородна, но зато как богаты леса и воды вокруг!..

Низкие, утонувшие в снегу заборы тянутся вдоль улицы, огораживают дома с боков, но от леса с одной стороны и от Ладоги с другой дома не огорожены. Сразу же за домами по берегу озера в беспорядке разбросаны низкие баньки, за ними широкий пляж, неведомо где переходящий в озеро.

Вдали, в озере, видна темная линия торосов. Низкое серое небо сливается с ними, приближает горизонт, суживает пространство. Там, за торосами, Ладога. Туда уходит укатанная, твердая, как панцирь, дорога, там теряются ее следы, вмятины резиновых траков, гладкие, словно отполированные, ленты широких лыж, подковы лошадиных копыт. Где-то там, в мглистом морозном сумраке, работают люди.

Здесь, на берегу, свет еще в силе, еще видно все объемно и четко, а в белой безмолвной Ладоге копится, наливается чернотой мутно-серая мгла. Гладкая эта дорога, непонятные следы на ней, теряющиеся вдали, манят корреспондента, и, невзирая на приближающуюся тьму, он идет к озеру.

За вторым торосом дорога раздваивается. У развилки — высокая тонкая ветка, похожая на изогнутое дугой удилище. Обе дороги, отходящие от нее, одинаковы по ширине, одинаковы и следы на них, одинаков и темнеющий горизонт, в котором пропадают они, и отсутствие былинного камня слегка затрудняет выбор; кривая же голая палка вносит лишь некоторый трагизм в создавшуюся ситуацию — ее вопросительная изогнутость настораживает. Налево пойдешь — «?», направо пойдешь — тоже «?».

Какая-то сотня метров, и вновь развилка, еще несколько шагов — опять, а потом и вовсе непонятное дело: чудесную эту дорогу пересекает, словно перечеркивает, другая, идущая параллельно берегу, с теми же интригующими следами.

Возвращаться назад нет ни малейшей охоты, но и удаляться в темную холодную Ладогу боязно: огни светят слабо, едва различимо, того и гляди погаснут. К тому же вспоминаются заботливые слова хозяйки: «Далеко-то не ходите, заплутаете, не дай бог, с непривычки». Волнуется, наверно. Надо возвращаться...

Он медленно идет назад и вспоминает минувшую осень, свое первое посещение этого берега. Был берег припорошен тогда тонким слоем первого октябрьского снега и казался уныло-холодным, выкрашенным в тоскливый ахроматический цвет, мрачный, безысходный. Таким бы он и остался, вероятно, в его памяти, и не манил бы к себе, если бы не Ладога, не ее тяжелые, отливающие сталью волны, светлеющие вдали, теряющиеся где-то в мутно-голубом небе. Тогда, осенью, ему захотелось побывать здесь в самый разгар зимы, — не весной, когда все здесь преображается, когда запахи распустившейся листвы смешиваются с огуречным запахом свежей корюшки; не летом, когда ближние пригорки полны земляники, озеро — катерщиков, а леса — автогрибников; но зимой, непременно зимой — когда тихо и чисто.

Было и еще одно обстоятельство, определяющее зиму временем свидания с этим берегом, — подледный лов. Изрядно померзнув в октябрьской и ноябрьской Ладоге, когда онемевшие, оцепеневшие, пальцы не чувствовали, не осязали ни сети, ни рыбы, а уколы судачьих плавников были как комариные укусы (боль приходила потом, острая и надолго), он хотел представить себе, как промышляют рыбу на лютом январском морозе. Говорили ему, что местные рыбаки — ловцы отменные, с традициями, знающие Ладогу как никто другой. Говорили еще, что недолго осталось жить кириковской рыбацкой славе, потому что мало их, кириковских, осталось, многие разъехались кто куда, те же, что живут и работают сейчас, люди в основном пожилые, а смены им нет и не будет. Хотелось лучше узнать этих людей, потому что ставшая родной и близкой Ладога если кому действительно дорога и нужна, то именно им.

Берег проступил черными стенами сараев и бань, освещенные окна домов вырисовывались четкими разноцветными квадратами, в воздухе запахло теплым дымом печей. Откуда-то прибежала большая рыжая дворняга, медленно приблизилась, повиливая хвостом, теранулась мохнатой шерстью о валенок и пошла провожать до крыльца Ваничева дома.

Снег сыпал всю ночь и все утро, и сейчас, ничуть не обессилев, роится он густо, все заполняя собой, сглаживая, укутывая. Январский рассвет, и без того поздний, робкий и мглистый, нынче вовсе запоздал. Вот и падает снег в мутном полусвете, скрадывая звуки и краски, наполняя мир оглушительной тишиной и величаво-покой-

ным однообразием. Деревня, с ее домами и изгородями, плешинами огородов и узкими тропинками, деревьями, кустами и низкими обледенелыми колодцами, кажется неживой в этом белом оцепенении. Кажется, все покинули ее или уснули, забылись белым, долгим сном.

Анна Константиновна рано встает, одевается в темноте, идет на кухню и разводит в печи огонь. Потом греет самовар, будит мужа и, когда он, позавтракав, уходит, приносит из сеней хрустящую, пахнущую морозом сеть и длинные, слегка оструганные бруски и доски.

Анна Константиновна ставит к противоположным стенам кухни деревянные стойки, подпирает их четко подогнанной по длине поперечиной с вбитыми в нее, загнутыми вверх гвоздями, и развешивает на них полотно. Толстый клубок капроновой витой веревки — подборы — кладет она на стол, несколько метров наматывает на тонкие сетевые клещи, похожие на короткую, широкую стрелу, отполированные ее руками и временем до матово-темного благородного блеска, и начинает рамить полотно. Она просовывает подбору между ячеями, через каждые пять ячей крепит ее аккуратной, почти незаметной петлей, и леса скрипит под ее пальцами сухо и резко, как снег на морозе. Она медленно движется от одного конца полотна к другому, дойдя до стойки, снимает обрамленный кусок, вешает другой, разглаживает его ладонями, придирчиво оглядывает, ровны ли ячеи, хороши ли петли; возвращается назад и вновь тянет подбору сквозь пятидесятиметровую сеть. Сотни сетей связаны ею, но всякий раз, завершая новую, обрамливая ее, она слегка дивится ее чистой кружевной красоте. И сейчас, оглядывая сеть, Анна Константиновна смотрит на нее то так, то эдак, то прямым взглядом, то чуть искоса, а руки тем временем работают будто сами по себе, будто отдельно от ее глаз и дум. Когда от долгого стояния начинает ломить спину, она садится и чистит картошку к обеду, потом идет в хлев приглядеть за скотиной, потом за водой, а почувствовав облегчение, вновь берет в руки клещи. Время от времени работать мешает кошка: шастает под сеткой то к миске с рыбными костями у печки, то к окну, за которым падает снег, то опять к миске. Анна Константиновна ворчит на нее тихо, сдерживая голос, потом ей надоедают эти блуждания, и она открывает дверь и выгоняет кошку во двор. Теперь в кухне тихо. Через несколько минут ее размаривает эта сонная тишина, она зевает и слегка досадует на себя за то, что выгнала кошку.

Она уже прошла всю сеть, обрамила ее по длине и теперь той же подборой разбивает полотно на ровные квадраты — звенья. Потом по краям звеньев привяжут рыбаки грузила — опочья и поплавки — кухтыли, и сеть будет готова.

А Ваничев к тому времени уже отобедал и сейчас, с лопатой под мышкой, идет за деревню, разгребать снег у склада ГСМ. Не-

сколько раз собирался он наведаться туда, почистить, навести порядок, но все откладывал, занятый другими делами.

Последнее время начались перебои с подвозом горючего. Нередко рыбаки заправляли снегоходы сами, какими-то сомнительными, скрытыми путями доставали бензин. Склад был пустой. Ваничев не был там недели две и, если бы не непрекращающийся снегопад, вряд ли отправился бы туда и сегодня.

Он идет и думает о том, что надо дозвониться до председателя и требовать от него бензовоза, иначе встанет работа. Хотя и ему, председателю, достать бензин — проблема, а если и достанет, все одно — пока дорогу не почистят, никто не поедет. Да и работа не встанет: это он так, для острастки. Но склад надо почистить, мало ли что...

А неподалеку от склада ГСМ в своем сарае-мастерской гремит железками, рыщет по углам кипящий от злости капитан-звеньевой Анатолий Александрович Кожин.

Много повидавший и переживший, прошедший войну и чудом оставшийся в живых, он научился сдерживать себя и редко терял спокойствие, никогда не отвечал грубостью на грубость, был мягок и улыбчив с людьми и дорабатывал оставшийся до пенсии год тихо, как говорится, не переламываясь. И вот сейчас он переродился до неузнаваемости, и переродил его железный болт диаметром шестнадцать и длиной сто сорок миллиметров.

Но по порядку.

Утром Анатолий Александрович отправил звено на одном снегоходе и двух лошадях в Ладогу, а сам остался ремонтировать сломавшийся вчера «Буран». Поломка случилась пустячная: болты, крепящие лыжи к рессоре, лопались частенько, — к этому уже привыкли. Помня о том, что в загашнике есть запас, он начал работу не торопясь: достал домкрат, поднял им снегоход и, выправив покосившиеся петли, медленно, словно нехотя, пошел в сарай. Там он зажег подслеповатую лампочку и в ее тусклом свете выдвинул нижний ящик довоенного канцелярского стола — загашник. Болта, который должен был лежать в дальнем левом углу, на месте не оказалось. Обстоятельство это несколько удивило Кожина, он отлично помнил всю предысторию крепежного болта, помнил, как вручал ему этот болт молодой Спиров, приговаривая: «Магарыч с тебя, дядя Толя, каким дефицитом разжились, а?», и он, Кожин, посмеиваясь: «Будет, будет тебе, соска», завернул болт в бумагу и сюда положил. Он полностью выдвигает ящик, ставит на пол, опускается перед ним на колени и тщательно, железка за железкой, перебирает его содержимое. Болта нет. Он вытаскивает два других ящика, высыпает и их содержимое на стол, и уже целая груда металла вырастает перед ним.

Разобрав лишь половину железной груды, он садится на ящик

посреди мрачного склада и пытается вспомнить: была ли у кого в бригаде аналогичная поломка в течение двух последних недель? Снегоходы выходили из строя в каждом из восьми звеньев бригады, но болт, как ни странно, вроде никто не искал. Стоп, стоп, стоп!.. Ах он старый пень, сам ведь, своими собственными руками отдал этот болт Шабанову, а теперь полдня ищет вчерашний день, совсем памяти лишился! И было-то совсем недавно, неделю назад, не больше: полетел приводной ремень на втором снегоходе, он и сменил болт на ремень.

Анатолий Александрович смотрит на страшный беспорядок на столе, и ему становится совсем тошно. Прокопавшись еще с полчаса, он находит ржавый, со сбитой головкой болт, потом находит гайку к нему и долго крутит ее ключом на зажатом в тисках болте — нарезает в проржавевшем металле резьбу. Найденный болт нестандартный, но другого нет, а завтра надо на рипусовые, дальние сети идти, сколько ж можно прохлаждаться.

С этим хлипким болтом в руках он выходит на свет и, увидев Ваничева, неспешно шагающего к складу ГСМ с лопатой под мышкой, взрывается.

— Ну что, едрена корень, долго ты будешь болтаться здесь, как предмет в проруби? — кричит он высоким, сбивающимся на фальцет голосом, вихрем подлетая к начальству.

— Ты чё, умом рехнулся?! — опешил бригадир.

— А на кой хрен ты тут нужен? Какая с тебя польза, а? Мало того, что никакой запчасти к этой тарахтелке достать не можешь, болта вшивого и того у тебя нет. Три часа, ты понял это, три часа я искал, три!.. Нашел вот этот, тонкий, ладно, что по длине годится. Так он же у меня и дня не продержит, срежет его на первой кочке. И что тогда?! Есть у тебя запас? Нет у тебя ни...

— Замолкни! — резко обрывает его Ваничев.

Повернувшись к Кожину спиной, он зло дергает головой, велит следовать за ним.

В промерзлом сарае, битком набитом всякой всячиной, находит Ваничев грязную тряпицу и долго разворачивает ее. Пять новых черных болтов, на которых видны еще коричнево-темные следы заводской смазки, тускло мерцают в его руке. Он берет один из них, крутит на нем гайку, проверяя резьбу, и протягивает Кожину.

— Бери и проваливай, — говорит он.

Кожин уходит, ссутулившись, вобрав голову в плечи. Его фигура — само раскаяние.

Ваничев старательно заворачивает в тряпку остатки бригадного богатства, прячет в укромное место. «А этот припадочный прав, у меня и правда ничего нет», — невесело думает бригадир.

Потом он разгребает снег у склада ГСМ. Там к нему присоединяется Кожин. Снег летит из-под кожинской лопаты, как из грейдера.

Здесь и находит Ваничева запыхавшийся, совершенно белый от снега корреспондент, и бригадиру приятно, что парень искал его, бегал, да так, что шапка сбилась на сторону. Бригадир приветливо улыбается и спрашивает: что там дома, чем занята хозяйка, как спалось на новом месте, сыт ли? Корреспондент говорит: все хорошо, спал и сыт, жаль только — в озеро не попал.

— Насчет озера — это надо с рыбаками говорить, — обстоятельно объясняет Ваничев. — Хоть я и бригадир, а приказать взять вас в озеро не могу: не дай бог в воду провалитесь.

И тут взгляд Ваничева падает на стоящего рядом Кожина, и светлая мысль озаряет его:

— А вот, кстати, звеньевой наш, Кожин Анатолий Александрович, поговорите с ним. — Он поворачивается к Кожину и с плохо скрываемой издевкой в голосе продолжает: — Возьмешь товарища в озеро, Анатолий Александрович? Напишет о тебе, какой ты человек хороший. Возьмешь?

Смысл происходящего еще не дошел толком до Анатолия Александровича, он не понимает, что за человек незнакомый объявился и зачем этому человеку в озеро, и писать чего-то будет — ничего не понятно! Потому и говорит Кожин неуверенно, с робкой улыбкой:

— А чего ж не взять. Можно и взять. — Потом он делает паузу, с той же робкой улыбкой смотрит на бригадира, на корреспондента. — Завтра вот и пойдем...

— Значит, завтра? Точно? — переспрашивает корреспондент, и в голосе его Анатолий Александрович слышит недоверие. Это его обижает:

— Что ж я, обманывать буду? Интересно. — Он нахлобучивает поглубже шапку и как бы отворачивается, но корреспондент словно не видит этой перемены.

— Прекрасно! — говорит он. — Спасибо, Анатолий Александрович. И вам, Олег Алексеевич, спасибо.

— Мне-то зачем. Звеньевого благодарите, — говорит Ваничев, похихикивая.

В коробы — деревянные санные прицепы — грузят ящики, длинные деревянные жерди, маленькие, словно из детсада, табуретки и скамеечки, полуметровые блестящие ножи-пешни, насаженные на массивные деревянные рукояти с круглой, как у кинжала, шляпкой-набалдашником. Грузят прокопченные котелки и кастрюли, мелкоячеистые корюховые сети, мотки капроновых ниток. Когда все уложено и проверено, в голову короба бросают серо-зеленое с черными разводами копоти брезентовое полотно, края его подтыкают под ящики, и в короб забираются люди. Включаются фары, взревывают моторы, всхрипывают кони — рыбацкий обоз в эскорте разномастных дворняг трогает.

Трогает дружно, с места набирая скорость. Мощные рослые

кони идут галопом, четко держа дистанцию, не отставая от красных «Буранов», приземистых, похожих на тупорылых стремительных рыбин с выпученными глазищами. Треск и рев моторов, лязг и скрип прицепов, стук деревянных жердин и лошадиных копыт, неумолчный собачий лай — все сливается воедино, летит в предрассветном полумраке и обрушивается на притихшую деревню оглушительно-веселым грохотом. Жесткий короб подпрыгивает на неровностях укатанной до слюдяного блеска дороги, его заносит на поворотах, кажется, миг — и очутишься в кювете, а короб уже летит, грохоча, к другому краю дороги. Кусок брезентового полотна вырывается из-под ящика, как парус вспухает на ветру и тотчас опадает, хлопая резко и громко. Миновав укатанную широкую дорогу, рыбацкая кавалькада сворачивает в узкий проулок, и здесь, зажатые высокими заборами и стенами домов, звуки становятся еще громче, еще полнее, и собаки бешено лают, норовят цапнуть на бегу что попало. Вместе с обозом несутся они до конца проулка, по инерции выскакивают вместе с ним за деревню, на ладожский белый лед, и там отстают, пропадают. Звенья разъезжаются, каждое к своим сетям, и вскоре лишь два «Бурана» кожинского звена тарахтят в рассветном сумраке, все дальше и дальше удаляясь от берега.

Кожин сидит на заднем сиденье снегохода, за широкой спиной молодого Николая Спирова, крепко обхватив его обеими руками. Перед выездом он сказал Спирову, чтобы тот правил на дальние рипусовые сети, а сейчас сожалеет об этом. Рыба там должна быть, размышляет он, — в прошлый раз из тех сетей два центнера рипуса взяли; но, с другой стороны, — ехать туда больше часа, и новые сети непременно надо поставить. А эта работа, ежели не заладится, часа три, а то и четыре отнимет. За день не успеть все это провернуть. А ведь и охота показать корреспонденту рыбу, — знает, поди, что звено нынче в отстающих, зря, что ли, весь вечер сидел вчера с Ваничевым в конторе, выписывал что-то в блокнот. А может, сначала сети поставить, а потом поглядим, будет время — на рипусовые подадимся, нет — у берега плотву потягаем.

— Сворачивай, Коля! Ставить пойдем! — кричит он в ухо Спирову, и тот, пожав плечами, сворачивает у ближайшей развилки. Несколько сот метров «Буран» идет по дороге, а потом уходит от нее, пробивает свежий след в нетронутой снежной целине. Второй снегоход, словно захваченный врасплох неожиданным решением звеньевого, отстав, маячит черной точкой вдали. Пройдя километра два, Спиров глушит мотор, и нестерпимая тишина ударяет в привыкшие к шуму и треску уши.

Подъезжает второй «Буран», и после непродолжительного, но бурного выяснения причин, заставивших звеньевого изменить на-

меченный ранее маршрут, «беседа» переходит в спокойное русло, деловое и, как принято теперь говорить, конструктивное.

Среди белой голой пустыни, где только и есть что снег, и лед, и высокое небо, шестерка рыбаков спорит о том, стоящее ли место предлагает звеньевой, есть ли здесь рыба или следует уйти. Спорят они так, что кажется, видят сквозь снег и лед и десятиметровую толщу воды: одни видят плотву, корюшку и леща, другие же, напротив, ничего не видят и потому возражают против этого места, ничем не отличающегося от любого другого на десятки километров вокруг. Яростней всех возражает Николай Петрович Кожин.

Николай Петрович лишь на год моложе своего дальнего родственника, звеньевого, но эта столь незначительная разница в возрасте круто развела их судьбы: Николай Петрович не воевал, мало где бывал и мало что видел в жизни. Зато Ладогу он изучил как свои пять пальцев. Изучал он ее мальчишкой в войну и после войны подростком, изучал так, что легче, кажется, было ему умереть, чем тянуть и тянуть эти проклятые сети, всегда ледяные и тяжелые, — тянуть до изнеможения, до бесчувствия. И, пройдя суровую ладожскую школу, он считает теперь, что все, в том числе и звеньевой, обязаны прислушиваться к его мнению, и более того, по части рыбных мест его голос должен быть в звене первым.

— А я те говорю, пусто тут. Понял ты меня? Пусто, понял?

— А где? — спрашивает примирительным тоном звеньевой.

— Нигде! — ощетинивается матрос Кожин. — Раньше чё думал?

— Ага, тебя забыл спросить! — начинает злиться Кожин-звеньевой. — Мы ж тут ставили в позапрошлый год. Иль ты вовсе памяти от злости лишился? Не уважили его, видали, не спросили.

— Это от недосыпу хронического, правда, дядя Коля? — улыбается молодой Спиров, возвышающийся на две головы над пожилым рыбаком. — Скажи старухе, пущай оставит тебя наконец в покое. У тебя ж, гляди, здоровья совсем не осталось от недосыпу...

— Ах ты... — матрос Кожин грозит Спирову кулаком. — Я те покажу счас здоровье, пешней-то...

Он и правда хватает десятикилограммовую пешню, зло поглядывая на хохочущего Спирова, отходит метров на пять от «Бурана» и говорит звеньевому:

— Разгреби-ка!

Анатолий Александрович берет лопату и снимает снег, открывает темный в матово-белых разводах лед. И вот идет по кругу пешня, растет рядом с лункой горка чистого ладожского льда.

За последние две недели несколько раз морозы по ночам ударяли градусов за тридцать, и пробить лунку в толще почти метрового льда, да еще шириной сантиметров в шестьдесят, дело нелегкое. Но и устав, не очень-то постоишь без дела на несильном, но въедливом, выдувающем из толстых одежд тепло ветерке. На таком ветерке, да без какого-либо укрытия, да без рукавиц (пешню

надо держать крепко, чтобы не упустить в воду), работают рыбаки.

Наконец готова первая прорубь. В нее опускают тонкий конец лозы — длинной двадцатиметровой жердины, связанной из двух, а то и из трех березовых точеных стволов. Двузубыми вилами погружают лозу поглубже, одновременно потихоньку просовывают вперед, на глазок держа направление к другой лунке. Там ждет ее рыбак со строчами — деревянными двухметровыми палками, похожими на урезанную вверху букву «Х». Он шарит ими в темной воде, сводит и разводит строчи, вслепую отыскивает лозу. А она зацепилась за что-то, застряла, уперлась, никак не идет вперед. Ее уже не придавишь вилами, не притопишь поглубже, не пропихнешь. Что делать? И вновь небольшая стычка. Одни говорят: надо вытаскивать лозу и тянуть ее в другом направлении, — это значит, вырубать новые лунки, предварительно заново их разметив, то есть все начинать сначала. Есть другое предположение: прорубить лунку там, где застряла лоза, вслепую найти ее, притопить вилами и тянуть дальше. Тогда (в случае удачи, разумеется) проделанная работа не пойдет насмарку, но шансы на успех невелики. Это риск. После нескольких минут «обсуждения» выясняется, что рыбаки народ скорее рисковый, нежели рассудительный.

Походив туда-сюда, прикинув, сколько метров лозы ушло под лед и где, вероятнее всего, находится конец ее, Николай Петрович Кожин решительно указывает пальцем:

— Здесь!

Спиров улыбается:

— Ой, гляди, дядя Коля, опозоришься!

А тот ему сердито:

— Давай коли, да старших слушай, пока учат тебя, неслуха.

И Спиров колет. Сначала он работает медленно, как бы нехотя. Углубившись на несколько сантиметров, обкалывает лед с краев, расширяет лунку. Когда набирается полная лунка льда, Николай Петрович выгребает его лопатой. Лунка уже обозначилась острыми, сверкающими гранями. Большие куски льда отброшены в сторону, лишь мелкое крошево его остается на дне. И вновь берется за пешню Спиров. Он широко расставляет ноги, нависает над прорубью и уже во всю силу крепких тяжелых рук и молодого здорового тела вздымает над собой пешню и с громким хриплым выдохом вонзает ее в лед:

— И-и-и, эх! И-и-и, эх!

От горячей его работы, кажется, теплее становится рыбакам, кольцом окружившим Спирова, — кажется, и им передается рабочий его азарт, греет их, веселит. Кто-то говорит:

— Дай, заменю.

— Ничё, — хрипит он в ответ.

Опять набирается полная лунка льда, пожилой Кожин вновь

выгребает его, снова колет Спиров. Наконец появилась вода. Теперь работа пошла живее — виден уже конец ее, и это вселяет новые силы. И вот лунка готова. Лицо Спирова полыхает багровым жаром, грудь ходит ходуном, как у загнанной лошади. Он смотрит, как подбирает Кожин шугу с темной поверхности воды, как старательно, до мельчайшей льдинки, вычищает прорубь, и, тяжело дыша, подшучивает сильным голосом:

— Где ж твоя лоза, дя Коля? Не вижу я ее чё-то?

А Николай Петрович берет вилы и медленно, осторожно, сантиметр за сантиметром, все шире и шире забирая ими, начинает поиски. Лозы нет!

— Дай мне! — говорит один из рыбаков.

Те же манипуляции, и результат тот же.

— Стойте, — говорит звеньевой. — Строчами надо, они длиньше.

Он сам берет в руки длинные жердины, погружает их сколь возможно глубоко в воду и ведет от одного края проруби к другому, чертя под водой полукруг. Немного не дойдя до самого льда, немного не дочертив, говорит тихо, словно не веря себе:

— Есть! — и все подаются к нему.

Он шарит где-то подо льдом, как бы ощупывает его, и, ощупав, говорит весело:

— Она!..

Один конец лозы торчит из одной проруби, другой — из другой, а между ними без малого двадцать метров воды, снега и льда. К более толстому концу лозы привязывают тонкую капроновую веревку — походеньку, к походеньке сеть, и пошло в озеро крахмальное, тонкое кружево, пошло ровно, звеньями: кухтыль-опоча, кухтыль-опоча. И как быстро тает оно в воде, бесследно растворяется в ней, как соль, как сахар. Вот уже вся сеть ушла под лед, расправилась там — кухтыль тянет ее вверх, опоча вниз. К концу сети привязывают деревянную рогулину, один конец ее опускают в прорубь, другой втыкают в снег: она и держит, она и кажет, говорят рыбаки.

Сеть поставлена. Первая из двенадцати...

Через несколько дней рыбаки придут сюда, поднимут сети и, если они будут пусты, махнут на новое место искать удачу, и лоза, привязанная к коробу, вновь будет дрожать, вибрировать и чертить легкий, летучий след в плотном, спрессованном морозом и ветром снегу Ладоги.

Семья Шабанова уехала до субботы, и он опять остался один с больной матерью. В Новой Ладоге, куда уехала семья, у Шабанова кооперативная квартира с удобствами, жена работает учительницей, а он живет здесь, в Кирикове, ловит рыбу и ждет субботы. Года четыре назад жена учительствовала в местной школе, где

учились детишки елоховские, кириковские и лахтинские. Когда построили Потанинский животноводческий комплекс, многие подались туда, в благоустроенный поселок. Приладожские деревни обезлюдели, и кириковскую школу закрыли. Детей колхозников, оставшихся в деревнях, увозят теперь на неделю в то же Потанино, в школу-интернат, так что все в рыбацких деревнях — и старики, и средние, и молодые — все живут в разлуке со своими детьми, внуками, правнуками. Но Шабанову от этого не легче.

Сидит сейчас Шабанов у приемщика Новоладожского рыбкомбината Смирнова, распаренный от духоты и обильного воскресного ужина, на столе перед ним большое блюдо с несколькими кусками вареного сига, головка лука, глубокая тарелка с квашеной капустой, густо пересыпанной крупной бордовой клюквой, стеклянная банка с солью, самовар и чашка с недопитым чаем.

Валентин Андреевич ни за что не соглашается взять в озеро корреспондента. Он смотрит на Ваничева, набычив крутую, коротко остриженную голову, смотрит сурово, даже неприязненно как-то, тем же взглядом стреляет в корреспондента, а те стоят у двери, и раздеваться не раздеваются, не желая надолго задерживаться, и уходить не уходят, озадаченные и подавленные решительным отказом звеньевого.

— Почему, Валя? — спрашивает его Ваничев, как-то робко, сконфуженно, извиняюще.

— Нечего делать, — медленно, с уничтожающей внятностью произнося каждую букву, отвечает он и упирается тяжелым взглядом в корреспондента. «Уж не пьян ли передовой капитан?» — думает корреспондент, и Шабанов, словно отгадав его мысли, коротко улыбается и совершенно трезво, без эмоций говорит:

— Вы извините, но посторонних в озеро брать не положено по технике безопасности. Если не верите мне, можете спросить у бригадира.

Произнеся эту фразу, он радушно улыбается, словно не отказал человеку, а наоборот, согласился. Шабанов прекрасно знает, что корреспондент бывал в озере, бывал не раз и не два, мог бы что другое придумать.

— Что-то хитрите вы, Валентин Андреевич. Техника безопасности здесь ни при чем. Я, вероятно, просто вам помехой буду. Так, да? — терпеливо улыбаясь, говорит корреспондент.

— Точно! — охотно соглашается Шабанов. — Вам ведь что надо? На рыбку поглазеть, руками ее потрогать, чтоб натурально о ней написать, похоже чтоб было, а нам работать надо. А места в балагане едва самим хватает.

— Опять не то! — говорит в сердцах парень. — Знаю я, сколько там места. Не хотите брать, не надо. Но почему? В чем причина? Может, рыбу вашу распугаю, удачу вам сглажу? Вы не суеверный, случайно?

Шабанов выслушивает его спокойно, только правая бровь удивленно приподнимается. Слова корреспондента он оставляет без ответа, словно и не было их вовсе.

Хозяин дома, сидящий где-то в уголке, незаметный, маленький и круглый, почуяв какую-то напряженность, выходит из своего уголка у печи, откуда следил он за разговором, начинает раздевать непрошеных гостей, усаживать их за стол. Потом он бежит к буфету, извлекает из него бутылку водки, приговаривая:

— Сейчас, сейчас. Сейчас все уладим, все решим, — воркует он. — Ты, Валя, не ершись, чё ты, в самом деле. Ну, по маленькой? — спрашивает он корреспондента.

— Спасибо, я не буду, — отвечает тот.

— Убери ты ее, — поморщившись, говорит Ваничев.

Смирнов вопросительно смотрит на Шабанова и, не удостоившись от того ни слова, ни взгляда, убирает бутылку столь же поспешно, как и достал ее.

— Ну, тогда чайку? — предлагает он.

— Чайку, это можно! — охотно соглашается Ваничев, а корреспондент улыбается, вспоминая, как осушает бригадир по пять, а то и более стаканов чая за вечер.

— Так вы, говорите, бывали уже в озере? — неожиданно миролюбиво спрашивает корреспондента Шабанов. — С кем?

— С Кожиным.

— И опять хотите пойти? Зачем?

— Вы же знаете: поглазеть, руками потрогать.

— Запомнили, значит. Это хорошо. И писать, наверное, будете?

— Попробую.

— Не советую.

— Это почему же?

— Да, сдается мне, толком вы все равно ничего не напишете. Приезжали уже такие, как вы. Писали уже...

Шабанов машет рукой: пустое это все, и писанина ваша, и разговор этот ни к чему.

— Чем же они вас так разобидели, такие, как я?

Шабанов молчит, раздумывая над тем, рассказывать ли корреспонденту или нет о своей памятной, хоть и давней уже обиде.

— Ну, ладно, — наконец говорит он, — не хотел я, да ладно. Коль вы любопытный такой. Приезжал уже, говорю, такой вот, как вы, может постарше малость. Да и давно, лет шесть назад, а помню я его хорошо, не часто к нам корреспонденты приезжают. Взял я его в озеро. Все ему хотелось с лучшим звеном сходить. У меня в те годы хорошо шло, в полгода год делал, не хвастая говорю, да вот Алексеич скажет. — Ваничев согласно кивает. — А это, между прочим, непросто: сделать хорошее звено, чтоб каждый работал во всю свою силу, не сачковал, не прятался за чужую спину. Я таких терпеть не могу... Да... Поехали мы по гладкому, да

с ветерком, дай, думаю, прокачу человека, а «Буран» возьми да сломайся. Приводной ремень, знаете, что за штука, — вот этот самый ремень и полетел у меня. А замены к этому ремню нет, и не сыскать его по всей Ладоге и сегодня. О том можете спросить любого рыбака, всякий вам скажет то же самое. Кое-как до сеток на веревках дошли, подняли их, а они пусты-пустехоньки: вот уж верно говорят — как день пошел, так и кончится. Едва на ушицу рыбы набрали, срамота, ей-богу. Стыдно человека, корреспондента вашего. Я ему тогда так говорю: хорошо бы, говорю, товарищ корреспондент, про это написать, про то, как мыкаемся мы с этой техникой, как простаиваем из-за нее, бездельничаем, а от безделья водку пьем и спиваемся помаленьку. Что-то в этом духе я ему и заправил. У нас, говорю, двенадцать машин, — так, Алексеич?

— Тогда-то, поди, меньше было, — бурчит Ваничев.

— Да что толку, что меньше! Что тогда, что сейчас, все одно, половина машин простаивает. Не так разве?

Ваничев прихлебывает чай, молчит.

— Так! — отрезает Шабанов. — Из тринадцати нынешних пять-шесть завсегда простаивает: либо сломанные, либо бензина нет.

— Ты давай про корреспондента, а то идти нам надо, поздно уж, эка темень, — возвращает Шабанова к начатому им рассказу Ваничев.

— Можно и про него, — говорит Шабанов, не замечая явного недовольства бригадира. — С корреспондентом тем на другой день опять подались, теперь уже на лошади, оно понадежней. Доволен, помню, был корреспондент, как пацан, будто первый раз лошадь увидел. Все говорил: «Здорово!» да «Здорово!». Только рыбы-то у нас опять не «здорово». Это ему вроде как не понравилось. «Мало, говорит, рыбы. Отчего бы это?» Ну, я ему на воду показываю, — глядите, мол, вода какая. А он: «С чего это она такая красная?» Я ему про комплекс Потанинский: оттуда эта дрянь течет. Сейчас поменьше, поприжали их там вроде, а все равно нет-нет да скинут несколько тонн дерьма в Ладогу. А тогда бедствие было, прямо кошмар, сколько его текло. Вот бы и про этот комплекс написать, говорю ему, нехорошо ведь. Нехорошо, говорит, и ну давай в блокноте своем чирикать. С тем и уехал. Уехал и пропал. Я уж и думать про него забыл. А месяца через три прочитал заметку и глазам своим не поверил: ну все наврал, только имя мое назвал верно, так лучше бы он и его наврал. Написал, что я самый передовой, что ловлю много рыбы, что сиги у меня так и прыгают из сетей, что «Бураны» на самолеты похожи, — в общем, наплел с три короба и ни слова о том, про что просил его написать, что видел он своими собственными глазами. А мне почет, значит, и слава! Нужна мне такая слава...

Воцарилась тишина. Слышно было, как сопит носом бригадир

Ваничев, как тяжело, астматично дышит приемщик Смирнов, как чмокает губами, допивая холодный чай, звеньевой Шабанов.

Уже в дверях, исподлобья глядя на корреспондента, Шабанов неожиданно спрашивает:

— Передумали, значит, в озеро?

— Нет, отчего же. Пойду с кем-нибудь непременно.

— А со мной, значит, не хотите?

— Это вы не хотите.

— Мне что, мне не жалко, была бы польза.

На улице, глубоко затягиваясь и с шумом выпуская табачный дым вместе с паром, Ваничев говорит:

— Мороз будет завтра, небо, вишь, раззвездило. Оденься потеплей. А на Шабанова обиду не держи. Мужик он, конечно, вредный, но грамотный и, если где что не так, всегда укажет. Правда, если чистит кого, всегда за дело. Но уж когда чистит, пух и перья в разные стороны летят, язык у него крепкий. Бригадиром бы ему быть заместо меня. Не хочет.

— Что так?

— А какой ему в том резон? Так он в среднем рублей триста-четыреста зашибает. Летом уйдет в озеро на пару недель, наломается там, конечно, до полного изнеможения, зато, глядишь, тысчонку наберет. Чем не деньги?

— Деньги, — соглашается корреспондент.

— Конечно, деньги. Было бы у меня здоровье да рука целая, сидел бы я в этой конторе, как же! А так что же, работать все одно надо, хоть бы и бригадиром.

— А что с рукой?

— Дрова пилил на циркульной пиле. Зазевался и...

Шабанов откидывает брезентовый полог, и густые клубы голубоватого пара врываются в брезентовую палатку с ярким солнечным светом и ослепительной снежной белизной: рыбаки щурятся и жадно вдыхают чистый морозный воздух.

Рыбацкий свой дом — балаган — поставили они минут двадцать назад, и он, подобный жилищам кочевников всех времен и народов, их юртам и чумам, шатрам, шалашам и палаткам, стоит среди Ладоги согретый и освещенный синим дрожащим светом паяльной лампы.

Как и все кочевые жилища, балаган строится быстро и просто: девять деревянных копий, соединенных вверху веревкой, разбрасывают веером вокруг проруби. Они вонзаются в снег, подпирают друг друга, словно пирамида солдатских карабинов, воткнутых дулами вниз. На эту пирамиду, этот каркас, с подветренной стороны набрасывается брезентовое полотно, края его подтыкают под жерди балагана, втаптывают в снег или придавливают чем-либо,

чтобы не поддувал ветер, — рыбацкий дом построен. В него затаскивают ящики, складные брезентовые сиденья и низкие табуретки, запаляют паяльную лампу и берутся за сеть: дом обжит.

Шабанов и Владимир Федорович Кожин сидят по разным сторонам проруби, один — у кухтылей, другой — у грузил, и тянут сеть, одновременно сбавляя рыбу. В зависимости от количества ее, тянут они понемногу, метра по полтора-два, либо сразу пролетами метров в пять. Вытянув, прижимают подбору ногой ко льду и погружают руки в ледяную сеть. Их грубые красные пальцы обхватывают рыбин и мгновенно нащупывают тонкую, скользкую лесу, ту самую, единственную, на которой держится мотня. Подцепят лесу, потянут, повозят туда-сюда, и узел распадается, тает, превращаясь в паутину сети.

Шабанов между делом поучает корреспондента, как следует сбавлять рыбу, — парень работает медленно, задерживает всех.

— Э-э, нет, так у нас не работают, — говорит он. — Так мы до вечера эту сеть не выберем. Нечего с ней ковыряться. Это же рипус, его сбавлять одно удовольствие: зубов у него нет, сети он не заглатывает, малость в ней запутается, и все. Ты ему на живот дави, он сам из ячеи вылетит. Да ты не бойся, чего ты его гладишь, дави сильней. Вишь, полетел... Вот с ним и работай.

Но рипус кончается, несколько звеньев подряд идет корюшка, налим, ерш.

— Налима бери с хвоста, а других — с головы. Из-под жабер вытаскивай лесу и изо рта. Только осторожней, цапнуть себя не давай. Под жабрами ерша держи!.. Я ж те говорю, под жабрами! Больно? Соси давай палец! Отдыхай!

Третий рыбак — Леонтий Петрович Кожин (сколько же их, Кожиных?!) — смотрит добрыми глазами, изредка сухо покашливая в кулак: не бери, мол, в голову, пустяк это, и тоже склоняется над сетью. Работа идет вроде бы неспешно, в спокойном молчании, только слышно, как шлепает об днище ящика сбавленная рыба, как бьется она там, еще живая, затевает шум. И видишь ее, извивающуюся, судорожно раздувающую жабры и маленький зубастый рот, на нее шлепаются новые рыбины, смешиваются с ней...

В балагане становится прохладней, Шабанов закрывает его, и сразу темнеет внутри. В синем свете паяльной лампы красные лица рыбаков отливают фиолетово-сиреневыми отблесками, а облако пара, стоящее над прорубью, над сетью, рыбой и горячими руками, дрожит, колышется, голубоватое, прозрачное. И вдруг раздается тихий, чуть удивленный возглас: «Гляди-ка!» Леонтий Петрович узрел сига. Сиг крупный, волховский, килограмма на четыре, живой, сильный. Как он попал в компанию к этой мелюзге, как вообще он здесь оказался — загадка. Ведь волховский сиг почти перевелся в Ладоге. Для него отводят отдельный ящик (авось не последний).

Рипуса и крупного частика набирается из двух сеток около ящика, столько же примерно и корюшки, и Шабанов говорит, что если в других сетках пойдет так же, то они будут с рыбой. Но не пошло. Попалось несколько сигов — лудоги, еще с ящик рипуса, а в остальном — рыжие колючие ерши да мелкая, с ладонь, корюшка.

— Ерш рыба пустая, — говорит звеньевой. — Сорная рыба. Кошкам да свиньям. Всей и пользы от нее, что судаку корм. То-то его развелось теперь в Ладоге, судака этого, греби да греби по осени. Так ученые не дают, лимит на него. И то верно, хоть что-то в Ладоге жить должно. Изведем судака — совсем ничего не останется.

Швырнув в ящик очередного ерша, он продолжает:

— А стóящая рыба — сиг там или лосось — рядом с этой швалью не ходит. Хотя где он сейчас — лосось?

— В пятницу был. Помнишь? — говорит Леонтий Кожин.

— Бы-ы-ыл, — передразнивает его звеньевой. — Последний из могикан был. Между прочим, — обращается он к корреспонденту, — по ершу можно судить о чистоте озера. Там, где грязь, там ему раздолье. Стоящая рыба от грязи уходит, а он туда прет. И множится там, выживает другую рыбу. Вот, к примеру, в Петрокрепостной губе знаете какую миногу брали, не минога — угорь! И ведь недавно совсем, лет шесть-семь назад. А лещ, щука, другой частик выгуливал там будь здоров какой. И нереститься со всей Ладоги туда шел. Поди возьми там теперь щуку!.. Зато мелюзги этой рыжей сколько угодно. Ну, ничего, в нашем деле и она сгодится...

День перевалил уже через середину, осталось поднять лишь две сетки из двенадцатисеточного ряда, и, когда принимаются за них рыбаки, начинает священнодействовать Владимир Федорович Кожин. Он приносит прокопченный пятилитровый котелок, зачерпывает в него из Ладоги, подвешивает на веревке к одной из жердин балагана и ставит под котелок паяльную лампу. Потом берет несколько сигов, мгновенно разделывает их, чистит, потрошит, моет в проруби и разрубает блестящим ножом. Куски большие, бело-розовые, матово-прозрачные. Он бросает их в котелок и пристраивается у проруби сбавлять рыбу.

— Сыпани-ка, для смака, — говорит ему Шабанов, указывая на ершей.

Кожин берет их пригоршней, сыплет в котелок небрежно, как бы не глядя, и густо солит. Несколько минут спустя ноздри начинает щекотать тонкий аппетитный запах. Он дразнит обоняние, появляясь и пропадая, и вновь появляясь, чуть гуще, чуть крепче, чем прежде, и слабеет опять, теряется, тает, и уже ждешь его, желаешь, ловишь. И он не заставляет себя долго ждать, этот чудесный, вызывающий горячую липкую слюну запах, он вырывается из лопающихся пузырьков закипающей воды, из шевеля-

щихся в ней рыбных кусков, заполняет собой весь воздух рыбацкого дома так полно и плотно, что, кажется, тесно ему уже в темных брезентовых стенах балагана. И, словно услышав, учуяв запах сиговой ухи, вваливается в балаган тройка шабановцев, работавших на других сетках. Один из них, потянув носом воздух, спрашивает, кивая на котелок:

— На ерше, что ль?

— На ерше, — отвечает Шабанов.

— Любишь ты, Валентин, сига портить, — с укором говорит рыбак.

— Что б ты понимал в ухе! Двадцать лет в озеро ходишь, а ни уха ни рыла в этом деле. На ерше сиг слаще, ядреней, запомни это.

— Ты б его сахаром посыпал, коли сладкий хочешь.

Представив, вероятно, что за отрава — сиг с сахаром, кок Кожин брезгливо морщится и вновь сыплет в уху соль из синей бумажной пачки.

— Пересыпь мне, — грозно останавливает его Шабанов. — Ишь рассыпался. В ложку себе сыпь...

— Да ладно тебе, — отмахивается Кожин.

А Леонтий Петрович заходится долгим тяжелым кашлем и, откашлявшись, тяжело дышит, часто и неровно.

— Ты когда в больницу поедешь? — спрашивает его звеньевой.

— Завтра.

— Мог бы сегодня и не ходить, без тебя бы справились.

— А что с вами? — спрашивает корреспондент.

— Да пневмония у меня. Старая, — нехотя отвечает рыбак.

— И работаете?!

— Ну а чего дома сидеть. Воздух тут чистый, работа, сами видите, легкая, сиди да ковыряй себе рыбку. И пища, опять же, ресторанная, — робко улыбается он и, помолчав немного, продолжает: — У нас многие легкими маются. Зря, что ли, в пятьдесят пять на пенсию отпускают.

— Ну, давай лечись, — говорит Шабанов, ставя на перевернутый ящик котелок.

И вот они степенно, друг за другом, погружают в котелок глубокие алюминиевые ложки и бережно несут ко рту, поддерживая снизу толстыми ломтями хлеба, густо, до сплошной белизны, посыпанного солью. Едят молча, обстоятельно, почти беззвучно. Только слышно, как дуют на ложки, остужают крутое варево. А корреспондент с непривычки быстро насыщается и даже слегка хмелеет от ухи: все, говорит, спасибо, и сотрапезники шумят на него:

— Ешь! Не нравится, что ли? Давай ешь, потом захочешь, да поздно будет! Ешь, пока есть!..

— Да-а, парень, — ехидно тянет Шабанов, — сразу видно —

не рыбак ты. Но, сдается мне, и по-писательски поведение ваше неправильное.

— Почему же неправильное, Валентин Андреевич?

— А потому, что лет через пять, максимум через десять эдакой ухи в Ладоге не будет. Вот я еще осетра ладожского пробовал, хариуса, а теперь уже все, нету их. Вы ведь их и в глаза не видели, верно?

— Верно.

— Так надо хоть сига поесть. Да так поесть, чтоб было что людям рассказать. Внуки ваши прочтут, облизнутся. Им ведь вот это останется.

Шабанов тычет пальцами в прорубь, где плавают вареные ерши.

Снег в балагане подтаял от тепла, потемнел от следов рыбацких калош, а там, где стояла паяльная лампа, стал черным и грязным. Рыбные кости плавают в смутно-темной воде проруби, рядом с ящиками с притихшей, заснувшей навсегда рыбой. Деревянные жердины, как скелет какого-то существа, как ребра его, держат прокопченное полотно, за которым не видно солнечного чистого дня. Недавняя идиллическая картина рыбацкого дома стирается, и виден весь неуют, вся неустроенность этой времянки, в которой проводят рыбаки половину зимы, все ее светлое время.

Но вот балаган собирается, укладывается в короб, а над головами рыбаков кружит и кружит белая чайка, ждет не дождется, когда же наконец уйдут они. Все, что останется после них, станет ее добычей.

Шабановское звено идет на новое место, потом еще дальше, к другим сетям, и возвращается в деревню в полной темноте, когда остыли уже моторы кириковских «Буранов», когда рыбаки других звеньев разбрелись по своим теплым тихим домам.

Елена Алексеева,
Елена Москалева

Семейные сцены, комнатные драмы...

«Молодая драматургия» второй половины 1970-х

Поэтические плеяды, «школы» прозаиков и прочие неформальные общности — явление довольно обычное. Драматургия в этом смысле — исключение, она чаще всего предстает «поштучно», изменяя себе лишь изредка: «новая драма», «молодые рассерженные», «театр абсурда». Но вот в 70-е годы наша драматическая литература ощутила такой прилив молодых творческих сил, что в критике замелькал позабытый за ненадобностью (со времени расцвета поэзии в 60-е годы) термин «новая волна».

Искусство как форма общественного сознания развивается неравномерно: одни времена покровительствуют живописи, другие — музыке, иные — театру. Жестко детерминировать эту сложную зависимость почти невозможно. Как тот или иной вид становится ведущим? Как влияет на другие, ведомые? Чем ближе к нам «объект», тем труднее ответить: пока время не стало историческим, пока оно — настоящее, понять его во всех связях непросто.

Конец 1960-х — начало 70-х принято считать новой фазой нашего общественного развития; перемены, накапливавшиеся под напором научно-технического прогресса, сложились в довольно противоречивую и пока не вполне отчетливую картину. Только в последние годы процесс этот начал осознаваться научной мыслью; искусство почувствовало его раньше. Такова уж роль искусства — первым подмечать жизненные конфликты. Именно тогда драматургия совершила рывок, опередив чуткостью и сообразительностью и прозу, и поэзию, и публицистику, — появился «Человек со стороны» И. Дворецкого (1971). Проблемность времени отразилась в зеркале, коим во все времена обязан быть театр. Нерешенность горячих вопросов жизни самым органичным образом воплощалась именно в диалогическую форму драмы.

Драматургия 70-х как бы разделила свой предмет — современную жизнь — на сферы: главный интерес сначала сосредоточился

на «производственной» теме, которой занялась «деловая» драма, но постепенно в лидеры выдвинулась та самая «молодая драматургия», о которой сегодня речь, со своей особой темой: в жизни ее привлекла частная сфера, семейно-бытовые отношения.

В сегодняшней критике уже достаточно прочно укоренился термин «социологическая драма». А. Свободин в статье «Вина и беда Игната Нуркова» впервые обозначил им пьесы «производственные», злободневные, с сиюминутным характером конфликта. Нам представляется возможным и даже необходимым более широко трактовать этот удобный и современный термин: черты социологизма можно найти во всей драматургии 70-х и, прежде всего, у «молодых».

«Новая волна» «молодой драматургии» уже сама по себе — своеобразное социальное последствие НТР. Социологический характер ее сказался и в омоложении, и в массовости, и в пристрастии авторов к проблемам, возникающим по ту сторону производства и производственных отношений — после работы, дома, в семье, в кругу друзей, то есть пристрастии ко всему тому, что зачастую квалифицируют как «мелкотемье» и что социология изучает наряду с НТР и трудовой деятельностью людей. «Бытовые» интересы «молодых драматургов» обнаружились буквально накануне того, как та же тематика заполонила страницы газет, озаботила ТВ и радио — выявилась как общественная потребность.

Наше первое определение прозвучало — «социологическая» драма. Произнесем и следующее — «гиперреалистическая». Фотографичность — вот второе качество, отличающее генерацию. Термин пришел из изобразительного искусства, соответствующее стилевое направление в нем имеет много общего с «молодой драматургией». И там и здесь объект изображения — повседневность человека и его мира; и там и здесь — тщательное, без прикрас, воспроизведение. При этом и драма и живопись мистифицируют «реципиента», не будучи, а лишь притворяясь бесстрастными наблюдателями, фиксирующими случайный кусок жизни. На самом деле все — выбор обстоятельств, лиц, композиция, ракурс и цвет — продумано до мельчайших подробностей, включено в исторически и социально определенный контекст, моделируя его существеннейшие черты.

Непреднамеренный социологизм «молодой драматургии» набрасывает эскиз репрезентативной модели общества. Здесь очевидно самоограничение «молодых»: в кругу их внимания в основном город и его проблемы, городской житель, чаще всего несколько усредненный, но оттого еще более типичный, обычно — «технарь», человек, не слишком обремененный работой, а уж после службы и вовсе забывающий о ней. Таковы герои Л. Петрушевской, герои пьесы А. Соколовой «Дом, наполовину мой», Бэмс из «Взрослой дочери молодого человека» В. Славкина и, как вариант, Олег Крылов — «Старый дом» А. Казанцева: служебное благополучие ни-

ким образом не спасает их от «проклятых» вопросов личной жизни, от одиночества.

Итак, социально определенный герой. У Гоголя замечательно сказано: «Теперь уже всякий частный человек считает в своем лице оскорбленным все общество». Выбирая такого героя, драматург рискует, но не напрасно и не случайно, ибо не только художественная, но и научная социология озабочена ныне судьбами научно-технической интеллигенции, перепроизводством инженерных кадров, раздутостью всякого рода НИИ и КБ. Не станем углубляться в эту непростую проблему, отметим только чуткость «молодых» в выборе героя.

Построение репрезентативной модели ведется ими, так сказать, не вширь, а вглубь: исследуются все роли, в которых выступает герой в частной жизни, все микросоциальные связи, которые он вольно или невольно завязывает, и особо — причины его несостоятельности. Л. Петрушевская, чьи пьесы — своего рода современная хроника частной жизни, воспроизводит всю октаву личных человеческих взаимоотношений и обнаруживает объективную девальвацию прежде всего канонических связей — семейных, дружеских, любовных. При этом драматург не ссылается, как это принято, на нецельность современного человека, а вдумывается в крепчайшую связь всех ролей, порой глубоко сокрытую, притягательную именно противоречивостью и многосложностью. Невидимая в пьесах производственная сфера остается частью жизни персонажей, она не оправдала их надежд, и герои пытаются «компенсироваться» за ее пределами: погружаются в другую половину существования и хотят из половины сделать целое, а когда не находят счастья, удовлетворения, взаимности или понимания и здесь — это становится не частной неудачей, а драмой целой жизни.

Бэмс, уже названный герой пьесы Славкина, воплощает — причем исторически, через соотношение героев и проблем разных десятилетий, от 50-х до 80-х, — драму человека, который сам себя чувствует лишним: как он выражается, его «не едят» ни работа, ни природа, ни развлечения. Пассивность Бэмса идет от нежелания вписываться в «деловой пейзаж», бороться, толкаться, кого-то обгонять. Но в этой позиции, этически симпатичной и достойной, есть и другая сторона — отсутствие движения, стремление уклониться. В юности Бэмс корил других за косность, теперь его заветное желание — спрятаться где-нибудь меж двух нот в композиции Дюка Эллингтона «Настроение индиго», свернуться клубочком, а жизнь пусть течет себе мимо...

Но модель, которую предлагает «Взрослая дочь...», не исчерпывается Бэмсом, это некая шкала ценностей, и нравственных и социальных, где у каждого персонажа — своя правда. Ивченко — основной «антагонист» Бэмса, типичный деловой человек. В юности он «шел в ногу со временем, правда время отставало». И теперь

он активен, мобилен, гибок, он — сильный руководитель. Ивченко и страдает от собственной деловитости, которая оборачивается одиночеством, и в то же время не сомневается в себе как «человеке на своем месте». Жизнь их друга Прокопа, ныне главного инженера в провинции, лишена столичных сложностей: он вроде бы доволен и работой и семьей, но втайне от себя не счастлив ни там, ни здесь, с головой уходит в текучку, чтобы не доискиваться причин этой неприкаянности. Правда Люси, жены Бэмса, в ряду других — наиважнейшая. Героиня психологически находит ту диалектику, которой недостает прочим: она принимает жизнь во всех ее проявлениях, во всех противоречиях и в жизни участвует. Ее позиция, сквозящая в словах: «Мне весело с тобой, хотя и слезы», — высшая женская мудрость, за которую все время приходится расплачиваться.

Благодаря такому ступенчатому моделированию истины пьеса получает первостепенное для театра качество — она подлежит интерпретации. Более того, «Взрослая дочь...» «спровоцировала» новые свойства театрального действия, сказавшиеся в одном из теперь уже этапных для нашего театра спектаклей, поставленном А. Васильевым в 1979 году на сцене Московского драматического театра имени Станиславского. Это спектакль без главного героя. Зритель, в соответствии с социологическим законом идентификации и дифференциации, узнает себя или свои черты в одном из героев и выбирает его в главные. Узнает непременно, поскольку ситуации и характеры намеренно — «гиперреалистически» — узнаваемы во всем, от общих проблем до бытовых деталей. Но, узнав себя и идентифицируя героя с собой, зритель не пожелает полного соответствия: в зеркале сцены он себе не понравится. Тогда зритель станет отыскивать в себе и в двойнике за рампой отличительные черты, мотивы, мысли — все то, что разделяло бы... Здесь мы находим присущий всей «молодой драматургии» принцип использования своеобразных качелей из сил притяжения и отталкивания. Играя ими, драматург достигает необходимого ему воздействия (которое раньше мы называли добрыми старыми словами «сопереживание», «узнавание» и т. п.), влияя на зрителя через обыкновенного героя в обыкновенных обстоятельствах.

Проблема героя для нынешней драматургии имеет особую остроту. Устойчиво мнение, что драма сейчас — безгеройна. Здесь мы встречаемся с широко бытующей среди критиков, читателей и даже драматургов установкой: обычно ищут героя положительного, выразителя авторской позиции, хотя даже для прозы такое требование спорно. Знаменательно мнение Ю. Трифонова, прозвучавшее в посмертной статье «Как наше слово отзовется...» (Новый мир, 1981, № 11): «Мой герой так же разорван и противоречив, как разорваны и противоречивы мы с вами, как разорван и противоречив каждый человек... Идеального человека искать не надо — это

бессмысленно, но надо искать идеальное в человеке». Драматургия тем более не терпит бесконфликтности: сама природа драмы рождает не ходячий идеал, а ходячий знак вопроса. Почему Гоголю было позволительно вывести в качестве единственного положительного героя смех? Очевидно, потому, что противоречивость персонажей была для него аксиомой. Не будем и мы требовать персонификации этических оценок. Тем более что «молодая драма» по преимуществу выявляет правила, а не исключения: судьбы и конфликты важны не частностями, а тем, благодаря чему складывается общая картина. Вместо конфликта «человек и другие» возникает формула «человек среди других». В героях подчеркиваются качества, присущие им как членам той или иной социальной группы, компании. Такая нивелировка характеров вносит особый драматизм — острое сожаление о стертой индивидуальности. Повышенная конформность персонажей сказывается в их социальной и личной пассивности, в заботе о престиже, в неумении и нежелании думать, чувствовать и действовать самостоятельно, не по шаблону. «Как у всех» — это жизненное правило распространяется не только на материальную, но и на духовную сферу.

Духовным иждивенчеством называл В. Сухомлинский то, что ныне тревожит «молодых драматургов». Можно выделить три главных аспекта, в коих ими исследуется эта социально-психологическая болезнь. Назовем их условно «компания», «любовь», «отцы и дети».

Аспект первый практически не имеет истории, он — открытие наших героев. Если «компания» и возникает у старших коллег, то уже после и в полемике с «молодыми», как, скажем, в «Жестоких играх» А. Арбузова.

Две одноактные пьесы Л. Петрушевской «Чинзано» и «День рождения Смирновой» как бы продолжают одна другую, персонажи их — одна компания. Два групповых портрета вместе дают объемное изображение, позволяя полнее изложить конфликт. В «Чинзано» предстает мужская половина компании, в «Дне рождения Смирновой» — женская. Первоначально драматург как бы ставит их на разные полюса: трое мужчин, оглушающих себя вином и насколько возможно уклоняющихся от любых обязательств перед семьей, близкими, и три женщины, целиком поглощенные суетой повседневности, погруженные в быт. Развитие действия все больше и больше сближает их, объединяя общей виной друг перед другом и самими собой. Бытовая, обыденная активность женской половины компании и безразличие, пассивность мужчин — две стороны одного конфликта: между бессодержательностью и благопристойными формами жизни.

Драматург показывает короткий временной отрезок бытия героев — один вечер, но успевает коснуться почти всех сторон их существования. И повсюду компанию ожидает проигрыш, везде под-

линное заменено суррогатом — в любви, в семье, в дружбе, в работе. Не случайно мы и называем их компанией, а не друзьями. Перед нами драма внутренне несвободных людей, поддавшихся неким общим законам жизни, превративших свое бытие в тусклую маету; подчинившись быту или отказавшись от него, все равно они во власти обыденности. Эта тема впрямую связывает «молодую драматургию» с ее предшественниками — А. Вампиловым и М. Рощиным (особенно такими его пьесами, как «Старый Новый год» и «Ремонт»).

Через них можно обнаружить и более дальнее родство — с А. Чеховым. Как и у Чехова, в «молодой драме» совпадают жизненные и театральные средства: герои сидят и разговаривают, пьют чай или «Чинзано», а в это время умирают их матери, родятся их дети, рушатся мечты, разбиваются сердца — идет как бы саморазвитие конфликта. Как и у Чехова, главный герой предельно сближен с прочими. Как и в чеховской драме, где, как замечает Б. Зингерман в своих прекрасных статьях о поэтике Чехова-драматурга, среди главных тем и мотивов — «унизительная и мелочная власть быта», мотивы времени, пространства, природы, «задавленного, убитого буднями праздника», в пьесах «молодых драматургов» — те же темы и мотивы, но, разумеется, имеющие новый, сегодняшний смысл.

Так, праздники или значительные события — дни рождения, новогодняя ночь, свадьба, первое свидание — есть почти в каждой пьесе. Авторы словно проверяют своих героев экстремально благоприятными условиями. Герои же упрямо превращают праздники в будни, спешат избавиться от торжественности момента, снижают, обытовляют ситуацию (день рождения оборачивается пьяным скандалом, свадьба запоминается ресторанным меню и тесными туфлями). Как ни парадоксально, выход зачастую — в буднях, в привычной обстановке, где трудности одолимы, поскольку их ждут, а радости — радости вдвойне, ибо нежданны. Но Петрушевская строит свой «диптих» на еще более глубоком контрасте: неудавшийся праздник во второй части и незамеченное горе в первой. Равнодушное пренебрежение к беде, ничего не меняющей в привычном ходе жизни, — вот что для Петрушевской страшнее опошленного праздника. И тем суровее приговор, который выносит она своим героям.

Сказав «приговор», мы вынуждены объясниться. Ведь Петрушевскую принято считать равнодушным констататором, воспроизводящим жизнь с магнитофонной точностью — безоценочно. Однако из нынешнего, более чем неравнодушного поколения «молодых» Петрушевская, на наш взгляд, — самый страстный автор. Ее пьесы «притворяются» объективными, хотя все в них пережито, волнует, тревожит, гневит драматурга. Ее собственной гражданской позицией пропитаны каждое слово и каждая ремарка, каждый поступок

персонажа. Не активизируя действие извне, не демонстрируя специально авторское «я», Петрушевская насыщает события пониманием изнутри.

Гораздо больше, чем пристало драматургу, гораздо энергичнее, нежели старшие собратья, «молодые» вкладывают в пьесу свое отношение к миру, опыт своего поколения, личный опыт, свои желания и мечты. Драматург берет проблему, разламывает ее в критической точке и, взглянув на разлом собственными глазами, обнаруживает, куда побежали трещины... Активное, лирическое, а значит, и социальное отношение к действительности — еще одно отличительное свойство «молодого драматурга».

Любовь в пьесах «молодых драматургов» обретает неожиданные черты. Вот, например, пьеса С. Злотникова «Пришел мужчина к женщине». Исходная ситуация близка арбузовской «Старомодной комедии»: два немолодых человека одиноки, оба тяготятся своим одиночеством, оба хотят преодолеть его. Но, в отличие от Арбузова, никакой элегической дымки, никакого романтического флера, характеры и ситуации намеренно обытовлены и достаточно откровенны: мужчина приходит к незнакомой женщине по рекомендации знакомых с вполне определенной целью — жениться.

В пьесе дается перевернутое соотношение характеров: у женщины твердый, даже слишком твердый и активный, «мужской» характер, мужчина робок и по-женски неуверен в себе. Это нарушение традиционных качеств сегодня воспринимается как типичное, оно зафиксировано социальной психологией и узаконено средствами массовой коммуникации. Драматург извлекает из него комедийность, но то же соотношение становится и основой драматизма пьесы: традиционные черты, изгнанные из характеров, оказываются необходимыми, их отсутствие невосполнимо. Герои типичны и стремлением рационалистически справиться с делами сердечными. В духе «делового времени» они выносят за скобки все, что кажется им лишним, — чувства. Но эмоции словно мстят за себя и объявляются вне плана, усложняя и сокрушая такую стройную, такую выверенную систему отношений.

В маленьких одноактных пьесах Петрушевской — «Проходите в кухню», «Все не как у людей», «Лестничная клетка», «Любовь» — и в полнометражных — «Уроки музыки» и «Три девушки в голубом» — главным оказывается конфликт между содержанием и формами жизни. Герои стремятся жить «как люди», чтобы все было «как у людей»: и свадьба, и телевизор, и квартира, и кафель в ванной, и любовь. Да, именно такова шкала ценностей: сюда вперемежку и наравне с движимостью и недвижимостью попадают и невесомые духовные материи, которые от подобного соседства теряют подлинность, превращаясь в заурядный объект потребления. Любви ждут, ее ищут, требуют, но при этом не собираются отвечать на любовь и за любовь. Тут истинная жажда любви так

перепутана с заемной, эгоистически-престижной, что зачастую их не разделить, не вычленить. Петрушевская — лидер «молодой драматургии» — умеет передать сложнейшие человеческие взаимоотношения (которые, в общем-то, поддаются категорийному определению — «любовь», «ревность», «дружба»), вкладывая в традиционные понятия широкий, многообразный и противоречивый смысл, причем обязательно сопряженный с нашим сегодня. Время действия всех ее пьес — сейчас.

В пьесе «Любовь» герои только что отпраздновали свадьбу. И вот теперь, уже после свадьбы, они начинают мучительно выяснять отношения, разбираться в чувствах и побуждениях друг друга. Главный предмет разговора — любовь — то и дело вязнет в бытовых деталях, порой исчезает даже тень любви, погружаясь в бесконечные препирательства: кто что сказал, где был, что купил, что продал. Герой восстает даже против самого слова «любовь», твердя: «Я не могу любить». Что это? Современный цинизм, предельная бесчувственность или наоборот — ранимость, боязнь показаться смешным, банальным? Любовь нужна героям дозарезу, а они будто гонят ее неверием. Петрушевская сталкивает здесь ценности мнимые и подлинные: чудовищную идею, что счастье и чувствование можно отложить на потом, когда узлом будут завязаны и припечатаны фиолетовым штампом законные узы, и — живое чувство, которое корежится, обрастает сомнениями и подозрениями, «комплексует». Столкновение уже грозит катастрофой, разрывом. Но почти под занавес, после кульминации, разметавшей надежды на законное блаженство, появляется угроза извне, и герои, только что почти враги, объединяются. Все сразу становится на свои места: быт утрачивает власть над ними, исчезают ложные тревоги, рассудочные уловки, — сейчас герои по-настоящему вместе. Трудно быть уверенным, что это «сейчас» продлится вечно, но оно наступило, а значит, и любовь, и счастье, и взаимность возможны и достижимы.

Эмоциональная бездарность в пьесах о любви предстает как качество типичное, но преодолимое. Еще более распространенным видится другое, сопряженное с ним, — боязнь поступка. Желание хоть как-то изменить ход жизни, то есть проявить себя в качестве героя драматического, плотно заслонено добровольным подчинением инерции бытия. Социально пассивный персонаж в личной жизни еще более пассивен. Даже у драматурга старшего поколения А. Володина в конце 70-х появился такой активно бездействующий герой — Бузыкин из «Осеннего марафона». В почти афористической форме предстал конфликт этот в «Триптихе для двоих» Злотникова. Тот же герой, с его попыткой начать жизнь сначала и непременным фиаско, возвращением на круги своя, стал главным в «Фантазиях Фарятьева», «Эльдорадо» и «Дом, наполовину мой» А. Соколовой. Драмы недраматических героев варьируются

и множатся, превращая движение по кругу в социально значимое и тревожное.

Тему любви принято рассматривать как сферу «единичного»: каждый случай тут уникален. Вспомним героев раннего А. Володина. Неповторимость обыкновенного человека была чрезвычайно важна драматургу, как и всему поколению конца 50-х — начала 60-х. Сегодня соотношение индивидуального и общего совершенно иное: в человеке 70-х драматургов занимает то, чем он похож на других, что и как повторяет из черт множества себе подобных. В героях тревожит даже не прагматизм, а конформизм. Конформизм в любви — сочетание нелепое и обидное.

Как и любовь, тема «отцов и детей» — вечная, тем острее обозначаются новые ее черты. В комедии Л. Разумовской «Под одной крышей» три героини: бабушка, мать и дочь. Каждая исторически и бытово объяснена, соответственно, — войной, 60-ми и 70-ми, а все вместе — жизнью в одной тесной квартирке. На примере младшей, юной Любочки, мы наблюдаем механизм наследования: страстно желая жить по-своему, иначе, чем мать, героиня вступает в отчаянную борьбу; борьба длится целый... день, и вот уже мятежница сдалась, она готова повторить судьбу матери.

В классической ситуации «отцов и детей» герой столь же инертен. Иллюзорная активность подчеркнута тем, что он — в ряду других, замыкая собой круг, уже протоптанный «отцами». В этой пьесе Разумовской особенно четко прослеживается зависимость проблем частных от всеобщих, философский уровень конфликта возникает из нравственно-психологического.

В трактовке этой темы очевиден полемический запал. На фоне пьес, где юные прагматики уравновешены одухотворенными и высоконравственными «отцами», позиция «молодых» более диалектична. В уже названных пьесах А. Соколовой, Л. Петрушевской, В. Славкина, А. Казанцева, в «Ретро» и «Летят перелетные птицы» А. Галина поколения не противостоят друг другу, напротив — младшие повторяют старших, становясь новым, «усовершенствованным» вариантом известного уже типа. В пьесе «Уроки музыки» молодой герой, который поначалу пугает родителей непохожестью, не просто повторяет их, — он «творчески» усваивает отеческие уроки, преобразовывая бытовой конформизм в разрушительный эгоизм. Конфликт обретает более существенный — социальный — характер.

«Молодая драма» началась с «короткометражных», «малонаселенных» пьес, так схожих на первый взгляд с эстрадными миниатюрами. Это не только дань ученичеству: Чехов, начав водевилями, в зрелых созданиях развил открытое в них. У нынешних «молодых» форма первых пьес сродни анкетам в диалогах, а анкета — первый инструмент социологического исследования. Форма предполагает высокую степень концентрации материала: на корот-

ком отрезке времени и места надо выявить главное и общее. Через подобный «конкретно-социологический» анализ нагляднее видны важнейшие черты сегодняшнего городского бытия. Ныне, когда объект разросся, сделался социально опасным, «молодые» переходят к большим пьесам: тема быта, злого и агрессивного, уже не вмещается в «анкету». Общественное развитие, как известно, идет не по прямой, те или иные противоречия закономерны. 70-е годы — время материализации жизни. У быта возникает шанс занять неподобающее место, причем за счет моральных потерь. Искусство живет ошибками мира, и чем раньше та или иная ошибка будет обнародована искусством, тем прямее путь к ее исправлению. Быт у «молодых» предстает в качестве основной детерминанты многих духовных процессов. Частные понятия оцениваются заново: не просто заклеймить словом «мещанство», а увидеть корни, формы проявления, последствия — в этом находят драматурги цель. Так отражается в их творчестве объективная потребность нашего общества озаботиться проблемами воспитания нового человека.

Художественный язык «молодой драмы» неотделим от языка ее героев. Для атмосферы пьес характерны два основных настроения: заторможенность, пассивность и, как реакция, «громкие» всплески чувств. Это стиль городской жизни: когда едешь в автобусе в час «пик» или стоишь в какой-нибудь очереди, есть только два возможных состояния — либо ты отключаешь свои «рецепторы», либо растормаживаешь эмоции «на всю катушку». С той же, почти лингвистической точностью воспроизводят драматурги — социологи и «гиперреалисты» — пласт разговорной речи, мимо которого стыдливо проходят маститые коллеги. Как в темах, так и в словах нет места эвфемизмам. Это язык улиц, трамваев и очередей, он «обогащен» перлами городского фольклора, канцеляризмами, штампами средств массовой информации, идиоматическими блоками. Язык адекватен достоверности жизни героев. С той же точностью и откровенностью стилизовал голоса города В. Высоцкий, старший сверстник «молодых», проникая не только в формы, но в суть современной обыденной жизни. Лексика персонажей усиливает подлинность, типичность характеров и коллизий, прочно связывая их микромир со временем.

Некогда о произведениях Достоевского писали: «дагерротипировано». Пьесы Островского, Чехова, Горького, Булгакова становились «документом эпохи». Быть может, воспроизведение современной жизни в ее типических чертах и есть самое ценное, что несет «молодая драматургия», ощутившая и запечатлевшая свое время как историческое.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕВОДЫ

Стихи поэтов Советской Прибалтики

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

Альманах

МОЛОДОЙ ЛЕНИНГРАД

Л. О. изд-ва «Советский писатель». 1983, 328 стр. План выпуска 1982 г. № 52. Редактор *М. В. Гоппе*. Художн. редактор *А. С. Орлов*. Техн. редактор *Е. Ф. Шараева*. Корректор *Ф. Н. Аврунина*. ИБ № 3101. Сдано в набор 28.10.82. Подписано к печати 3.02.83. М 40025. Формат 60×84$^1/_{16}$. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 19,07. Уч.-изд. л. 19,99. Тираж 30 000 экз. Заказ № 759. Цена 1 р. 50 к. Изд-во «Советский писатель», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.



1 р. 50 к.

